НЁМАН

1/2019
ЯНВАРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 15.01.2019. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 16,85. Тираж 1130. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

16 +



Виктор КОЗЬКО

Никуда

Повесть

Не творите дела злого.
Мстят жестоко мертвецы.
Н. ГУМИЛЕВ

1

Вот и свершилось. Еду. Почти приехал. Искатель и охотник за временем и собственной жизнью. Но что-то неудачная у меня охота. То ли время очень уж премудрое, то ли жизнь моя никудышная. Хотя не исключено, что время так скрытно охотится за мной, что я не успеваю разглядеть его следы.

Мне уже надо бы определиться, кто или что я в своей жизни и времени. Торопливое смешение зерен и плевел, прошлого и настоящего, из замеса которых, как в бесплодном зародыше, восстает земная жизнь. И немой болван-навигатор в монашески-черном пластмассовом заключении никак не может доставить меня туда, куда я стремлюсь, к желанному берегу. Нет у меня платы за перевоз даже в Аид, царство мертвых. Копеечки во рту. Я, белорус, нищ, безгласен и гол.

И потому безбилетник на всюду проникающей сегодня амфибии Харона. Заяц во времени и в жизни. Едва ли не ежегодно я устремляюсь сюда. Ищу пролом во времени. Погоня, погоня, погоня. Зайцы, если они с Полесья, — существа упертые, настырные. Как говорят на Полесье, — на свете нет зверя упорнее. И смелее. Только вот слезы у него очень близко, душа хрупкая, и потому быстро и часто он умирает от разрыва сердца. В пятках.

И у меня сейчас сжимается и замирает сердце, похоже, плачет. Босым и голым ходило, бегало, шаталось в мрачных судорогах времен и жизни по половодью белых песков Полесья — моего начала. По Азаричско-Домановичскому *гостинцу* — так в старину звались здесь все большие дороги. Большаки. И я до дрожи пытаюсь увидеть, рассмотреть оставленные мною здесь слезы.

* * *

Давным-давно, когда Земля уже была, ступила на Млечный гостинец, мир состоялся. И был он цельно-целым. И бело-белым. И окружно светящимся. Без проломов, ям, углов, пропастей. Иначе мне неудобно было бы ходить по нему, бегать, летать. Больно падать. Кто-то озаботился, приспособил Землю под мои босые ноги.

Мир состоял из родительской избы или землянок, солнца над их крышами. И из нас, детей. Поскольку они свято верят, что мир и в самом деле

небесно светлый, полотняно белый, из василькового льна, когда он отцветет, выморозится в инее, отрясется от кострицы на трепалах, соткется на кроснах. Потому и белый, подобно яичку из-под деревенской курицы. Хотя яички бывают и цветными — на Великдень, пасхальные.

А когда-то, как говорит бабушка, были и черными. Но из-под черного петуха. Из них вывелись и пошли Цмоки — местные драконы. А человеческое дитя — из белого яичка. Потому и белое, и просвечивает белью с голубым. Хотя оно, яйцо, при зачатии в нем живого, кроваво-красное посередке. И новорожденный является на свет окропленным красным. Но ведь и солнце восходит кроваво и зло. Потом уж добреет. Так зачинается и человек. Только слепые земляные черви неизменно коричневого колера, почему и крутятся, когда проявляются солнцу и белому дню.

Вылупившийся сам из яйца, белого, круглого, теплого и целенького, я был убежден, что все вокруг меня такое же. Соткан из света ради его продолжения и солнечного теплого сияния. Без щербатости, как бабушкин закопченный в печи горшок, оплетенный тонкой медной проволокой. Почему и звонкий. Отзываюсь каждому солнечному лучу, звеню, звучу, хотя и неслышимо тонко, но ровненько и чисто, сливаясь со всеми живыми голосами вокруг меня, с голосом каждого дня, его светом и белизной. Утром и вечером, красными веснами свирелью-жалейкой, изготовленной мною же из пробужденной соками болотной лозы. Этакий немытый и сопливый, меченый конопушками присарайных ласточек, лысый — стриженый под Котовского, наголо, деревенский послевоенный Лель. Какое время, такие и Лели. На безрыбье и рак — рыба, а на Полесье — и я человек.

На пустом кулеше, затирке, забеленной лишь молоком, и то не всегда, прочищаются и светлеют только глаза, да меньше сквозняков в голове, хотя они и бродят. Может, именно в пору их веяния и выспело у меня желание дороги, тропки, проселка, гостинца как чего-то единственно моего, что я мог позволить себе: идти, брести. Смотреть и думать о только мне принадлежащей дали, за которой меня ожидают. Встретят, обогреют, может, и конфетку дадут. Где я кому-то буду нужен. Вечная надежда и путь живых.

Сегодня, мне кажется, скорее вымирающих. Дорога, тропа, путеводная нить, проложенная, протянутая мне мамой уже из небытия, с того света, со скорбью о потере меня, дочери и собственной жизни, желания доли моему сиротству. Виноват, конечно, виноват. Я тогда безмерно докучал ее вечному упокоению. Беспокоил, мешал ему неизбывностью памяти во сне и наяву. Чего греха таить, упрекал: почему она забыла меня, перестала приходить ко мне ночью во снах и днем, когда я терял себя. Стремился пойти к ней, а она не отзывалась, не оказывала себя, прячась среди множества туманных, бесплотных призраков давно прошедших здесь живых.

Так, уже при мертвой, но живой в моей воспаленной памяти, я вновь потерял ее. Осиротел при мертвой, но живущей во мне матери, навсегда застывшей в моих глазах. Хотя при мне был отец или я при нем. Но как говорят, мать умерла — отец ослеп.

Я не упрекаю его. Так уж суждено тем, кто, не успев доесть первый кусок хлеба, принялся за другой — похоронив первую жену, обзавелся новой семьей и новыми детьми. Душа его заслепилась на прошлое и окаменела. У камня же глаз нет.

Я не обижаюсь на белый свет. Он не почернел для меня, был и остается привлекательным и ясным. Притягивает к себе, как синицу и журавля, небо. Так было и с желанием дороги. Я словно впервые увидел людские ходы,

споткнулся на вечном путеходе глазами и душой. Пробудился. До этого я не задумывался и не подозревал, что у людей есть дороги и они куда-то их ведут. Случилось это неожиданно и случайно, когда ноги выводили меня лишь за порог нашей с бабушкой хаты.

А в тот день я невзначай вышел за деревню. Миновал концевую хату. Обошел загнанную едва ли не по пояс в землю, огромную, не взорвавшуюся в свое время авиационную бомбу, стоящую, как боров, наклонно, привалившись к забору. Сверху она была до металлического блеска отполирована вожжами. Возчикам удобно: последняя хата, а дальше кусты, поле, большак и сосновый бор. За железное идолище с толом и динамитом, за его растопыренный дюралевыми запятыми клешневатый хвост-стабилизатор, мужики привязывали лошадей. Я погладил, обласкал теплую на солнце бомбу, согрел руки. Попробовал обнять, обхватить ее, но моих рук не хватило.

От концевой хаты я пошел прочь из своей деревни Анисовичи. На большак. На Домановичский шлях. Передо мной уже предвечерне в зелени сосен стоял обочинный бор, укрытые им без конца и края ряды деревянных крестов — кладбище и возлежащий передо мной в песке крест — росстань трех дорог. Первая — это моя деревня и улица, которые я покинул, вторая — недалекие отсюда Домановичи, в то время райцентр, и дальше к селам Коммуна и при железной дороге — Холодники. Вкопанное в горизонты изножье крестовых дорог — в неизвестные мне Козловичи и Азаричи — терялось в насыпях белого песка и редкого ракитника. И, конечно, короткая, перекладиной, колесная колея непосредственно уже к погостам. Коммуну и Холодники я уже видел, хотя не могу припомнить когда. Может, выпало из памяти потому, что железнодорожные Холодники оказались без вагонов и паровоза, лишь отсверк двойных рельсов на солнце да обветшалый домок с навязанным, возле него, как ботало на корове, медным с прозеленью колоколом.

Коммуна была интереснее. Дома там стояли основательные — не подходи, ступай мимо. При высоких заборах и зеленых палисадниках с мальвами и георгинами, сливами и вишнями — вполне, вполне зажиточные, по всему, жили здесь люди, не потому ли издавна звались коммунарами — к коммунизму близко. Но привлекало меня иное — копанки, пруды в рядок вдоль дороги. А в них живые карасики, которые, если напрячься и взболтать ногами воду, выплывали со дна на поверхность, хватали круглыми ртами воздух, судорожно упрекая немыми, бескровными еще губами, и их можно было ловить руками.

Что было под Козловичами и в самих Козловичах, я не знал, не мог даже представить, хотя объявился свету, считай, из них — Азаричского концлагеря, расположенного почти рядом с ними, но намертво вычеркнул это из своей памяти. Поговаривали, что там имелась нефть, протекала подземная черная нефтяная река. О нефти, черных реках я тоже ничего не знал, как и окружающие меня анисовичские люди. Но все же говорили меж собой больше женщины, старухи на попрядках и вечерках: есть, текут такие реки, где живут черные, как сапог нагуталиненный, люди. А теперь вот появились и у нас. Из крови человеческой. Потому что там, в лагере, столько людей легло, как желудей спелых. Истекло кровью. И она порой загоралась. И пламя, и черные реки докатывались, достигали даже Домановичско-Анисовичского кладбища. Докопались, увидели ту черную реку, когда в конце войны погиб здесь большой командир Красной Армии. Черная густая вода проступила на донце могилы. Так того командира и опустили в черную жирную жижу. Я сочувствовал ему, жалел. Как-то не по-людски это было. С одной стороны, конечно, может, и хорошо — дольше сохранится. А с другой, вздумает закурить — загорится. Юшка та черная, жирная, горючая. Жалко человека, хотя и умершего.

Так стоял я и бедовал на росстанях трех дорог, не зная, в какую сторону броситься. Солнце клонилось к заходу. Припадали к земле предвечерняя задумчивая тишина и свежесть. Я плюнул на руку и ударил по капле слюны пальцем: в какую сторону полетят брызги, туда и пойду. Полетели налево. Я обрадовался, хотел, чтобы они именно налево и полетели. Нечего мне было смотреть и делать ни в Домановичах, ни в Холодниках. Домановичи одно только название — райцентр. А на самом деле — разрушенная до руин ленинская школа, лежащая в тех же кирпичных руинах школа сталинская. Только стена на одной из них и устояла. Ее побелили мелом или известью и изредка показывали в кино. А мы из лежбищ в руинах бесплатно смотрели разные «Индийские гробницы» и, забыл, какие-то битвы. Но это вечером или даже ночью.

С Коммуной выбор был нелегкий, спорный. За палисадниками там росли яблони, и возле заборов можно было поднять паданки. В Анисовичах же, хотя и название яблочное, яблонь ни единой, как говорится, и близко не стояло. Лишь где-то за колхозными амбарами, складами, выгоном — райки. Но до первых заморозков их райскими, насквозь красными яблочками — только косину выправлять.

А прямо передо мной черно и серо простиралось кладбище. Мне туда ни к чему. Хотя оно и искушало, манило, и казалось, было близко мне. Где-то на подобном кладбище вечным сном забылись моя мама и сестричка. Но я до немоты, до мурашек по коже, ползающего ужаса в налысо стриженых волосах, боялся мо́гилок. Тем более вот таких бесконечных. Боялся неисчислимых покойников, среди которых мог и не узнать с перепугу маму и сестру. В глубине кладбища, посреди него, под навесом чернокорявых сосен ютилась небольшая избушка с единственным, кажется, окном, одноглазая. И этот глаз вечером во тьме светился. В той избушке, как я полагал, собирались, восстав из могил, мертвецы, высматривая меня или кого-то другого, неосторожно посягнувшего на их селище. Потому что такой порой на кладбище уже немо выли волки, которые были совсем не волками, а грешниками, оборотнями.

Так вот само собой сложилось, что я направился, пошагал на Козловичи. Дорога потянула меня туда. И хотя я привык гулять сам по себе, вынужден был подчиниться ее зову и приказу. Бессилен был сопротивляться неведомому, что таилось в моей памяти. В старинном Азаричско-Домановичском гостинце. А он был проложен через меня в моем же кажущемся беспамятстве. Ко всему, я всегда и во всем выбирал неизвестность, порой даже и смертельную. Нови, нови, нови. Не так ли летают в небе птицы, например, ласточки, точечно которыми мечен и я. Никогда не повторяются в небе, всегда иначе и по-новому. И я желал того же. Своей дороги, нови, неизвестности. А то, что из этого можно и не вернуться, дело десятое. Бог надвое судит.

Гостинец с хорошо наезженной колеей, до зольности поседевшим полесским песком, подгонял, втягивал меня то ли в прошлое, то ли в будущее. Колея была глубокая до черни с исподу. Но и в ней хватало песка, до щиколоток. А посредине бега машинных колес — и по колени мне, хотя смотрелась твердью. Твердь была обманной, поддельной из-за ровности песка, приглаженного, словно катком, задними мостами и ступицами грузовиков, в то время больше еще фронтовыми полундрами-полуторками.

Я купился на эту ровность, ступил и еле вытащил ноги. То же было и по обе стороны машинного хода. Единственное, что утешало и мирило меня с большаком, — песок, будто овечья или собачья шкура, мягкий и согревающий. Моим исцарапанным, в сукровичных цыпках ногам было в нем уютно и тепло, хотя и труднее переставлять их. Но я, подобно воробью, скоком пехотил дорогу.

Без простоев стремился в никуда. Бросался в разные стороны дороги, где, как думалось мне, легче ступать. Тянулся, как по веревке, колеей, переходил на целинную обочину. На траву-мураву, к которой уже падала предвечерняя свежесть и прохлада, на дороге же это еще не ощущалось. Пыльным туманным войлоком песок струйно стекал с моих босых ног, опадал, смешивался с песком маково-просовым и зернисто-ржаным. Тихонько, с цыплячим горловым писком, игриво терялся в нем. То же, наверно, происходило и со мной. Это я врастал в старый полесский гостинец, в его песочное дыхание, дыхание неба и земли, радуясь, что могу слышать и видеть все это, потому что получил, приобрел свою дорогу.

Захотел и пошел. Могу ходить, имею ноги. Небольшие, тонкие, спички, а не ноги, но ходят. И старинный гостинец, большак, признает это, потому и отзывается мне. Ведет меня, считай, за руку, подгоняет в шею, обещает что-то сладостно неведомое впереди. И это непознанное, словно котенок или птенец за пазухой, манили непредсказуемостью, непознанной далью дорог. Кстати, как и по сей день.

Неприметно с задумчивой и неторопливой ходьбы я побежал. Жил, конечно, по солнцу. А солнце уже поклонялось лесу. Надо было торопиться. Дорога в Козловичи неблизкая, по прикидкам моих односельчан, не менее десяти километров. Мои солнечные ходики не стояли на месте. Тикали и тикали. Быстрее, чем я перебирал ногами. Чтобы слегка приостановить стрелки, я принялся считать телефонные столбы. До ста счет знал. Отмерил первую сотню. Взялся за вторую. Сбился где-то на половине. Распечатал новую. И опять сбился. А Козловичей все нет и нет. И песок ощутимо потяжелел для моих ног.

Действительно, не такая уж радостная гостинная полесская дорога, как и земля: небо, ельник да песок. Только вместо елей, сосны, как пращуры, деды-полешуки, коренастые, комлистые. Обронзовевший янтарь в патине вечности. Коряво оплавленный янтарь и расслоенная, дрожащая на ветру бронза. Возмущенная ими зелень гибких ветвей, набрякающих сумраком и печалью. И этот тайный сумрак охватывал и меня. Ползком продвигался по загару плеч между лопаток, пробирался внутрь, в грудь. И там разрастался, ширился хвойной хмельной онемелостью, предчувствующей заход солнца, что объединяло меня с лесом. Это было и недоумение, и страх. Я терял себя, сливаясь с дорожной пылью, белым песком под ногами, когда самих песчинок уже не различить.

Что-то было не так. Какую-то неправильную выбрал я в тот день дорогу. Моя тень уже в пять-десять раз длиннее меня, и такая тонкая, плоская. Если так пойдет и дальше, она расплющит, поглотит меня, впитает в дорогу. Я останусь навсегда пугливой, никому не видимой дорожной тенью. Только тенью на этом седом вековом гостинце, призрачным гостем. Впитаюсь в песок, и хорошо, если хоть один человек, волк, заяц, дикий кабан почувствуют, ощутят под своими ногами или наступит на меня такой же, как я, сопливый, босой и почти голый хлопчик.

Равнодушное время легким суховейным ветерком сдует меня с гостевого стола дороги. Дорога, что так же зарастет травой, укроется кустами и лесом, пропадет, затеряется, как и я, если даже повезет песчинкой прилипнуть к чужим ногам. Один только шаг будущего незнакомого прохожего, и я навсегда уйду в небытие.

Потерянность, страх охватили меня. Безысходность, беспомощность обезножили меня, остолбили. Я застыл посреди большака, повернувшись в направлении моего движения, сцепившись сухими глазами с недостижимостью, что могла быть уже и не так далеко. Пусть же простит она меня. Но я

хлеба и картошки с нее еще не наел, молока, хотя бы кислого, еще не напился. Ну, ага, если бы меня досыта кормили, чтобы живот звенел, как эти телеграфные провода, тогда бы я. Тогда бы… Да, тогда я ага. Ага, ага…

И неожиданно почувствовал: мерзну. Ночь дышала не только мраком, но и холодом, как и дорожный песок. Холод выползал из его затверделой глубины, ледяной заметью охватывал ноги, расползался по телу, груди, залегал меж уныло и остро торчащих лопаток.

Ко всему, внезапно освирепел ветер. Завихрил песок у моих ног, вихрево окреп и едва не сбил меня. Поднятая им струя песка засыпала глаза и, словно теркой, прошлась по коже. Меня будто ошпарило. Я почувствовал невыносимый холодный жар и мгновенно заледенел. Ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Грозили обломиться хрупкие ледышки пальцев рук, ног. И сам я был ледяной сосулькой. Все, все проморозилось.

Но я заставил себя наклониться, согнуться и при этом не переломиться. Так же через не могу, не оберегая пальцев и рук, вкопался в песок посреди колеи, до пупа. Понизу ветер не ощущался, не было его, лишь песочные иголочно колкие брызги. А сам смерч кручено струился в небо воронкой, и я беспрепятственно зарывался в песок, сооружая нечто вроде гнезда, как это проделывает курица, освобождаясь от яйца. Только молча, без сокота и кудахтанья. Голос примерз внутри меня. Язык обездвижен, даже губ не облизать. И слюны не давал. Булыжник, а не язык. А такой ловкий и даже брехливый до этого.

Но потихоньку, помаленьку, сначала поверхностно, кожей, я оттаивал. Разогревал, как на черени бабушкиной печи, отмершие половинки, потом одубелые ноги. Бездумно веял растопыренными пальцами пухово мягкий песок, словно сам сеялся пылью.

Изувеченные, в сукровице, ржавые пальцы сбрасывали несмываемую болезную кору. И не щемили, как раньше, от тепла и холода, ощутимо затягивались ласковой кожицей новорожденного. Набрякали приятной глазу янтарной живицей — живой, защищенной молодой кожей, кровью. И кто-то там, погребенный в гостинце, дышал мне в ноги, щекотал пятки, так что я невольно рассмеялся. И я уже готов был остаться здесь, в моем песочном гнезде, навсегда. Только побаивался прорасти и вырасти среди белого дорожного песка деревом, той же сосной. Потому что издавна ощущал себя деревом и, может, немного песком, белым смехом рассыпанным у его корней. Но сейчас я подумал и понял — сломают, сломают дерево, выросшее посередке машинной дороги. Сломают молодым. И не плюнут. Бросят, как собаку под забором, втопчут в наезженную колею. Мимоходом навсегда упокоят.

Жалко себя. Мне еще до слез хочется просыпаться, вставать и ходить по этому белому-белому песку. Поднять под той елочкой боровичок, поцеловать его в росную коричневую головку, на которую дышал в ночи заяц, обдавал парным духом лосенок. Помычать и повздыхать коровой или теленком в сарае, сквозь щели которого задумчиво курится пыль и труха, попадая на луч солнца. И не только жить так, в тепле и добре, с ягодками и цветочками, но и с синяками и шишками. Подраться хотя бы с ястребками, гнездящимися на бабушкиной груше-медовке, что клюют мою лысую макитру, когда я навещаю их, хочу на язык и зуб жарким солнечным полднем медовок. Хочу, чтобы на земле был на мне чей-то глаз, и лучше добрый.

Я выкопался из свитого мною же посреди седого песка кубла. Правда, песок уже был не седой, больше походил на застарелую, покрытую коркой золу. Слежавшийся, придавленный вечерним мраком, будто осенним дождем, он казался тяжелым, некрасивым, приставуче летучим, будто прах. В нем уже

нет дневной памяти солнца: состарился, земельно почернел, выгорел. Зола золой, тлен, прах. И тебя превращает в такое же, клонит к земле.

Ночь, а стояла уже ночь, упреждающе дышала угрозой и испытанием. Надо было определяться, куда, в какую сторону броситься, к какому берегу грести. Козловичи скрывались в непробивной темени. Оставалось только возвращение. Но и там была темень.

Я и думать не думал про обратную дорогу. Как все знают, раки назад не ползают. Полешуки, подобно им, — тоже. Я уже качнулся телом вперед, оставалось только поднять ногу, и тут увидел неподалеку от себя… На зольной серости песка стоял человек. Ни лица, ни движения, ни звука — памятник. Всмотрелся в глухую тусклую темень и споткнулся взглядом об окаменелую недвижность женщины. Но опять — ни лица, ни звука, ни голоса.

Женщина посреди дороги, кажется, шевельнулась и осветилась лунно. И я узнал ее, хотя лицо ее было туманно размыто, скрыто, украдено от меня.

Отчетливо я видел только ее одежду. Рыже прожженный сильно сношенный солдатский бушлат. Коричневатые на передках и с бахромой, голенищами выше колен, сапоги. И дерюжного типа платок, сотканный на кроснах, в крупных белых, свекольно-красных и черных клетках, тоже махристый. Это было предсмертное гробовое одеяние моей матери. В нем ее похоронили.

Сапоги перед войной пошил ей отец. Иной обуви у нее уже не было, как предвидела, что заканчиваются ее земные дороги. Прожженный военный бушлат оставил прохожий красноармеец, поменяв его на отцовское старое пальто. Платок соткала бабушка из цветных деповских обтирочных отходов. В него мама кутала мою сестру, забрасывая сверток с ней за плечи, когда мы пошли от войны в лес, в курени, а потом и в погибельные беженцы. Снимала — куталась и накрывалась ею сама.

Увидев фигуру женщины в знакомых мне, привычных глазу одежках, я не испугался. Не было и растерянности. Только всеохватывающая печаль и скорбь. Теплый всплеск крови в висках. И радость, счастье. Окрыленный, подхваченный ими, устремился навстречу матери. А в том, что это она, я не сомневался. Раскрыл уже руки для объятия, скривил в счастливом плаче рот. Но она отбежала, скорее отплыла. Только-только днеть, светать стало, но за изваянием матери мрак стоял, хоть ножом режь. Свет наплывал сзади меня. И был он хотя и мглистым, но обнимающе теплым, словно кто-то дышал мне в плечи. Заставлял довериться, повернуться к нему лицом.

Я изо всех сил рвался навстречу матери. И она сместилась, подняла каменно недвижную голову, вскинула руку, покивала пальцем. Я молча подчинился ее предостережению. Мал еще был, совсем несмышленыш. Надо было отозваться хотя бы одним-единым словом. Но на оттаявшем уже языке слов появилось в ту минуту столько, что не помещались во рту. Заперло рот. Слова те были, наверно, мертвые, потому и отнялся язык. И у мамы, видимо, заложило рот и горло, отняло речь.

Мы так и не отозвались друг другу, как совсем и всегда чужие. Безгласно обошлись только одним знаком ее пальца: она мне приказывала, я — подчинялся. Мать покивала мне немо, и немотой, может, и уберегла, как предвидела что-то необратимое, невозвратное для меня впереди. Спасла немотою. Благословила или приговорила. Немая немого.

Я молча повернулся к теплу, веющему мне в лицо. К свету, который был уже почти дневным. Только не всюду, а ограниченно, на ширину и размах рук, скорее даже ладоней, как дальнобойный луч карманного фонарика, ходового в ту пору, кажется, немецкого «Даймона». Оставленный за мной мрак словно вытолкал

меня из непроглядности. Я, как по веревочке или солнечному лучу, потянулся за ширящимся светом, теплом. Потянулся хвостиком, как в беженстве за маминой юбкой. Только оглянулся на застывшую фигуру женщины, которая заступила мне дорогу. Но там уже никого не было. Пусто, пустым-пусто, как и у меня на душе. Только толчок в плечи. Совсем, похоже, не материнский, не женский. Так поддавать может только судьба. Чтобы не упасть, я быстренько-быстренько заперебирал ногами. Вперед, хотя на самом деле — назад.

Нет, не одни раки ходят назад. И полешуки на такое способны. Не хотят, а вынуждены, невольно. И я был подчинен неизбежному, хотя и понимал, что это неправильно, издевательство над моей природой и натурой. Но так предначертано было мне судьбой — задним ходом вперед и по одной узенькой дощечке, неведомо кем проложенной для меня. Живыми, мертвыми, вечностью, откуда я родом. Преждевременно состарившийся, обессилевший, немо бреду в ночи к кладбищу, мимо которого совсем недавно прошел.

А была уже ночь, глубокая и глухая, беззвучная, без биения даже моего сердца. Могильная, подземельная тишина и темнота, когда я снова прибился к росстани трех дорог, опустошенный, почти голый, могильно онемелый. На мгновение приостановился около присмиревшей в ночи авиационной бомбы. Все же нашла, отомстила она мне. Лучше бы в свое время взорвалась. Рванула, смела деревню и меня, немая свидетельница моего позорного возвращения.

И кладбище меня уже не пугало, как раньше. Покойники в темноте меня не видят, и я их не вижу. Лишь звезды с неба следили за мной мертвыми глазами, но я избегал на них смотреть. Стыдился. Деревня же потусторонне молчала. А на кладбище, взяв в кольцо, похоже, поднявшихся из могил покойников, сотлевших и свежих крестов, молча утягивающих их в небытие корнями деревьев, обозначалось нечто живое. Хороводился, погуливал ветер. А в глубине кладбища уныло и тускло мерцал огонек керосиновой лампы, а может, свечки. Или это горел кто-то из грешников. У чертей в аду не хватило дров, и он сбежал, чтобы остудиться в ночи на этом свете.

И еще на кладбище выли волки. Они всегда выли ночью в темноте у могил. А может, это тоже были грешники, которым крепко уж припекло. Среди лета выли, как зимой в филиппов пост. Мужскими и женскими голосами. То брали высоко, пронзая мрак, то стонали роженицами. Спускались до неутешных всхлипов новорожденного и собачьего визга. Прислушиваясь к ним, и я скорбно, с подвывом застонал, заплакал, словно на самом деле побывал на кресте или под крестом, в могиле и только-только пробился на этот свет, чтобы набрести на это сельское кладбище, на вот такую авиационную бомбу у концевого деревенского дома. Повсхлипывать, повыть, поплакать возле них. И тем утешиться. Двинуться на раздорожье, перекресток дорог — на росстань, следуя за судьбой, проложенной мне большаком, пойти неведомо куда древним белым и седым полесским Азаричско-Домановичским гостинцем.

Как ни странно, в ту минуту я уже любил его. Был зачарован, приговорен к нему до последнего дня. До неизбежного. Но и с того света снова и снова буду ходить по нему. Это как клубок бабушкиной пряжи под верчение измусоленного еще ее матерью или даже бабушкой старого веретена. Незримая самопрядная суровая нить наших синих-синих льнов, уродивших на песчаном поле, среди неба, ельника и болот. В сыру землю вошел, синю шапку нашел, — чтобы свиться веревочкой, связующей нас с миром, небом в святой день и грешную ночь.

2

И вот я опять на росстанях. У своего начала. На извечном Азаричско-Домановичском гостинце. Ровно через семьдесят лет. По левую руку где-то еврейско-полесское местечко Азаричи, с которого, согласно легендам, началось освоение здешнего края. Какого-то неведомого пейсатого Азара в глуби веков озарило обосноваться там, как и его, может, родственника, сына — в Домановичах. Как свидетельствует историк-краевед, писатель Владимир Лякин, переселенцев из Кельна, которые позже осели и в Калинковичах, поместному ранее говору, КалЕнковичах. В потаенности, обереженные неподступностью, укрытые песками и болотами, принялись вить гнездо, ладить дома. А вскоре и домовины.

Потому что это едино: дома и домовины. Все мы на этой земле Азары и Доманы при извечно суженных, а может, и дареных взгорках, холмах, при ельниках, нетленно хранящих плоть в белых полесских песках. Азаричи и Домановичи справа и слева от меня, как две руки, протянутые мне из вечности. Две руки прошедших и ушедших нашего рода и народа, которых мирно развело время. Упокоило в одной земле. На наших и их руках нет крови.

Передо мной, в оба глаза мне кресты, кресты, кресты, выпяченные с того света следы — знаки того, что кто-то тут прошел, засвидетельствовался в этих белых песках под соснами. Могилы, как взглядом охватить, шли плотными рядами. Притомились их домочадцы, прилегли около гостинца, под кресты на росстанях трех дорог. Разошлись по своим домовинам, проросли крестами и соснами.

Это основа, предмостье и фундамент уже и мне. Хотя кладбище не кажется мне сейчас таким уж огромным, как некогда. Что поделаешь, и я уже не мальчик. И еще: за годы, пробежавшие с той памятной ночи, кладбище, похоже, стало добрее, тише, словно просит прощения за былое, за страх и ужас, посланный мне. Может, отбивается так от меня, гонит прочь. Хотя вечность тоже совестлива в нашем приближении к ней.

Стыдливо удаляясь, прощально укладывает зерно во вспаханную ее плугом землю. Бережно жнет серпом, прибирая каждый колос, молотит цепом на току жизни, веет, отделяя семя от плевел в угоду живому, как дед внуку, отец сыну. Вечно, разумно. Хотя не все вечное разумно, а разумное — вечно, как нам привычно.

Мои глаза ищут бомбу у забора концевого или начального дома деревни Анисовичи. Советскую, фашистскую, какая сегодня разница, взорвись она. Но не взорвалась же, пожалела вдовьи дома, мою бабушку и меня. Хочу видеть свою, неизвестно кем отведенную от меня смерть. А ее нигде нет. Живые — вдовы, старухи, сироты, похоже, одолели ее. Выкопали посланницу преисподней, увезли в поле или лес и отсалютовали самим себе. А может, она сама превратилась в прах, пошла на тот свет и угрожает покойникам — кладбище-то рядом. Не исключено, что она просто временно выбралась из нашей земли, пошла в другие страны и народы. Насилием и смертями переполнен сегодня весь мир.

Старушке с косой некогда присматриваться к тому, на кого ей направить свою косу. Хотя она и не слепая — слепится, лишь столкнувшись со своей противоположностью, признает милосердие, а поклоняется смерти. Но над нами множество бестелесных оберегов и заступников. Конечно же, тех, которые давным-давно или даже недавно легли под кресты на кладбищах. Потому я и выбрался проведать их. Не будь их, не было бы и меня. Старушка с косой давно уже играет со мной в свои смертельные игры. Играли мы с ней и на этом Азаричско-Домановичском гостинце.

Моей бабушке Устимье Говор люди передали, что я помираю неподалеку от ее дома в Азаричском концентрационном лагере. Лагере, по подлости палачей-основателей едва ли уступающем в людоедской сути, а то и превосходящем Освенцимы и Заксенхаузены. Там явные и скрытые враги рейха. Азаричи же — дети, старики, старухи, женщины из окружающих деревень, специально зараженные тифом: буфер для наступающей Красной Армии. Но подлость не только в этом. Азаричский концлагерь так бы и остался неизвестным эпизодом — всего-то около сорока тысяч жертв, — но там полегло немало и солдат вермахта. Они-то, мертвые враги, и явили, подняли из забвения, болот и трясины невинные жертвы — Азаричский концлагерь смерти. Немцы уже после войны разыскали своих погибших. Создали здесь мемориал, тем самым напомнив о долге живых перед мертвыми. Но наши радетели только невнятно буркнули в ответ: тоже нам лагерь, на две с небольшим недели. Конечно, не десять лет без права переписки, не Воркута и Магадан.

Бабушка кинулась бегом в лагерь за Козловичами, под Азаричами. Может, потому меня так тянуло в ту давнюю ночь в Козловичи.

Когда бабушка нашла меня, я был почти не жилец. Ходить не мог, и пришлось ей выносить меня из лагеря на спине. А было ей уже тогда под мои сегодняшние лета, если не больше, потому что она любила повторять: «Я, унучок, старше Ленина…» Какое-то время она несла меня по натоптанной дороге, по гостинцу. Приморилась, решила идти напрямик, через лес, кусты и неизвестно кем в такую пору вспаханное поле.

И только ступила она на то поле, как на другом его краю возник человек. Ниоткуда и из ничего. Приличных лет дедок. В белых портках, при седой бороде и с кривоватым посошком, опираясь на который, он что-то высматривал впереди. Увидел среди поля бабушку со мной на плечах и словно ошалел. Меленько затопал на месте, перебирая ногами, а потом кинулся бегать, да так быстро, споро, что бабушка даже удивилась: старый, старый, а скачет, что собака. А тот кричал, задрав голову в небо и посох туда же вскидывал. Грозил то ли небу, то ли бабушке.

Бегал по краю поля взад-вперед, мотался переспелой маковкой дедовника. Позже бабушка говорила, что, может, это и спасло нас. Словно подчиняясь и одновременно увертываясь от его палки, она сбивалась с ноги и меняла направление, боясь выйти с поля и столкнуться с ошалелым дедком.

Но все же избежать столкновения не удалось. Вышла прямо на него, грудь в грудь. Отпустила меня на целик, а дедок размахнулся и своим кривым посошком трижды врезал ей по спине:

— Старая ворона, ты же шла по минному полю! Тебе ничего, ты уже отвековала свое. А этому хлопчику жить и жить еще. Наверно, он кому-то нужен.

Так сыграл я на Азаричско-Домановичском гостинце в свою игру со смертью. А впервые с глазу на глаз встретился с ней все же не здесь, хотя и совсем недалеко отсюда. В самом-самом своем начале. Не в растительном ли садово-огородном — как быстро всходят и находят нас наши смерти — состоянии и цветении. Та встреча, первый тайм, всю жизнь изводит меня. Большего греха и вины, как те, из мрака еле брезжущего зародыша сознания, на мне нет и не может быть. Думаю, что лишь они не позволяют нам преждевременно упасть и провалиться сквозь землю. Невыносимо таить и носить их в себе и на себе, но и отрешиться от них невозможно. Уж в такие одежды нарядила нас судьба, а мы покорно согласны носить их до исхода. Справедливо сказано: все свое мы носим и уносим с собой.

Самый первый гон, свою первую игру с ней помню в лицах, голосах и потусторонним уже уходом, бегством на тот свет или в сумасшедший дом.

А сумасшедшим, похоже, я был всегда. После затяжного зимнего сумеречного небытия я очнулся еще при снеге на полях, но уже с праздничным пением жаворонка в промытом до синевы небе. Время ушло от меня, а может, я от него, на месяцы и месяцы. А как все случилось, помню четко.

Зима, зима. Хотя и не очень снежная, ледяная. Мы, анисовичские огольцы, около одиннадцати человек, идем в школу, расположенную в соседней деревне Лампеки. Все в первый класс. Хотя кому-то только чуть больше пяти, как мне, а моему однокласснику Ваське, по кличке Дзынгаль, за двенадцать. Первый послевоенный год открытия школ. Я сам настоял, чтобы так рано пойти учиться. Тоскливо оставаться одному в деревне. Хотя и школа мне уже приелась: сижу битый час, как привязанный, дурак дураком на одном месте. А я дурак, неуч, неслух, тупица. В общем, настоящий послевоенный олух-школяр. В одном месте у меня одновременно гвоздь, червяк, горячий уголь и еще что-то.

Вот и сейчас мы идем по Анисовичам, Домановичам ногами, а Дзынгаль катится на коньках. Коньки смастерил себе сам. Две сосновых чурки, на каждой по два толстых проволочных полоза. Просто, но катятся. И я дико завидую Дзынгалю. Вообще должен признаться, увижу что новое — край хочу, просто кончаюсь. Сейчас умираю по конькам. Дзынгаль не дает. Может, чтобы отвязаться от меня, предлагает на спор: если я дойду до школы в коньках на босу ногу, это два или три километра, он отдаст мне их задаром. Я не медлю ни минуты, тут же развязываю оборы — веревки, раскручиваю портянки. Снимаю свои когда-то белые-белые липовые лапоточки, справленные мне бабушкой специально для школы. Сейчас они изрядно почернели, но я все равно страшно ими горжусь. Но тут не до гордости. И даже совсем не в коньках дело. Надо выиграть не столько их, сколько спор. Особенно у этого придурковатого долговязого Дзынгаля: учитель поставит его в угол за классный шкаф, а он нависнет над ним, упрется подбородком, смеется и жрет хлеб, печеную картошку, поддразнивает нас.

Вошел в разум я на печи, на горячей черени, головой к зашейку, аккурат там, где сидела мама на чужой печи и в чужом доме в последнюю свою ночь. Я так и подумал поначалу — повторение. Повторение той ночи. Но это было началом, а больше продолжением ночи уже моей.

Голос и слова нависшего надо мной седого, заросшего пегой щетиной старца, позднее узнал — фельдшера еще земской выучки:

— Суждено жить — будет жить.

Перед глазами слегка подкопченная снизу и с боков алюминиевая солдатская кружка, даже на глаз полная коричневой горечи. Руки бабушки, как продолжение кружки и сухого пучка трав, будто свитые из них.

И как с небес голос бабушки:

— Акрыяў?

Я только моргаю в ответ. Но бабушка, похоже, и не ждет ответа:

— И на урок не опоздал? На босу ногу с коньками в класс.

Я снова моргаю, пытаюсь кивнуть головой, но она не послушна мне.

— Затяты, упёрты, — говорит бабушка.— Мало ног, на коньки становишься. Кто знает, может, и получится что-то людское, если толк совсем выйдет, а бестолочь останется.

И молчание, только теперь уже долгое. И сияние глаз, почти звездное, улыбчивое, доброе. И ни слова укора, упрека. Хотя позднее признала, что ей в тот же день донесли, уведомили о моем зимнем забеге. И коньки самодельные, источая живицу, лежали у меня в изголовье. Уж не прощальным ли было

молчание бабушки — крути не крути, все же двустороннее крупозное воспаление легких в те годы — приговор. Прощальным, и как сегодня думается, несмотря ни на что, одобрительным. Бабуля моя была все же с характером, лихая. А горечь от настоя трав — невыносимая и долгая, пока мне не сказали, что я оставлен в первом классе на второй год. Хорошо, что пошел в школу в пять лет. Вообще в пять лет я был намного взрослее и самостоятельнее, чем сегодня в семьдесят с добрым гаком.

Война и смерть, венчально породнившись, гуляют по земле и гонятся за мной, моей матерью, сестрой, как собака за котом, настигают и изводят, будто весеннее жаркое солнце вчерашний омертвевший снег. В своем и чужом доме, в беженцах, куренях, а в канун освобождения от оккупации— повсюду. Играют жизнями, как копеечкой в пристенок. Копеечкой, которой так жаждет ребенок и нищий. И лишь непрерывность беличьего бега в колесе что-то обманчиво обещает впереди.

Единственное утешение — падать и помирать в дороге все же легче, привычнее. И мама с двумя детьми, мной трех или четырех лет и двухлетней сестричкой, бросилась в бега, прочь из родного гнезда. Очень уж часто и безостановочно бомбили узловую железнодорожную станцию Калинковичи, при которой мы жили. Подались в родную деревню отца, где, говорили, тихо, нет никакой войны, потому что там бомбить нечего и воевать не за что. Только болота, трясина, лес и кусты. Поверили, пошли из огня да в полымя. Война со смертью догнали нас. Набежали по нашему следу, как будто только за нами. Ложились смертно в полесские болота, трясину среди путаных, лесных, людских и звериных стежек свои и чужие. Били снарядами, бомбами, минами и пулями, намолотили столько у кладбища, небольшой тихой деревушки Уболоть, что живому ни ступить, ни прилечь среди мертвых.

Добавило и давних уже покойников с гробами и без, исторгнутых с того света. Кладбище было здесь испокон веку, старое. И потому кости, будто проваренные в кипятке времени, придавленные ржавым песком с примесью глины. Ко всему, они в этом вечном котле согрелись, были теплыми. А было морозно, и черепа обсохли, парно заиндевели, по-живому поседели. Только глазницы оставались сумрачно непроглядными, пустыми. Сквозь них с того света ничего не пробивалось. Смерть подземно и незряче отслеживала живых.

А свежие покойники лежали зряче и недвижимо. Мороз мгновенно закаменил их мраморно стылые лица, навсегда приласкав на чужом погосте, впаяв в чужую землю кровавым льдом, ими же образованным.

— Высекать, вырубать придется сякерами-топорами, — стонала бабушка, торопясь сквозь молодую гать покойников, не решаясь наступать на них и в то же время в сумерках не видя иного прохода, иных кладок. Мертвые заступали дорогу. А ей крайне необходимо было успеть тоже к смерти — на похороны малолетней внучки и молодой еще дочки, которые сколько уже дней и ночей лежали, подобно этим же, в пустом промороженном доме в деревне Уболоть. Кто-то должен был бросить горсть земли на их погребение. Это выпало на ее долю, долю матери и бабушки. Она потеряла за войну всех своих сыновей, и вот сегодня утром узнала, что уже нет и последней дочери. Так уж, видимо, ей суждено. Нет ничего безысходнее, ужаснее, когда житейскую гать матери мостят ее кровиночкой. И нести ей эту безысходность, ужас было суждено до сто тринадцатого лета на этой земле.

Мы с мамой и сестрой в годину мировой битвы держав за потерянную в болотах, трясине и борах деревню Уболоть отсиживались, прятались в окраинной хате. Я слышал войну за бревнами ее, но оставался глух, нем

и безучастен ко всему позастенному. Лишь краем уха улавливал зыбкий и знобкий вой снарядов и то, как они вспарывали и рвали землю. Оконные стекла зябко позванивали в зимней замазке. Взвихривалась и летела в небытие земля. Испуганно зависала тишина. Земля возвращалась из небесных высот и с горестным вздохом укладывалась в сотворенную взрывом яму — могилу. Оправдывалось последнее пожелание стать пухом, пухом всему миру.

Для меня во всем происходящем не было ничего страшного и обескураживающего. Воюют люди — пусть воюют. Летают в небе бомбы, снаряды и мины — на здоровье, пусть себе летают и рвутся. Птицы ведь тоже летают. И комары, и мухи, и мотыльки. Я был схож с ними. Все, что снаружи — ненужное и пустое. У меня своя жизнь и свои заботы. Война меня не касается, я не причастен к ней. Я же, считай, с первого шага, всхлипа живу в ней и с ней.

Одно надоело — принудительно играть в прятки. Хочется больше света, солнца. В укрытиях темно, скучно и одиноко. Сумрачно, холодно и голодно, как и здесь. В доме слабым притушенным огоньком мерцает коминок. Я согреваюсь, зная, что в нем печется картошка, одна, небольшенькая. Слышу ее запах, вижу, как, подгорело морщась, стягивается ее кожица. Так же утягивается кожа и у меня на животе. Мы с сестрой сидим на полатях у коминка и не сводим глаз с робкого в нем огонька и того, что в золе под ним.

Но мама вторгается в наше ожидание и надежду. Отсаживает от огня, поднимает с полатей и вскидывает на печь, на голую черень. Черень, как и печь, холодная. Печь давно не протапливали. Сестра сидит послушно и тихо. Наверно, бережет назапашенное на полатях тепло. Я же кручусь, ползаю по печи, а вскоре начинаю тихо всхлипывать, повизгивать, как слепой щенок в холодной будке. Но проделываю я это совсем не от холода. В голове у меня и перед глазами картошка. Я вижу ее нисколько не слезно, сухими глазами, отчетливо и жадно. Неподвластные мне всхлипывание и повизгивание крепнут, перерастают в протяжный и довольно противный вой. Я слушаю себя и, не спуская глаз с картофелины, слежу за мамой в полумраке полатей. На мгновение умолкаю и начинаю опять, уже громче и обиженно. Вызывающе.

Наконец мама не выдерживает. Сбрасывает с себя хламиды, в которые до этого была закутана — дерюжки, постилки, прожженный солдатский бушлат, и словно из норы или берлоги, поднимается со своего лежбища на полатях, торопливо бросается к печи. Первой, почти ласково, снимает и сажает на полати сестру, прислонив головкой к припечью, на вынутую кирпичину, под ноги ребенку, если он вздумает сам взобраться на черень. Обеими руками, похоже, зло хватает меня и швыряет на полати поодаль от сестры.

Я не в обиде на нее. Доволен, добился своего. Перед глазами у меня суетливо прыгает по углям почти погасшее пламя. Мама ставит ногу в детскую щель в печи и устраивается на черени, где только что мерзли мы с сестрой. Там еще, наверное, сохранилось наше безнадежно тоскливое дыхание.

Я доволен. Я счастлив со всех сторон. Явственно ощущаю во рту, всем телом запах, съедобный дух наверняка уже готовой рассыпчато и жарко испеченной внутри картошки. Дышу им и насыщаюсь. На всем белом свете не сыскать ничего лучше запаха испеченной в золе картошки. И я в предвкушении полнюсь им до кончика оледеневшего носа, так что теряю себя, заходясь от тепла и ласки синенького тумана, в котором младенчески пребываю. И в это самое счастливое мгновение в моей жизни происходит самое страшное. И непоправимое.

Мама, словно на крыльях, слетает с печи. Крылато распростерши руки, парит, парит над нами, мне показалось, вечность. Хотя было и другое, нечто,

может из вечности нашей злокозненной человеческой натуры: вот как, не дала, не дала и попробовать картошечки. Но это уже вместе с мгновенно и невольно хлынувшими ниоткуда и из ничего слезами и кровью. Слезами моими, кровью мамы, что хлестала из ее шеи на меня и сестру. Пеленала, обвивала, словно пуповиной, которая навсегда уже порвалась. Смертно.

Только осознания ее смерти нет. Она не может, не должна умереть, пока мы живые. Так не бывает, это невозможно. Она просто получила, заимела крылья и теперь кружит над нами, кропя кровью, как восходящее в небе поутру солнце. Потому и такая тишина. Воздух не шелохнется. Я на этот раз не слышал подлетного гуда ни пули, ни снаряда, ни бомбы. Не было проломного стука, удара. Тишина, тишина, тишина. А ведь до этого я краем безразличного уха чувствовал и различал их приближение и падение. Бомбы подземно сотрясали дом, отчего он приподнимался, готовый к взлету. От разрыва мин только вздрагивал внешне и пошатывался. Пули были безобидными, зуммерно смирными, как комары или пчелы перед укусом. А сейчас ничего из этих звуков в меня не просочилось. Только вот печь в верхней кладке разрушена. Красно-кровавая куча кирпичей на полу, бело и сажисто пропеченных и опаленных. Но не разрывом снарядов, а чем-то иным, давним жаром пламени и свежей кровью, как глиняный горшок глазурью. Снаряд ударил в предпечный стояк, дымоход, и осколками разлетелся между перешейком и стеной. Один из них попал в шею мамы.

Это мое давнее фотографическое виденье. А в то время я ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Хотя был все же при слухе, но глухой и немой, при глазах, но слепо невидящий, при памяти, но мертвой. Понимание того, что это была смерть не мамы, а наша с сестрой, пришло позже. Ведь это мы должны были принять ее. Ведь это мы в ожидании ее сидели на печи. Мать заняла наше место, в самую последнюю свою минуту заступила дорогу нашей смерти. Выхватила нас из-под ее косы, пожертвовав собой. И я виноват в ее гибели. Смертно хотелось хотя бы на один зубок испеченной в коминке картошинки.

Она мне поперек горла и сегодня. Потому я никогда не ем целую картошку. Мну ее ложкой в тарелке. Стала поперек горла, когда уже кончилось детство. И я едва не захлебнулся пробудившейся памятью. Мама ответила этой памяти тем, что пропала в ней обликом, лицом, перестала являться во сне, как это было раньше. Многим известно деревенское, что я долгое время считал глупостью, недомыслием и суеверием: покойники присушивают и изводят нас, если мы бесконечно и безутешно поминаем их. Стремятся отряхнуть земное, хотят покоя и отдохновения. Растревоженные и пробужденные нашей юдольной печалью, тоской, жалостью, они поднимаются с того света, встают из могил, возвращаются на этот свет, льнут к нам. Иногда и нежеланно, недобро, заупокойно — призраками, привидениями, оборотнями-волколаками.

Не потому ли мать закрылась, спасла меня снова — из небытия уже. Может быть, не одна только мать. Бабушка. Ангелом белым упокоенная сестричка, и многие, и многие, с того света продолжают заботиться и невидимо охранять меня. Потому что мои игры со смертью были бесконечны и неисчислимы здесь, на родной земле, и на чужбине. Необратимо погибельны. И все же…

Лишь в самое последнее мгновение, когда я удерживался тоненьким-тоненьким волоском на этом свете, меня тем же волоском вытаскивали, возвращали опять в жизнь. Я приходил в себя, ко мне возвращалась память. Белый свет вновь застил не глаза, сияние его, а случалось, и мрак, поднимали меня. Я опять был готов ползти, брести, бежать людскими и звериными стежками. Родным и чужим, горным и таежным, по горам, рекам, по долу и небу,

шахтам и стройкам, проселкам и бездорожью, большакам-гостинцам своей крученой и верченой судьбы.

Брали свое, побеждали жажда и желание быть. Быть повсюду и всегда. И немного, немного, на комариный укус, больше и дальше отмеренного. Того, что на свету и в темени, куда мне не позволено, куда меня не хотят пускать. Непознанное и недостижимое притягательнее и слаще. Хотя живой человек во всем должен держаться меры и границы. Живое — живым, умершее — мертвым. Но это не ко мне, как и не к тем, кто действительно живой.

3

Я огляделся вокруг себя. На меня незряче и беззубо щерила пасть пустота. Что-то более знаковое и более ужасное, чем просто пустота. Нигде не было не только подзаборной бомбы, но и самого забора и концевого дома. Опустошенное, испепеленное зноем голое серое поле на месте прежнего ладного селища, будто нарочно вытолкнутое мне напоказ. Игривый, словно забавляющийся золой, суховейный ветер на нем. Не тот ли самый, заигрывающий с белым сыпучим песком свежей могилы, когда душа расстается с покойником и прощально ерошит, словно его волосы, могильную насыпь.

Могила и кладбище не для одной только хаты при былой авиационной бомбе. Неужели почти через три четверти столетия она все же взорвалась и свершила свое предназначение, на которое оказалась непригодна в войну? Сотворила смерть и похороны деревни. Распяла и окрестила без креста и самотканого, как здесь исстари заведено, узорчатого рушника на нем, в цветных крестиках и ноликах — знаках крестьянского бытия и вечности.

Пугающим было не само кладбище, а то, что покойники при нем не зарыты, не похоронены. Кинутые-ринутые при сухих, подготовленных к погребению солнцем, уже мумифицированных им скелетах когда-то живых существ — деревенских изб. Черно молчащие, они прилегли по обе стороны на всю длину когда-то, мне казалось, бесконечной улицы, действительно, не такой уж и маленькой деревни с яблочно-ласкательным именем Анисовичи. Хотя в советские времена ни яблонь, ни яблок тут и в помине не было. Яблони вырубили перед войной из-за непомерных налогов.

Покойницы-избы переговаривались меж собой. Поминально и скорбно перекликались вырванными челюстями дверей и защелок-клямок. Переглядывались, пряча что-то сумрачное в немоте тишины и ослепления, в черепичных и камышовых проломах крыш, с перехваченным навсегда дыханием бело-черных печных труб с кровавыми изломами кирпичей.

Перехватило дыхание и у меня. На каком я свете? Не догнала ли нечаянно и неприметно меня престарелая жнея, и я в ее объятиях уже не тут и не здесь. Она повелевает и мне двигаться в том же направлении. А дороги, как и былой деревни, нету. Умершие дома перекрыли и скрыли от меня дорогу. Вернее, она есть, просматривается, но давно нехоженая, непроходная и непроезжая для машин. И я уже сомневаюсь в том, что сам некогда ходил и бегал здесь, попал туда, где было так бездумно солнечно и мягко. Мои ноги, пятки еще не забыли теплого прикосновения оставленной мною родной деревни.

Я прошу сына, он меня везет, свернуть в сторону, туда, где, мне кажется, кто-то или что-то есть еще живое. Амбары, склады, сараи и прочие при исчезнувшем уже колхозе хозяйственные постройки. Если я все же при памяти, там должен располагаться так называемый погон. Выгон, пастбище для скота с островами

полевой травы и дюнными сугробами белого песка — место наших детских игр. Потому что взрослым, кроме пастухов, там нечего делать. В свое время я и сам готов был развеяться песком, вкопаться в него и остаться там навсегда.

Вместе с друзьями разбирал снаряд, добывая длинный, словно макаронина, слегка желтоватый порох. Тот порох, если его с одного конца поджечь и поставить торчком другим концом на пол, скачет, прыгает по хате, танцует табачно прокуренным чертом. Снаряд не разбирался. Мы, сколько было сил, колотили по его блюдцевой тяжелой заднице, посаженной на резьбу, молотками, топорами, кувалдами, зубилом гнали стружку. Так увлеклись, так спешили на тот свет, что и не услышали, не заметили, как нас уследил, подкрался к нам пастух. Подкрался и так опоясал длиннющим кнутом со свинцовым завершьем — специально для быков и их шкуры. Охватил нас всех, пятерых или шестерых. Жахнул, как шершень в лоб. Наша детская кожа расползлась у кого где. У меня как раз там, где должен помещаться ум.

Не очень проезже было и за кладбищем деревни, у молчаливо стареющих колхозных построек — скорбном напоминании об эпохе скончавшегося развитого социализма. Мы едва выбрались из уцепистых тленных объятий былого колхозного лада. Колея, сотворенная колхозными тракторами, и теперь была на удивление глубокой и незарастающей. Мы вновь направились к деревне. Подобрались, будто прокрались. И продолжали путь, воровато крадучись.

Я не отваживался, остерегался всматриваться в разрушенные дома, в их костлявые, скелетные останки. Память колола глаза. Они оставались в прошлом, в детстве. Настоящее же было подобно обморочно жуткому сну. Одновременно я отчетливо понимал — это не детский пугающий сон. Зрительно узнавал то, чего уже не было и не могло быть, что уже превратилось в прах. Но прах не застилал мне глаза. Я возрождал прошлое. Отзывался каждому преодоленному метру дороги. Хотя и сомневался уже, что некогда и вправду здесь ходил, бегал, смеялся и плакал.

Так обморочно, в слиянии были и небыли, мы проехали из конца в конец некогда живой и полнокровной деревни. Добрались до последнего дома. Я, похоже, узнал его. По-всему, здесь должен был стоять дом моей тети Ходоски, бабушкиной сестры. Единственный дом в деревне, за забором которого росла сирень, белая и розово-фиолетовая. Весной, когда она цвела, вдохнув ее аромат, начинали петь соловьи. Отпелись, отпели и ее цвет. Какие-никакие жалкие кустики сирени устояли. Но и они дышали уже тленом. Сквозь усохшие, ломкие на взгляд даже издали, прутики с битым коростой и ржой листом. Выразительно светились ребра уже полусгнившего дома.

Выехали за околицу. Я не мог остановиться здесь даже на миг. Уперлись в пустошь. В белые, косами струящиеся на ветру пески. За этими дюнными песками, я знал, должна быть вересковая поляна, будто ковер-самолет, не с небес ли прилетевший, сел, высадил будущих анисовцев и повелел им здесь строиться, плодиться и пастись. Но, как я когда-то думал, вересковую поляну соткали на утеху анисовичской детворе, а значит и мне, шмели. Очень уж она была броская, гулкая и цветастая, как и сами шмели, что наполнили ее красками, цветом, медовым ароматом и немного своей уже потусторонней печалью неземных далей. Печалью и тоской по далям, полнящим и здешнего человека при борах, багульниках, трясинах и болотах. Именно они, шмели, в сговоре с пчелами, опять же, как я думал и думаю, сотворили миру чудо из чудес — слуцкие пояса.

За вересковой поляной редкозубые, гребеночные разбеги сосен, которыми лучисто позолочен каждый Божий день. Причесывается, проясняет хмуря-

щееся спросонья небо, кучеряво укладывая облака и туманы. Когда седые боровые кудри дерев покачиваются, свиваются, может показаться, что среди них кто-то ходит, бегает, дышит.

Там, где краса неземная, там и вода живительная. Вода здесь есть, только живительная ли. Три небольшеньких озерца. Из бездны их незамутненных черных окон, окаймленных белым песком чуть ли не из глубин когда-то сгинувшего в тартарары Геродотова моря, кажется, кто-то следит за нами. Дно при береге торфяное, — хотя торфяников вблизи и в помине нет,— густо поросшее сплетенной травой. Трава зыбкая, ступишь — качается, но держит нас, детей. Я боюсь этих озеричин с зелеными по краям копейками ряски, переходящих в золотые и серебряные копилки желтых и белых горлачиков. Они словно зрачки бездны, недоброго глаза вечности в непроглядной тусклости воды. Наверное, потому в той воде ничего и не водится. Ни вьюна, ни карасика. Не вьют гнезд утки, потому что вокруг голо. И мы с друзьями остерегаемся лезть в воду. Хотя и любим купаться, но сидим на берегу, смотрим, ждем, кто или что может вынырнуть из глубины, чьи, для кого и зачем эти глаза. Каждый из нас не прочь заглянуть в их мрак. Но что-то удерживает нас на песке. Насупленность воды не позволяет нам даже приблизиться к ней.

За вересковой долиной, озерцами, песками и хвойным перелеском я видел и иное жилье. Далекие и притягательные камышовые крыши неведомых мне домов. Думал про себя: неужели и за Анисовичами живут люди? — вечный интерес и вопрос детворы и взрослых полешуков. Однажды увидел и убедился — живут. Высоко в небо тянулся дым и поблескивало пламя. Там горела видимая издали изба. Мне тогда и много позже хотелось сбегать и посмотреть на пожарище, как иные люди ставят вдали от нашей деревни дома. Живут и горят в них. Неужели совсем так, как у нас.

Еще одно не состоявшееся в детстве путешествие. Обморочно влекущая мечта. Как мало всем тогда нам было надо. Не сбылось, не случилось по причине моей рассудительности и догадливости: если и живут там люди, то это уже конец света. А я хотел в живую середину его, в продолжение. Однажды мы с бабушкой поехали в *хвойник* возле того поселения по дрова. Одолжили у соседа, который держал вола, ярмо. Запрягли нашу кормилицу-коровку и поехали. Что мы там насобирали, нарубили и привезли, уже не помню. А вот что корова занудилась, это в памяти. Недели две или три давала молоко с кровью. Бабушка молча плакала над подойником. Плакала и корова, отдавая молоко. Я решил, что за *хвойником*, в чужом селе, живет *хворь*. Потому мне и не дозволено туда. Расти надо еще и крепнуть. Вырос, окреп, возмужал. Дожился.

И сейчас меня как отворотило от вересковой поляны, шмелей, озерков, островков белого песка около них и невидимой уже за подросшим бором деревни. Может, ее уже нет. Пусть хоть что-то останется сокрытым, неизведанным. Нерушимым. Может, хотя бы так сохранится в моей памяти, независимой от меня.

Мы развернулись и по былому, которое еще и быльем не поросло, молча, не прощаясь, поколесили назад. Хотя при этом я все же не был уверен, что колесили мы по моему прошлому, улицей, по которой я так споро когда-то бегал, парил, летал. На выезде из деревни я спросил у случайного, вроде как ниоткуда взявшегося, не из праха ли дотлевающих домов, человека:

— Не подскажете, где будут Анисовичи?

— А здесь и будут. Вы только что выехали из них.

Человек был призрачен, похож на изможденного, замусоленного колхозным строем былого тракториста. Одним словом, здешний — тубылец. Только не нашего времени и века.

4

И вот я опять на тех росстанях. Впереди, прямо передо мной, кладбище, давнее, вековое. Позади — тоже, свежее. Я словно в бутылке, заткнутой пробкой. Азаричско-Домановичский гостинец — крест, на котором я распят своей оголенной памятью. Мое горькое и сладкое прошлое, оно также под пробкой. Заасфальтировано и впаяно в двухстороннюю даль скоростного гона современных автомобилей. И все те же горизонты, в которых пропал, потерялся тогда и я. Потерялся на жизнь.

На этом свете я уже собственность двух миров, двух кладбищ. Не знаю, к которому пристать, прибиться, которому довериться. Хотя выбора нет. Выбирают они, кладбища, в западне и пасти которых я нахожусь. Обложили. Говорят, что мертвые не задумываются о смысле и бессмысленности жизни и смерти. Не уверен. Жизнь заканчивается в гробу и сырой могиле. А смерть бессмертна. В последнее время много разговоров о том, что нашу планету Землю охраняют инопланетяне, зеленые человечки, пришельцы далеких и продвинутых планет, создавшие некогда нас. Я же склоняюсь к тому, что нашей судьбой, обережением обеспокоены наши же покойники, пращуры, деды и прадеды. Они и на том свете страдают, наблюдая за нами, надеются, пытаясь передать нам свою, отлетевшую в космический ад, рай — *вырай,* вдохнуть в нас свою нетленную вечную душу.

Не поэтому ли мы зачастую без дай-причины тоскуем и даже плачем, бесцельно бросаемся в никуда. В дорогу, в уходы — петлю и полынью. Бежим от самих себя. Нас заклинают, нас зовут, не дают оглохнуть и ослепнуть, окаменеть в суетной земной юдоли. Заверяют меня в этом ум или глупость. Вековая родовая заповедность, принуждающая меня быть и оставаться, верить и надеяться. Ночью, изведенный бессонницей, я придумываю себе иную жизнь, иное существование и занятие. Так, почти каждому у нас на Полесье ведомо, что в нашей земле повсюду, в том числе и на кладбищах, издревле спрятаны клады. Наши деды и прадеды были запасливыми. Недоедали, недопивали. А недоеденное и недопитое откладывали, приберегали на черный день. Думали вперед — чего начисто лишены мы сегодня, хоть и крепки задним умом. Их же ум был в другом месте. Думали о будущем своих наследников. Земля, селища и кладбища — их вековая скарбница, схрон, где они закапывали на сбережение земной вечности кто золотую царскую монету, кто серебряный или медный грош, перстенек, сережку, драгоценный камешек. Полнится земля до поры до времени скарбами, заговоренными нашими пращурами.

Они имели на них слово. Мы же его забыли, и по ночам я думал, страдая от наших бед, обратиться к ним, чтобы помогли людям избавиться от нищеты, пришли на помощь народу, стране, а в том числе и мне. Произнесли бы заветное слово, открыли клады, и мы бы сразу разбогатели. Только покойники и могут осчастливить нас.

Так я мечтал в беспросветной бессоннице ночей. Но днем, при солнечном свете, одумывался, трезвел. Нет, не стоит это делать. Все равно при нашей поденковой однодневности мгновенно пустим все по ветру. Хотя заговоренные схроны предков и туманят, застят глаза наследникам.

Я понял — грех уповать только на наследие предков, добытое ими кровью, потом и горбом: страну, дом, язык и достоинство. Нам завещано искать и добывать свое здесь, на земле и при жизни, а не христорадничать. Не побираться, не старцевать-нищенствовать, не бегать по миру с протянутой рукой. Так ведь и руки вместе с мозгами могут отсохнуть.

К этому я пришел своим квелым умом, когда моя жизнь стала нестерпимой. Приперло, как говорится, так, что ни охнуть, ни вздохнуть. Той порой и котика не всегда мог досыта накормить. Большую часть дня он уныло проводил в темном углу квартиры. Молча что-то пытался донести до меня, сумрачно и не без укора помаргивая зелеными светлячками почти детских глаз. Я боялся и избегал их, каждый раз припоминая слова про тех, кого мы приручили. Пытался оправдаться: да, согласен, виноват, и мы с тобой не только одной крови, но и одной доли.

Не чувство ли этой обездоленности и понимания голодной тоски котика подвигло меня в отчаянии бессонных ночей к бегству, отрицанию и уходу из этого мира в мир иной. Не котик ли показал и подсказал туда дорогу. Ведь, похоже, он сам был иноземцем, пришельцем с неведомых планет. Прибился к земле, а сейчас, не исключено, сожалел об этом. Я невольно жаждал его мира, но космическая дорога была заказана мне. Она была суждена, напророчена мне в детстве, когда я был нездешним, цельным и вольным, способным летать, мысленно изъясняться и перемещаться по небу, морю, исчезать и объявляться вновь. Но сегодня меня лишили этого, обрезали крылья. Не позволили дольше слушать траву, звезды и даже другого человека.

И все же что-то еще и сохранилось, осталось. Наследственное, от родителей — что-то делать, быть, хотя бы присутствовать. Двигаться, идти, брести по стежкам, проселкам, гостинцам, даже зная, что они уже никуда не ведут и не могут вести. Именно эта память детства заставляла меня перебирать ногами по праху моего Аз-ВозДам — Азаричско-Домановичского гостинца, на который я ступил по своей воле, не захотев отставать от людей, которых гнали в концентрационный лагерь смерти. Но об этом чуть позже.

А тогда в моих бессонных ночах мне оставалось одно: уединиться, слиться с мраком, ползти подколодным гадом, ужом, гадюкой. Шиться, спешить в отсырелость нор, в твердь и глубь земли, если нет спасения здесь, на поверхности. Нечего ждать милосердия и милости ни от живых, ни от мертвых, как и от утерянного распятого прошлого и тем более от людоедского настоящего. Это не моя Земля, не мое время. Здесь я отвержен. Здесь у меня лишь ожидание. Ожидание неизбежного. За мной идет охота, может быть, посланная даже небом, как коршун охотится за цыпленком. Потому не надо сидеть сиднем там, где меня случайно посеяли, посадили — искать свой мир, свое время. Свою землю обетованную, как это делали разные Америго Веспуччи, Васко да Гама и наш земляк Язэп Дроздович. Но в отличие от них, подкованный, образованный временем и молча приговоренный голодным своим котиком, я бросился на поиски иной жизни, не во вселенной, а там, где пребывал, надеясь найти и открыть неведомые туннели, лазы, порталы — ходы в иные, может, параллельные нашему, миры. Достигнуть сути, не самого ли ядра Земли. Добиться там упрятанной от меня судьбы, доли и правды.

Как говорят сведущие люди, нет спасения, счастья на земле — нет ее и выше. Но в лихие, апокалиптические времена безумию дана надежда: должно же все это где-то быть. Хоть и под землей в воплощении и образе Дьявола или Бога — друзей-врагов, охранителей вечности, вроде уральской Хозяйки медной горы из сказов Бажова, Нептуна или Посейдона, властителей морей. К кому-то из них я и обращусь. Попрошу всем нам, в том числе и своему иноземному котику счастья-доли. И сам не буду спать в шапку. Пригляжу, разведаю что-нибудь в залежалых закромах родины, добуду угля, руды, нефти и, чем черт не шутит, алмазов. В том, что в нашей земле все это есть, только сокрыто, я не сомневался. И котик служил мне поводырем в подземном

царстве. Вел зряче, как в давнину вели старцев-нищих с торбами и гуслями деревенские сироты-подростки.

Но не судите, думая, что это было только мое чистой воды безумие в бессонной ночи. Меня, всех нас, с детства учили видеть свет в конце тоннеля, жить завтра. И тогда, и там — все тогда и там от пуза: наемся, напьюся и спать завалюся. И рассветный день не мог избавить меня от подобных посулов и тщетных надежд, наоборот, множил их телеящиком, сулящим благополучие, луковое счастье, за счет повсеместного его выращивания, гороховую долю от прибылей зеленого горошка, морковное, заячье наслаждение, как только мы засеем ею все свои поля.

Но со мной и во мне была ночь, темень, мрак и их пророческое вдохновение. Убежденность в том, что все наше там, не на поверхности земли, а под землей. С этим я и пошел в сплетение столетий и тысячелетий, замурованных поколениями и поколениями предков, которые были, были и прошли.

Не одну зиму и весну я выправлялся в дорогу не только вглубь своей земли, но и во Вселенную, на другие планеты. Посидел на выходе самородной золотой жилы на Марсе. Увидел, как плюются алмазами Венера с Юпитером.

Только вот беда, что я мог взять и унести из подземности и тех дальних миров на себе, за пазухой и в карманах — не только стране, но и себе на курево не хватит. Раскрыв рот, я долгими часами бродил по Млечному Пути. Светящийся туман, серебристые облака указывали мне дорогу. Росстани галактического гостинца, межзвездные проселки, нехоженые межпланетные тропы и тропинки, кстати, совсем не пыльные, почти за руку водили меня по мирозданию, оберегая от пастей черных дыр, злобно жаждущих поживы. А сам гостинец был хотя и извилист, но просвечен сиянием множества своих и чужих солнц. Устремленный в иные галактики, разматывался, подобно бабушкиному клубку. Кто-то прял и невидимо наматывал в необозримых далях, высотах суровую кужельную нитку, ряд за рядом сотворял и стягивал, утягивал и отпускал миры, вселенные и одичавшие от неприкаянности и безбрачия кометы.

Во мраке и галактической рассеянности многоязыко перешептывались планеты:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…

Лермонтову из неведомых миров звучало ответное Богдановича:

Зорка Венера ўзышла над Зямлёю
Светлыя згадкі з сабой прывяла...
Помніш, калі я спаткаўся з табою,
Зорка Венера ўзышла.
З гэтай пары я пачаў углядацца
Ў неба начное і зорку шукаў.
Ціхім каханнем к табе разгарацца
З гэтай пары я пачаў...

Задумчиво, облачно плыли через века и эпохи, тьму галактик, неистовство огня и пламя их рождения и смерти негромкие слова, обретая плоть и пророческий лик создателей.

Я вовремя, хотя и не совсем осознанно, почувствовал, что грань между сном и действительностью размыта, стерта. Утрачено космическое и земное равновесие. Меня нет на их чашах — бытие пострашнее небытия. Сознание и подсознание слились, вместо мозгов — сапоги всмятку.

А предшествовало этому то, что я сам до сего дня не могу понять и определить. Во-первых, ощущение того, что я когда-то уже был здесь. Сегодня лишь повторение пройденного. И еще: на Млечном гостинце, где всегда был в одиночестве, я вдруг, как в водоворот, речной вир, был втянут, окружен толпой. В призрачном сонмище бредущих то ли на страшный суд, то ли возвращающихся с него людей. Святых, грешных, кто знает. Но очень подобных на гонимых в концлагерь по Азаричско-Домановичскому гостинцу.

Среди этого сумеречного галактического крестного хода я увидел и себя, наверное, также приуготовленного на заклание. Увидел себя, но не таким, каким был в ту пору — добровольно, ничему не противясь, согласного на концлагерь, только бы остаться с людьми. Тот давний мальчонка, похоже, тоже узнал меня. Бросился мне навстречу. Но я отверг его, как в свое время бабушка отвергла меня.

Мальчишка военных лет пытался мне что-то сказать, внушить, я же убоялся услышать его. Во мне и без того не стихали колокола той освободительной ночи.

Я бежал от этого крестного галактического хода. Хотя, правду говоря, бежать мне было некуда. У него не было ни конца, ни начала. Впереди он терялся в мироздании, словно скатывался в прорву. В пропасть. Из прорвы, бездны и выходил. И так до бесконечности, подобно белке в колесе. А движения мальчишки казались мне осмысленными, в отличие от меня в его возрасте, зомбированного войной, смертями и бесконечностью ночи.

Я отверг его. Позорно и безоглядно бежал неведомо куда и как. Я отказывался признавать свои детские откровения, пусть даже правдивые, а может, даже вещие. Опять негласный наказ и завет дедов и прадедов: не все человеку дозволено и надобно знать. Все крайне необходимое найдется и проявится само.

И я решительно и бесповоротно повернул с тех планет на родную мать-Землю. Помогли, пособили избытию памяти моего позора и бегства клятые наши болота и трясины. Я словно на лодочке плыл по их лабиринтам. Это был удивительный мир, бесконечный, успокаивающий и исцеляющий. Я отдыхал в нем, будто нерожденный еще, в водах лона матери, под колыбельную вечности, сотворившую такое чудо. Плодную завязь моего Полесья, пуповиной кровно сращенного со мной. И пуповина эта вечна, она сохранится даже когда меня уже не будет. Древние торфяники встречали и провожали меня, дышали чарующей лаской. Лаской и негой страждущей роженицы, дарующей миру жизнь. И еще: в пещерных теплых лабиринтах торфяников, дрожащих разливах болот и трясины кто-то невидимо присутствовал. Жил, смеялся, отзывался мне, но не показывался.

Но мне было не до него. Я шел не по живому, а по отмершему. Продолжал надеяться, искать не пропавшее былое, а уцелевшее, выжившее.

Ведь болота, трясина, торфяники — суть триединство: Творец, Сын и Святой Дух нашего края. Наши пра-пра, нетленно сохраненные в веках. Из них, их дыхания, духа и души созданы и мы. И если есть у нас разум — это тоже от них. То, что считали проклятьем — топи, зыбуны, прорвы, — издревле наши охранители и обереги. В них душа наших далеких пращуров и наша

душа. Прошлое и будущее. Живые кладочки между ними и Вселенной. Только мы их затоптали, плюнули на них ради чарки и шкварки. Поверили тому, что мы безродные, без роду и племени, байстрюки, бастарды, нищие на Млечном Пути, гостинце Вселенной. Но как избавиться от знаков, посланных нам из той же Вселенной, неба над нами, Земли, хотя бы того же каменного креста, растущего на Замковой горе у Припяти, в древнем нашем княжестве Туровском, вилейских камней-валунов, открытых совсем недавно, с изображением созвездия Плеяд. А многие, многие наши озера удивительно правильной яйцевидной формы только ли ледниками созданы. А гористый, каменно-скальный, еще в середине прошлого века воистину райский уголок — Мозырь, не уступающий по количеству солнечных дней и южных растений, садовых деревьев Одессе…

Временами я начинал осознавать, чувствовать где-то совсем рядом невидимое, но живое присутствие всего этого. Хотя *это* было нечто совсем иное в нашем будничном понимании живого. Меня явственно обволакивало духом и дыханием *этого,* схожего с духом и дыханием обычного деревенского сарая, парного молока, коровьей жвачки, телячьих или овечьих яслей, мурожного сена, сопенья ребенка — невинности, надежды и прощения. А иной раз и неприятием, предупреждением и запретом, неизвестно от кого исходящим.

В своих подземных хождениях я полнился невыносимой печалью, холодно накопленной в тиши веков. Печалью то ли прошлого, то ли будущего, испепеляющей предвидением непонятно чего. Что-то земное, человеческое, похоже, проникало и под землю. И она была беспокойна в своем укромно залежном плодовитом лоне. Земные страсти горячечно сотрясали ее каменное или железное сердце. Мусорный верховой ветер достиг и его. Охватывал и сжигал меня тем, от чего я уходил, бежал. Огонь и жар бушующего пламени, порой отдающего горелой серой. Иногда же все менялось, перекручивалось. Я впадал в объятия перворожденности, может, и своего начала. Пробуждающегося весенним росным утром на восходе солнца хлопотного села, приглушенной ночью уличной дремы, исходящих живицей в недвижимости воздуха молчаливых бревен деревенских изб. Озабочивался пчелой — божьей деткой — старательно отрясающей от звездной пыли и тумана уже полетные крыльца и хоботок.

Все там было, каждого жита по лопате. Все сразу, чтобы разбогатеть и в ус не дуть: от кимберлитовых алмазородящих трубок до мирного урана. Особо дивило, зазывало к себе Море Геродота — совсем не вымысел древнего грека. Оно ушло под землю, спряталось там, укрывшись болотами и торфяниками, рассолами минеральных вод — загробными пляжами почти золотого песка. Но из тех песков мы получили себе только кладбища на вековых курганах и взгорках. А рассолами, целебными минеральными водами, моют на Полесье трактора. Они же, наши минеральные воды, по своему составу и качеству не уступают кавказским. Кое-как только используем родон на Гродненщине, которым в основном оздоравливаются россияне да разные немцы.

Изуродованная, ограбленная земля, хранительница богатств и памяти, голосит, отпевает саму себя и свое прошлое. То, что здесь некогда было в достатке, и того, кто жил достойно по-хозяйски. Ищет, рыщет, просит в надежде состояться хотя бы эхом. И, хочется надеяться, кто-нибудь да отзовется, услышит. Хочется, хочется верить, возродится вновь то, что было раньше. Все ведь, согласно науке, движется по спирали. Ко всему приложится прежняя сила и прежний ум. А мне — с детства отнятые крылья. Согласие со всем сущим. А перво-наперво с самим собой.

Потому что в этой жизни я давно уже потерял себя, свое лицо. Хотя, как ни удивительно, в своих блужданиях по тому и этому свету, по иным мирам заполучил множество лиц других. Стал многолик. Впрочем, наверно, в этом нет ничего удивительного. Как часто в безоглядном уповании, в борьбе, сегодня мы терпим сокрушительные поражения. С вековым бороться грешно. В погоне за светлым будущим, за днем грядущим теряется настоящее. В пролетарской жажде соединиться — разъединяемся, удаляясь друг от друга.

Недаром один мудрый еврей, услышав призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», меланхолично молвил: «Пусть соединяются, только не в моем доме». Мы же творим все в собственном доме, который давно уже не наш. Свой же дом уже многократно спален. Спален не Янусами ли, давно уже обошедшими многоликостью настоящего Януса. На каждую эпоху, на каждый век у нас все новое и новое лицо, за промельками которого настоящего лица и не видать.

Выбирались мы в эту поездку давно. Не с год ли. Да все не выпадало. Я противился тому, чтобы поездка пришлась на Радуницу, Дзяды или Спас, общепризнанные дни поминовения предков, почти праздничные сегодня. Не хотелось угодить и слиться с однодневной печалью, бестолочной суетой толпы. То ли меня что-то удерживало, или у сына не складывалось. Вместе с женой он бежал из омутного Минска, переехал в деревню и стал там строиться. Только поставили крышу над головой — родилась дочь. Мне оставалось одно — ждать. Я не надоедал сыну напоминанием о нашем уговоре. Но, видимо, в каждом из нас живет неумолкающий голос крови. Безусловные долг и обязанность перед теми, кто прошел по этому свету, белым его пескам и вересковым полянам.

Где-то уже на исходе жаркого лета и в начале такой же безжалостно-иссушающей осени сын сказал:

— Ну что, батька, завтра едем к своим.

Я сразу и не понял, к каким таким своим мы завтра поедем. Но он у нас не из разговорчивых. Потом догадался, что сын имеет в виду. Несмотря на занятость, совсем иную, как, впрочем, и у всех сегодня молодых, он носил в себе дорогу и неизбывную память моих, а теперь уже и его покойников. Их все же поросль, хотя и совсем из другой эпохи. Полешук, а полешуки не только, как у них заведено, бормочут, памяркоўныя, но и твердые в памяти, долге перед предками.

Выехали в будний день, затемно еще. Осень, солнце ходит короче и ниже, чуть не напрямую к закату. А нам, больше сыну, необходимо было управиться за одни сутки. Работа, служба. Будний день выбрали еще и потому, что надо было застать на работе мою троюродную сестру, чтобы провела нас к могилке бабушки. Но об этом в свое время.

Хотя повод для поездки был печальным, дорога умиротворяла, приглушала боль, как это всегда происходит, когда смотришь на огонь, глядишь на воду, сливаешься, плывешь взглядом по ее течению. А еще увлечешься работой сам или наблюдаешь за слаженной работой других.

Я же полюбил, предался дороге еще мальцом, когда только решился на первый шаг. Ходить было хорошо и падать кулем хорошо. Утешен был дорогой в горький свой час, когда выправился в беспризорность. Уставился на стальные рельсы, блестяще, торчком набегающие на меня из-под колес товарных вагонов. Дал зарок: больше года на одном месте не жить. Полгода — и в дорогу… Легки, конечно, наши зароки. Но всегда есть где-то в навозной луже рябая свинья, которая только и поджидает, чтобы броситься наперерез нам и заставить повернуть куда угодно, только не туда, не туда.

С рассветом, перекрасом асфальта из антрацитно-черного на чадяще-синий, незаметно возвращалось ко мне детство. Все же каким бы долгим ни был наш век, что бы ни видели, кем бы ни стали, мы были и остаемся детьми. Обжигающая, бередящая душу тайна белого света, которым мы спеленуты от первого нашего крика до надгробного креста, в нас и с нами. И в земле точит нас могильным червем. Ведет, сосет и притягивает, как смоленую сову притягивают гарь и дымный запах печной трубы. Та же гарь и адски поблескивающая изморозь сажи — не отмыть, не отбиться — волоком волочит и нас по свету, который мы впервые увидели наяву чистыми и ясными глазами детства.

Дорога струнно настраивала меня, как старый еврей скрипку. Смычки островерхих сосен подрагивали в небе, прописью застывших нотных знаков кособоко и извилисто мелькали издревле проросшие здесь, слившиеся с этим краем, землей бревенчатые избы деревень, в самих названиях которых пробивалась, звучала музыка. Где-нигде по обочинам посиживали и слушатели или создатели ее. Старые задумчивые вороны, седые по осени любопытные ежики, которым крайне надо было на другую сторону шоссе. А на прохладный, вспотевший в ночи асфальт выползали прогонистые желтоухие ужи, выскакивали грузные, словно беременные, жабы. Нежданно серо и рыже стыли в жухлой траве гадюки, выставив только головы, подстерегая жабье недавно выведенное, последнее в этом году потомство.

Это было их время, ползуче сытное, ниспосланное им в иные годы, кажется, для приумножения и продолжения, но чаще гибельное. Близилось Воздвиженье. Гадовью повелевалось идти под землю. Но не всему, не каждому. Земля не принимала тех, которые согрешили летом. Провинились перед ней и человеком, излив яд. Они самоубийственно, по-современному, цивилизованно-облегченно заканчивали свой век чаще на шоссе, на асфальте, под колесами машин. Получали себе могилу, как и человек-самоубийца, которого хоронят не на кладбище, среди людей, а возле них, за забором. Именно в такую пору разгорались и битвы между носящими яд гадюками и ужами. Побеждали, как правило, последние. Все как заведено в этом подлунном мире.

В поисках отпущения грехов своих земных перед неизбежной, но все же желательно легкой смертью человек, уставший от непосильного груза на этом свете уходит, легкий — светло, обремененный же — сумрачно. И я тому свидетель.

В прокопченной баньке по-черному, летней варке для поросят и одновременно мельничке-крупорушке, пяток старушек, может, больше, может, меньше, ждали смерти старика, чтобы тут же обмыть его и нарядить в последний путь. Старушки сами были древние и одной ногой уже там. Среди них была моя бабушка, и я при ней. Чтобы не терять времени даром, пряли пряжу, тянули из повязанных куделей, как из лютеранских надмогильных досок, кужельную суровую льняную, без конца и начала нитку. Время от времени поплевывали на три пальца левой руки, чтобы поворотнее было веретено. И сами старушки были похожи на их веретена. Веретена наследные, от матерей, бабушек и прабабушек. Просушенные годами, если не вечностью, легкие.

Крутились веретена. Поочередно, а то все и сразу, сплевывали старушки. Серо сочилась из прялок с гребневым верхом, как из чрева припечно-потолочного паука, суровая нитка, брюхато наворачиваясь на веретена. Старик, поворотясь лицом к старухам, лежал на боку. Неотрывно смотрел на это верчение веретен, поклоны старух своим прялкам и не хотел помирать, будто это из него тянулась и тянулась кудельная нить.

В самом деле непорывная, хотя такое встречается редко: обязательно попадет или узелковая непрочесанность, или невыбитая костричина, или рука поспешать примется. А тут… Может, и в этом была причина, что старик хотел, должен был помереть. А не помирал. Хотя порой и мучился, стонал, смертно пряча внутрь себя глаза. И такая ни жизнь, ни смерть — страдательная для всех неопределенность, длилась день, вечер, ночь. Старухи были хотя и терпеливые, но не праздные: смерть смертью, а хозяйством заниматься тоже надо. Тайком, уже и нарекали на старика, а больше его старуха, жена, почти в открытую уже, — что же это такое, чалил бы к тому или другому берегу, не мучил бы себя и людей.

Вслушиваясь в это невысказанное блуждание по краю смерти — то отдаление, то приближение, — моя бабушка решительно оборвала кудельную нить. Отложила обочь себя веретено:

— Верим-не верим. Грешен. И крепко, перед людьми и этим светом. Надо крутить в потолке дырку.

Позвали соседа с буравом, сверлом. Тот, чуть позже протирая рукавом глаза и тем же рукавом закусывая после стакана принятого за упокой соседа:

— Не успел до конца досверлить, с потолка взнялась, хлестнула по глазам струя песка. Ослеп, совсем ослеп…

Я тогда поверил ему, не задумываясь и не сомневаясь. Сомневаться начал, образовавшись, прочитав сразу в нескольких книгах: суеверие, бабушкины сказки. Да, суеверные, тупые и темные, непросвещенные нам достались бабушки. Надо бы других. Да других уже нет. Что поделаешь. Что поделаешь со мной, с моей памятью и детством, вынуждающим меня и поныне уступать дорогу муравью, обходить стороной, не спугнув воробья, потому что и у них есть душа. Это во мне от моей суеверной бабушки и деревни Анисовичи, родного Полесья. Колдун, продавший душу черту, грешник, не может уйти просто так, скрыться. Душа должна осознать и претерпеть грех. Без этого ей нет упокоения. Гадов лесных и подколодных не принимает земля, они ползут на дорогу, тропу под милосердие машин и прохожих. Душа же человека через просверленное в потолке отверстие устремляется или на небо в ожидании Вечного суда, к Богу, или в ад, к дьяволу. Закон един — гадам, зверям, людям и даже империям и эпохам. Нечистой силе, правящей мирозданием смерти, необходима прорывная черная дыра, дырочка, щелочка в духовности Вселенной. А смертный и смрадный дух разложения, не поглощаемый ни временем, ни пространством, вечно уже витает над руинами, вливается в кровь эпох и поколений.

…Утреннее пробуждение солнца и жизни брали свое, умиротворяли и обнадеживали. Хотя у меня в самом начале пути появилось гнетущее ощущение: что-то пошло, идет не так. Беспричинно, но ныла душа. То ли не так я шагнул, не в ту сторону глянул. А что, почему и откуда на меня набегало, понять не мог. Я же до беспамятства любил эту дорогу. Я же прошел и проездил ее не раз. На подъезде к Бобруйску и за ним уже все вокруг дышало родным мне Полесьем. И я начинал дышать им, воздухом и духом отцовского дома. Грибным, ягодным, звериным духом боров и дубрав, седыми туманами прогалин и укрытых ими кустарников. Тем, от чего и где я не один раз помирал, уходил и возвращался.

Явственно понял, что день начался и пошел не так, наверно, где-то посередине своего пути, когда Полесье стойко и неопровержимо явилось передо мной. Опять же, на росстанях, огромном, едва ли не вселенском круге сбежавшихся дорог, многих и многих их направлений: Мозырь, Гомель, Жлобин

и непосредственно сам Бобруйск. Я выбрал из них свое, ступил на свое. А в глазах осталось ушедшее — колючая проволока по обочинам шоссе, перекрывшая, преграждающая все подступы к лесу. За ней — перепаханная не мелиоративным ли плугом Мацепуры в два-три метра ширины земля, следовая полоса. Пахота была свежая, земля плодородная, хоть на хлеб намазывай, так масляно отсвечивала на солнце.

Обочинная ограда из колючей проволоки, судя по всему, была вынужденно необходимой — лесные палы, пожары. Который год стояла сушь. Земля, долы и курганы, боры и дубравы пошли в минувшую зиму неоплодотворенными дождями. И теперь поджаривало, жгло так, что даже воздух дымился.

Все объяснимо, все так. Да как у нас говорят, не грех и перетакнуть. Напоминание очень уж недоброе и жгучее. Память полешука еще не избыла его. Мы еще и сегодня зонно заключены за колючей проволокой — войной, партизанщиной, беженством Чернобыля, отчуждением даже родных погостов.

Мне не раз приходилось наблюдать, быть свидетелем того, как отдает душу миру, уходит в небытие, улетает в вечный *вырай* птица, умирает лесной зверь и домашнее животное. Неслышимо, покорно, задумчиво и молча. Не с потусторонним ли уже добровольным соглашением и договором со смертью, достоинством и мужеством перед неизбежным, как воин, которого и враги предают земле с честью. Разумно и просветленно, с неземным уже светом в глазах, свечечкой, последней данью земной своей сущности, неугасимой искринкой своего пребывания в этом мире.

Нечто подобное чувствовалось и в том, как дышали и блаженствовали яркой зеленью лиственные деревья, как пружинисто и колко прижмуривали очи хвойники, почти неземно уже стоя по обе стороны шоссе — их Стикса. Почти по Лермонтову — пророчески смертно. Такая без дрожи и страха смертность свойственна наверняка всему живому и сущему только в роковую минуту. Об этом без слов говорили уже отмершие возле их ног, видимых и невидимых корней желтые и ломкие травы, исходящие трухой и перхотью серо-седые лосиные мхи Полесья. Те самые, из которых так озорно выглядывают в добрую летнюю пору молодые, росисто цыганоголовые, коренастобелощекие боровики. Теперь же седые мхи обнажили белый песок, из которого они проклевывались, тленно обратились в прах. Песок шепотно и обморочно отпевал их. И не только их — мать-грибницу и ее живородное лоно.

Предчувствие того, что день не задался, пошел не так в самом начале пути, оправдывалось. На радость или горе, но прозорливость, предвидение, каким владели наши пращуры, в последнее время пробуждается и в нас. За ними была сила и мир, которые они несли на своих плечах и в руках, властвовали над собой и своей землей. Мы же владеем пустотой и безладьем. Опустошен и я. Гол как сокол. Пуст. Карманно, душевно. И в голове шаром покати. И в руках ничего. Никто не положил в мои ладони и камня даже — горсти земли из селища моей бабушки Устимьи Говор, жизнь которой на этой земле была дольше века — сто двенадцать лет. А сегодня там, где она вековала, — только горб. От ее селища, котлища, кубла, гнезда не осталось и знака. Нет знака и от дома, где родилась мама. А я памятью сердца, всем существом своим бегом бежал по болотам и трясинам к их святому гнездованию, чтобы нагрести, завернуть в тряпицу горсточку их праха и донести до места их упокоения, до ставшей им пухом родной земли.

Несколько лет назад я уже был здесь. Хата бабушки и мамы держалась земли, бугра, на котором зависла, как раз посреди деревни. Теперь же не только от хаты, но и от взгорка не было и следа. Мусорный ветер времени сровнял

ее с землей, снес. Может, она и сама сгинула, провалилась в тартарары, в пропасть, в бездну? Пошла искать тех, кто некогда здесь ходил, сажал картошку, сеял жито.

Ехал, как думалось, в свое прошлое и отмершее, оказалось — в живое и будущее. Но это живое и будущее незаметно переходило в действительно уже прошлое и навсегда отошедшее. Мне предстояло отыскать, встретиться с ним и содрогнуться. Оно так же сыпучим прахом, песком сыпалось сквозь пальцы. Бежало от живых, беременное настоящим и прежним, обманами и криводушием. Издевательством и обманом над тем уже миром. Потомки, наследники то и дело переворачивают своих покойников в гробах. И так бесконечно, что они уже сами с готовностью переворачиваются под крестами в своих могилах. Большой грех тревожить кости почивших, играть в свои земные игры с теми, кто в ином уже мире. Потому они и сторонятся, чураются живых, прячутся от нас, не допускают к своей потусторонней жизни.

Я живой и безутешный свидетель этого. Так укрылась и не допустила меня к себе моя бабушка — к своему уже не земному дому под вековыми полесскими дубами на обширнейшем кладбище деревни Горочичи — не от вечного ли крестьянского горепашества названной так. Несмотря на свою фамилию Говор, не подала мне голоса, а ведь я шел к ней просветленно, с открытым сердцем и памятью. Но она не пустила, заступила дорогу и мне, внуку, и своему правнуку.

Когда мы приехали проведать ее около двух лет назад, хлынул застивший весь белый свет ливень. Все могилы и дубы, которыми, похоже, проросли покойники, сразу стали неразличимо похожими, неприступными и уныло хмурыми, как и кресты под их сенью. Оскальзываясь, мы часа два бродили, едва ли не ползали под шепотное возмущение мокрой дубовой листвы среди частокола изувеченных непогодой, а больше временем, полусгнивших, а иногда и свежих, белокостно отесанных деревянных крестов, кроваво ржавых оград и могил, сровнявшихся с землей. Бабушка то ли пожалела нас, скорее правнука, послала свою товарку, тоже Устимью, почти одного с ней возраста, если верить могильной дощечке, и внешне похожую.

Я понял сразу, что это не она, не моя родная Устимьечка, но не стал перечить, приостановился около этой могилки, у изголовья под крест положил уже измятые и заплаканные цветы, несколько конфеток, яблоки. Мы с сыном распечатали бутылку горькой, налили и поставили под крест чарочку, накрыв ее краюхой хлеба. Аукнули свою бабушку, а чужую помянули троекратным поклоном. Чужая, своя. Какая разница, если в одной земельке. И родная где-то неподалеку следит за нами.

У мокрых крестов и слезно каменных надгробий мы с сыном обязались возвратиться сюда, отыскать уже именно ее вечное пристанище. Сейчас поиски начали с сельсовета, чем немало встревожили служащих, в основном женщин, пугливых и осторожных, как и все сегодня живущие с копейки. Они совсем недавно провели так называемую инвентаризацию кладбища, осмотрели все наличествующие там могилы. Посмертно пронумеровали почивших. Большое спасибо сельсовету и за это, сделали что могли. Только покойников на перекличку не построишь, на первый-второй рассчитаться не прикажешь, имени не спросишь.

Я знал, что в сельсовете когда-то работала моя троюродная сестра, Аня. Именно на нее, а не на сельсовет, я надеялся. Анна Васильевна Калуго, как мне сказали, перешла на другую работу, стала заведовать почтовым отделением в соседней деревне Зеленочичи. Могилки своей пра-пра она не знала, так,

приблизительно только. Опросила долгожителей Горочич. Вместе с Аней мы поехали туда, как надеялись, к могилке бабушки.

Показанная нам троюродной сестрой могилка тоже была чужой. Хилые кустики умирающей акации на песчаном холмике. Израненная при корне, до сукровицы ободранная молодая еще липка у коряво битой ржавчиной ограды под забором кладбища. А у меня в памяти от первого прощального посещения бабушки сразу после похорон — царской, богатырской мощи дуб у самого креста, возле изголовья, чуть ли не в три обхвата. И не у края кладбища, около забора, а посередке, с людьми, отдыхающими под его всеохватной тенью.

Не моей бабушки была эта безымянная могилка, да простит меня ее хозяин или хозяйка. Но я промолчал. И выпало мне опять чудо и диво. Возле этой чужой могилы я почувствовал, что теряю себя, словно таю. Раздваиваюсь и парю над вечным покоем кладбища. Этот покой передался мне, он диктовал мне молча подчиниться воле покойников. Принять и не противиться — такова их воля. Мгновение было отпущено мне на раздумье. Это было выше моего понимания и одновременно властно. Все вроде было уже предрешено, за мной же просто наблюдали. И было в этом привычно знакомое, житейское и земное. Контролирующее не только меня, но и мои мысли, явно не успевающие за моими действиями.

Первое желание и движение — повернуться и пойти прочь. Но прежде, еще до этого, я знал, что поступлю совсем иначе, словно все же услышал пророческий голос бабушки, предсказывающий мне мое будущее: «Лицом ты пустой, исхудалый, а телом исправный. Только совсем не наш, кроткий и послушный. Кто тебя добром или обманом окрутит, тот тебя и обратает».

Бабушка определила мою судьбу и жизнь, решительно и бесповоротно изгнав меня из своей хаты, хаты отца и вообще из этого края. Случилось это, когда мне стало совсем уж невмоготу в только-только намечающейся моей жизни. Полное тоски ощущение, что меня сорвало, как ветер срывает вместе с птенцами подстрешное воробьиное гнездо, вымело, вынесло из отцовского дома. Я в нем лишний. Лишний не только в нем, но и там, куда ни посмотрю, куда ни ступлю. Я долго примерялся, где спрятаться, забросив школу, уйдя в просторы и дали шоссейных и железных дорог, разъездов, полустанков, деревень. Автюки, Уболоть, Горочичи. И вот, наконец, Домановичский гостинец, родные Анисовичи. Решительно вошел в дом бабушки и покойницы-матери. Бросил на лавку крашеную чернилами школьную торбочку:

— Все, баба. Буду у тебя жить. Будем жить вместе.

Бабушка как стояла посреди комнаты, так и осела на пол, на колени:

— Не прокормлю, Витечка. Не прокормлю. — Не выдох даже, а стон. Видимо, высказывала наболевшее, продуманное. И решенное. Судя по всему, примеряла до этого наше совместное житье-бытье. Видела, как мне достается.

Я окинул глазом ее комнату. В красном углу меж двух окон над столом — иконы святых, укрытые рушником. Хорошо им, тепло, чисто. Пол настелен до половины комнаты, обрывается у печи и за сундуком с бабушкиным смертным. Дальше голая земля — до полатей и за их темью.

— Я буду работать, зарабатывать, — заверил я бабушку, глядя в эту темь. Сказал по-хозяйски, веря себе. Но уже и сомневаясь, глядя на маленькие-маленькие, сухонькие руки бабушки, сжатые в кулаки, как две шляпки молодых еще боровичков, руденькие, без налетно земляной черни, что удивительно мне и сегодня. У большинства женщин, старух, которых я знал, руки были темные, в бороздках глубоких морщин, даже землистые, такой же земельный

след и под ногтями. Только ладони, как ласточкина грудка, светили. И я думал тогда, глядя на эти бабушкины маленькие, крепко сведенные в кулачки руки: не прокормит. Не прокормимся мы вдвоем с ней. Что она и подтвердила вновь, только более жестко:

— Не прокормлю.

Обиды не было. Удивительное на ту минуту понимание и согласие. И невысказанное: сердце в кулак или в два кулака, как у бабушки. На Азаричско-Домановичский гостинец и туда, откуда завозят в сельпо крупу, сахар, мыло и хлеб. В беспризорничество, в совсем чужие края, чужую жизнь, в которой пребываю и сегодня. Хотя не все было так однозначно и просто. Не прост был в те годы и я. Думал хотя и немного, но вперед. Не примет бабушка — подамся на Аляску. До зимы доберусь. С ледоставом через Берингов пролив переберусь на полуостров. Читал — Аляска отдана Америке только на девяносто лет. Срок аренды истекал. Вот-вот туда должны приспеть наши, Советы. Придут, а я: «Здрасьте вам! Я уже тут, вас жду».

Крепко, основательно думал в десять-двенадцать лет. Жалко, что с тех пор ослабел на голову. Успокоился, притих, отупел. Никакого полета мысли. Остановили, перекрыли кислород, заступили дорогу на Аляску. Но про это в другое время и в другом месте. А тогда через неприятие: не жить мне вместе с бабушкой вдвоем. Не быть мне бабушкиным внуком. Я отвергнут ею, ее домом, и вообще отвергнут материнским, отчим краем — обрел жилищем себе необъятность белого света.

Я поначалу неосознанно, механически подчинился неведомо почему, кем и зачем ниспосланному мне. А чуть погодя уже осмысленно пошел прочь, чтобы сегодня, возвратясь, повторить все то, что проделал ранее на этом погосте, на кладах чужой мне Устимьи. Снова бабушка по-крестьянски милосердно и безжалостно изгоняла меня, и не только меня, — свое второе или даже третье колено, своего праправнука... У чужой могилки мы повторили прежний ритуал по православному христианскому обычаю. Я вернулся в себя через повторение пройденного.

Это было если не мороком, то чем-то, как говорится, очевидным и невероятным, что начисто отвергается здравомыслием. Будничная и неподдельная мистика. Но в тот день эта мистика только начиналась. Мне еще было суждено, как по Дантову кругу, ходить и ходить по ней и сквозь нее. Только проводником и ведущим был совсем не Вергилий. Сам я, мой сын, наша совместная кровь и память. И автомобиль иностранного производства, скоростной, послушный и, похоже, с зачатками мозга, разума — с навигатором. Механическое изделие, хотя и педально подчиняющееся воле человека. Красивое, глазастое, но слепое, незрячее, с сердцем, но не человека, с неукрощенностью крови, некогда и горячей, но сегодня уже остывшей и преобразованной — из жизни в свое время живых существ, которые уже безвозвратно сотлели, подземно утекли черными нефтяными реками, но своей былой памяти не лишились, придав ей энергию движения.

Сидя рядом с сыном, я как бы издали наблюдаю за ним. И в этой отдаленности породненно прирастаю к нему. Он у меня сегодня до кончиков ногтей городской, хотя и было в нем деревенское, до института и женитьбы. Гонял в ночное лошадей. Свозил с поля в колхозные скирды жито в снопах. Вместе с деревенскими мальчишками таскал из нор в реке раков и налимов. Запекал в костре картошку, ночевал на рыбалке вместе со мной в шалаше, а то и просто на земле, подстилая под бок лозовые ветви. А вот грибы брал, особенно маслята, бумажной салфеткой. И мне его брезгливость нравилась. Таким он и

остался, несмотря на два или три года окончательного поселения в деревне. Именно поселения.

В начале нашего пути он равнодушен к попутным картинам. Для него это только пейзаж. Но вскоре примечаю, что он молча начинает ужиматься, вроде как уменьшаться на своем водительском сидении. Что-то все же цепляет его, хотя он и не отзывается на мой голос и разговор.

Без явных эмоций слушает меня, как только по-настоящему один человек слышит и слушает другого, разделяя его боль, но не размениваясь на общепринятое пустоватое сочувствие. Крепко держась за руль, пристально всматривается в окружающее, словно стремится припасть к нему, вобрать его и мои слова в себя. Навсегда принять и запомнить печаль сел, одичалых изб, вековой покой и тоску кладбищ. И наше мистическое путешествие почти на тот свет обретает смысл и необходимость белого дня и меня в нем.

А чудеса, мистика между тем продолжаются. От кладбища, где похоронена бабушка, мы намерены ехать к кладбищу матери, сестры и отца. Дорогу я знал хорошо, изучил. Она была прямой, без поворотов и съездов. Но то ли электронный балбес-навигатор, то ли я были в мороке, когда мы съехали с шоссе и повернули. Сегодня я уверен: на то была воля и приказание моей покойной бабушки. Хотя, может, и мама почувствовала приближение к ней сына и внука, и ей нестерпимо захотелось пройтись еще раз по тем стежкам-дорожкам, проселку и гостинцу, по которым она ходила еще девочкой. Этого, видимо, втайне хотела на том свете и бабушка. Еще раз окинуть глазом пройденное, милое и дорогое ей. Посмотреть, как стоит ее хата, как по стежкам ходят сегодня люди. Мы с сыном, ее правнуком, ходим.

Это было опять повторение — уже по воле покойников: мы ехали там, где были совсем недавно — по тому же гостинцу, большаку, по тем же проселкам. Мелькали те же отринутые Богом, человеком и погостами хаты, опустевшие обезлюдевшие деревни, над крышами и печными трубами которых ни аиста-бусла, ни ласточки. Даже комар не позванивал в жажде человеческой крови, потому что здесь ее и в помине не было. Скорбь, томление и печаль встречали нас. Скорбь, томление и печаль провожали.

И невольно пригадывалось, немо просилось, стенало и голосило: Каины, Иуды, Хамы, во что же вы превратили этот белый, белый свет?

С каждого креста и из-под креста, с каждого венка и цветка, обманно скорбно возложенного на помин, на вас смотрят, следят за вами глаза покойников. Никто из них никого и ничего не забудет. Мертвые не знают прощения. Они не из тех, не из прикорытников-палатников, усвоивших одно лишь «одобрямс». Они не из безъязыко онемелых— памяркоўных. Тут лежат вечники. Едино и навсегда уже правдивые и праведные. Охранители и обереги земного мира, судьи, адвокаты и прокуроры Каинам, Иудам и Хамам-оборотням. Внеземные исполнители приговора: вас не примет земля, которую вы испоганили, опаскудили, довели до забытья и беспамятства. Не примет, как не принимает до сегодняшнего дня Ленина. Ни в короткую оттепельную пору, как острили интеллектуалы: после рождества Хрущева, ни в советскую, а потом и посткоммунистическую пору, эпоху позднего реабилитанса, когда коммунист и поручик Дантес с Мартыновым остались на посту, а вернее, стоят на атасе у вороватых новых благодетелей-демократов.

И опять — повторение. Ехали мы, ехали и вдруг потеряли дорогу. Не свернули, не сбились. Потеряли. Что было в принципе невозможно. К кладбищу и могилам наша дорога всегда натоптанная и прямая. Она не зарастает, ее никогда не теряют, в смертный час не сходят, не блуждают. А мы заблуди-

лись и сошли. Кладбищенская дорога к моим родным могилам из всех краев, из всех чужих далей и сторон света была впечатана, проложена навигатором моей памяти. Память не подвела, боялась греха забвения. На всю жизнь впитала, усвоила: мертвых людей, а тем более кровных тебе, нет. Есть только забытые. А поворотная, полевая и через лес — проселочная дорога, никогда не подводившая меня, натоптанная мной и теми, кого по ней везли, неожиданно оборвалась, как преждевременно отмершая память. Так ее заколодило. Не сами ли покойники, вечные пахари и сеятели, поднялись с того света, перегородили, заступили нам путь, засеяли его травой забытья, небытия. Семенем, травой наших грехов.

Поворот на кладбище всегда был сразу же за последним домом некогда большой деревни Уболоть. За мелиоративной канавой под горбатым мостком. А сейчас ни дома, ни канавы, ни горба на ней, только не знаковый ли камень, валун, ледниковый еще, серо восседающий на нем старый ворон да такой же знаковый, но другого уже, кирпичного окраса фундамент от сошедшего с него дома, канувшего неведомо куда. Ни пешего, ни конного, ни коровьего следа. Трава, трава, чертополох и чернобыльник, пыльная полынь, чахлые, степно умирающие под палящим солнцем.

Мы бросились в одну сторону, другую. Бесполезно. Дороги к кладбищу не было. Мы повернули к убогому пристанищу живых, сиротливо разбежавшихся по простору древнего поселения, устоявших изб. Я долго примерялся, в которую из них обратиться, войти. Выбрал стойкую, с резным орнаментом оконниц, наличников, покрашенным в голубое и зеленое забором, с пристойно утвержденной на дубовых столбах калиткой с самокованной, языкастой защелкой, бетонированной до самого порога дорожкой. Стыдливо отважился и вошел во двор.

Вот тогда и началась потустороння, почти ветхозаветная мистика и мистерия, по сию пору вгоняющая меня в дрожь. Из дверей дома на бренчанье защелки вышла пожилая женщина, по-домашнему, огородно одетая, в растоптанных резиновых опорках, раскрыленной цветной кофте, неуклюже хламидной юбке, седоватая, вскудлаченная. Обычная деревенская старушка, уже не следящая за собой по старости и одиночеству. Простецкая, но с золотым зубом, единым во рту.

Такую старуху я уже встречал. Это было в Чернобыльской зоне. В таких же одежках женщина в безлюдной деревне на подворье своего дома варила варенье из радиоактивных яблок-паданок. Варила колдовски, как черт в аду в кипящей смоле варит грешников. Но сама она была не из нечистиков, приставленных к огню, — из мадонн, зонных чернобыльских и послечернобыльских, а в недалеком прошлом — партизанских, атомом и войной облученных, преждевременно увядших. Атомная, современная Мадонна. Ева.

Неподалеку от той мадонны Евы находился и Адам. С криво кургузым посохом, опорой и оружием стоял под румяноплодной яблоней, оборонял, охранял от бестолково бродящих гусей полосу спело налитого уже колосом жита. Полностью библейско-пейзанская картина, невообразимая даже для гениального художника. Не дано — духу и дыхания, воображения, жути и ужаса недостанет. А они об этом и не догадывались. Жили, двигались, стремились оставаться и быть.

Нынешнюю золотозубую мадонну звали Валей. Валентиной, как она представилась, когда мы стали знакомиться. Когда я назвался, Валентина всплеснула руками и бросилась обнимать меня:

— Витя, Витечка! Я же тебя семьдесят лет ждала, Витечка ты мой! Семьдесят лет я тебя выглядывала!

Кое-что о чудесах и коленцах времени я уже знал. И знание это занимало и обескураживало меня. С одной стороны, наше вечное несогласие с ним, кривда и упрек ему. Оправдание им: я ни в чем не винен, такое было время, лишь принудительно разжигал печи крематория, стрелял, убивал. Не угадал нелюдь в свое время родиться, потому и промаялся подколодным гадом. С другой, что-то здесь необъяснимое, обычному неподвластное, загадочное. Да, именно время объясняет человека. Лепит, составляет, пренебрегая и мгновением, и вечностью. Тасует, словно колоду игральных карт, прошлое и будущее, играет эпохами, веками, столетиями, как ветреная старуха с косой человеками. Над неким летчиком эта сенокосная старушка уже занесла свою косу, оскалила зубы. До смерти оставалось даже не четыре шага, а миг. И этот миг вдруг затягивается. Летчик успевает сделать то, на что в обыденности понадобились долгие-долгие минуты. И остается жив.

Известный, молодой еще Ван Рипли придремал минуту-другую на взгорке, а прохватился седобородым стариком. Мальчик из любопытства пошел в пещеру, где, как говорили, находился час-полтора. Его чуть не месяц разыскивали с собаками спасатели всей округи. А он самостоятельно вышел из той пещеры, где находился час-полтора. Привидением, призраком бороздит моря и океаны которое уже столетие чайный клипер «Летучий голландец». Мчится по туннелям поезд с вечными тенями застывших у окон пассажиров.

Неужели и я такая же тень из глубин прошлого века, если меня семьдесят лет кто-то здесь ожидал. Неужели и я попал в ловушку безумно игривого времени? Неужели оно принялось играть и со мной, как до этого играла смерть? Не в паре ли они, и их балы да гули и меня в лапти обули. Не тот ли щенок, так жадно желавший больше полувека тому печеной картошки в смертную для матери и сестры ночь. И совсем не мама погибла в ней, а я.

Я волчком закрутился на месте, осмотрел себя со всех сторон. Начал с ног. Нет, кажется, твердо и прочно стою на незнакомом, чужом подворье. И обут не в лапти — те же, что и утром, ботинки. Посмотрел в небо. Облако, зависшее в голубом прогале над яблонькой у забора, цедит сединой, стоит, где и стояло. И кошка, как раньше, посиживает на бетонном пороге, меланхолично покачивает укороченным обсеченным хозяевами хвостом, чтобы держалась дома. Успокаивает. И у Валентины как был один золотой зуб во рту, так и остается единственным. Желтенько острым лучиком пронзает мне глаза, словно испытывает, пробует меня на вкус.

Оставалось лишь ущипнуть себя за какое-нибудь место. Я же чувствовал еще в начале дороги, что день пошел не так. Но чтобы настолько не так… Не хочешь, а вынужден верить и оглядываться. Боже, за что, почему и зачем это мне? Морок, проклятие. Приговор и наказание за мои семьдесят с гаком грешно прожитые годы — так ведь было суждено смертью сестры и мамы. Промашку дали, одумались, иначе откуда этот сегодняшний пролом времени у почти уже мертвой деревни на глазах чернобыльской Мадонны, первородной Евы. И кто я сам?

В последнее время, уже обратно развернутое, как ни удивительно, в детство, мне все чаще приходят на ум старцы, нищие, которые, побираясь, шли по проселкам от деревни к деревне, от дома к дому. Седые старики, деды, иногда и слепые, с поводырями, сиротами-хлопчиками. Лапти, белого рядна портки и сорочки. На лицах покой, умиротворение и согласие — судьбоносная пропись их дорог и жизни. Через плечо перекрестом белые сумы с подаянием — горбушками, окрайцами, кусочками черного хлеба. На закате солнца сумы обычно набиты выпирающими ржаными краюхами милостыни.

Вот и я представлял себя сумой на плечах белоголовых старцев. И моя сума, судьба, жизнь была наполнена протянутым мне с порога сердобольными деревенскими хатами милостивым подаянием. А порой обманами, кривдами, когда я вместо куска хлеба получал камень, горькими слезами. Такую нищенскую суму-торбу носило на плечах едва ли не все мое поколение. А я и по сию пору несу свое нищенство в кужельно ущербной торбе — суме памяти. Укоряю только себя. Не нарекаю особо ни на время, ни на свою долю. Потому что иного не дано. Хотя иногда и тоскливо, горько и обидно, когда кажется, что и не жил, а если и жил, то грешно и неправедно. Бился как рыба об лед. Душа стенала и просилась в иные времена и в иную жизнь.

Вот и добилась. Я нос к носу встретился, столкнулся с этим иным, может, и не земного происхождения камнем, вложенным в мою распахнутую душу. Встретился и ужаснулся. Потому что некто и нечто иное — это я сам. Провал во времени, белое пятно и черная дыра, подобно карликовой, в которой бесследно исчезают планеты, созвездия и миры. Все свои семьдесят с гаком лет я блуждал в своих снах. Приспал, придумал себя. А меня настоящего, оказывается, все эти годы высматривали, ждали.

— Семьдесят лет я тебя ждала, — возбужденно и радостно повторила Валентина.

После затянувшейся моей оторопи, немого удивления она рассказала, что именно в доме ее матери была убита в последнюю для этой деревни военную ночь моя мама. Валентина, почти моя ровесница, года на три только старше, навсегда запомнила ту ночь, нашу семью и меня. А я не помнил ее. Вообще в ту ночь я не помнил и не видел людей. Были ли они тогда, был ли я? Я не верил себе, тому, что в ту ночь уцелел, выжил.

В растерянности и неприятии случившегося бежал из дома. Бежал по войне, заливался слезами, оскальзывался на ночной предвесенней уже мартовской наледи. Падал, поднимался и опять бежал по озаренной взрывами военных игрищ земле. И как ни странно, догадался, что по наледи легче не бежать, а скользить, катиться. И я покатился, сначала на ногах, а потом и кубарем, на боку. Покатился в безысходности и приговоренности, постепенно движением, биением сердца возрождаясь. Свист ошалелых пуль, часто трассирующих, разрывы снарядов, гребенчато ломаные вспышки пламени — война и смерть не трогали, не касались меня. Я сжился с ними. Был тварью, бредящей испеченной в каминке картошкой.

А смерть в покинутой мной хате продолжала трудиться. Сестричка сползла с мертвой матери на кроваво усеянный кирпичом пол. Как мне погодя уже месяцы или годы рассказывали, в хату заглянула женщина, спасавшаяся в огородной яме. Может, и родственница Валентины. Заглянула и молча выбежала. На детский неутешный плач из ночного мрака вышел чужой, немецкий солдат.

— Киндер, киндер! — закричал в спину женщине, видимо, приказывая вернуться и забрать ребенка.

Женщина махнула рукой и не остановилась. Немец вскинул винтовку и выстрелил ей вслед.

Сестричка зашлась от холода и плача под печью. Слезы примерзли к ее щекам. Об этом рассказал мне отец, которому в партизанском отряде дали двенадцать часов на похороны жены и дочери. Так их, замороженных и скрюченных, и опустили в могилу. А я нашелся и потерялся среди узников Азаричского концлагеря. Пошел туда сам, за людьми, которых гнали принудительно, стадом.

В моей памяти ничего этого нет. Ее будто живьем выпотрошили, как бескровно потрошат снулую уже рыбу. И только ли мама ли с сестрой погибли тогда. Не сам ли я помер в ту ночь и с того провального времени не моя ли тень бродит по земле. Тени мамы и сестры слились, воссоединились и неприкаянно побрели по миру, скрылись в никуда. Мир опустел, как и моя память.

Между есть и нет, бытием и небытием — лишь миг. Можно ли сказать, чье это мгновение схоронено под каменным или деревянным равнодушием креста? Три моих призрака, три земных привидения, мига отошли в вечный край. А время осталось без изменения, хотя уже давно нет тех, для кого оно обязано длиться или сокращаться.

В этом, похоже, большая путаница, в лучшем случае. Путаница, если не преднамеренное издевательство, пытка множества палачей, небесных, земных, подземных, надо мной и моей памятью. По всему, не только над ней. Я неопознанный, чужой собственной памяти, чужой кладбищам, а теперь и вот этой деревне, этому дому. Женщине, ждавшей меня, как она говорит, семьдесят лет. Так ждут, наверное, только смерть. Но и смерти, кажется, я тоже чужой. Смерти неизвестной мне женщины, утянувшей на тот свет вслед за мамой сестру. Обознались мои смерти. Я умел уже бегать и умирать по печеной в камельке картошине.

А не та ли женщина, которая отказалась взять и пригреть ребенка, мою грудную еще сестру, отвлекла мою смерть. Не за мной ли она приходила в облике солдата вермахта и хозяйки дома. И была та хозяйка, скорее всего, родственницей деревенской золотозубой мадонны Валентины. Ее матерью.

Одиночный выстрел в ночи милосердного немецкого солдата не только в мать Валентины, но и в ее семилетнюю тогда дочь, в ее судьбу и век, семьдесят лет изводивший, раздирающий душу зрелой, а сегодня уже и старой женщины. Я же явился как освобождение и прощение за страдания чужого ребенка. Ее слезинки, примерзшей к щеке под печью, куда она уползла в надежде спрятаться от упившейся кровью ночи.

Вот так все сошлось через семьдесят вполне мирных лет. Сошлось, сбежалось, сбилось в ком. Кровь, слеза. И время. Прошлое, настоящее и будущее. Как уже говорил, я был беспамятен тогда, впрочем, как и сегодня. Беспамятство пережить легко. А как справиться с прозрением, с памятью, выжигающей душу, сердце и ум. Это ведь не избудешь в тюрьму или сумасшедший дом. Не страшнее ли оно даже смерти. От него ни спрятаться, ни отбиться. Почему Валентина, всплеснув руками, облегченно и радостно воскликнула: «Витя, Витечка, я же тебя семьдесят лет ждала!» И повторяла, повторяла.

Но я был пуст, растерян и бессилен на ту минуту. Да и вообще у меня не было ни воли, ни права на отпущение и помилование. Потому что сам, хотя и неосознанно, но бесконечно виноват. Водам, векам и судьбам нет обратного течения. А прощение, помилование и осуждение, даже не земное, неподвластно и времени. Это наш вечный крест, на котором каждый распят до конца Божьего света: не судите, да не судимы будете.

Я был смят, раздавлен, выжат столпотворением времен. Хотя моя семидесятилетняя призрачная тень по капле снова стала наполняться, набрякать мною же и временем. Правда, неизвестно каким. Но закупоренное, бетонно затвердевшее, беспамятно сопротивлялось. Опять желало заведенной и уютной пустоты. Я, подобно трем японским обезьянам, не хотел ни видеть, ни слышать, ни говорить. К счастью, на выручку мне явился Евин Адам, которого звали здесь Федором. Был он как поднятый и высушенный белкой на сосновом сучке гриб-боровик. Работал при колхозе трактористом, пока за ненадобностью и старостью не свезли на свалку его трактор.

Федор и Валентина, тракторист — трактор, доярка — ферма. Имена, названия, вещи — лицо и обличье, воссоздающие Полесье семидесяти советских лет на стыке двух столетий, двадцатого и двадцать первого, одной мировой войны и бесконечных мирных битв и сражений, державных и личных, меж собой и со всем миром. Битв и сражений за право жить и дышать, чтобы на закате вот так, брезгливо желчно выплюнуть, как выблевать, заодно с их деревней Уболоть — почти умершей, но еще не преданной земле, — болотами, гатями и трясинами. Выплюнуть, потому что, как говорится на Полесье, к нам уже и сорочка боится прикоснуться.

Я подписал им свою недавно вышедшую книгу «Время собирать кости». Ева с Адамом проводили нас за околицу, показали дорогу к костям — путь к утерянному нами кладбищу.

И вот мы с сыном в окружении деревянных, кривых и трухлявых крестов, а больше — роскошных, каменных, гранитных и мраморных памятников у родного нам кладбища, подле могилки также под каменным, из мраморной крошки, надгробием. В свое время, когда бабушка увидела его, поставленное мной сразу же после возвращения из Западной Сибири в Беларусь, застонала:

— А зачем же ты, внучок мой, своей матери, моей доньке, да такой камень на грудь?

Очевидно, сегодняшний мир таким вопросом не задается. Долгие годы скромный белопятнистый памятник из камня и мраморной крошки был единственным на местном неогороженном лесном кладбище. Сейчас же их тьма, лес. Провинция перешибает столицу.

Каменеют кресты, каменеют кладбища, наверно, и покойники, и живые каменеют. Одно из неоспоримых свидетельств тому — древнее имя деревни Уболоть — и знака нет от былых болот. Стальная магистраль скоростной железной дороги. Изредка мелькающие пассажирские поезда со стылыми лицами людей в окнах, будто призраки, устремленные в неизвестность, совсем как в том, тоннельном поезде. Насыпь высокая, и пассажиры смотрят сверху на промельком выглянувшее из сосен кладбище. Ни подъезда, ни подхода, ни полустанковой будки. А раньше она здесь стояла, и толпились возле нее уболотские люди, молодежь, работающая в городе и убывающая в тот город в поисках работы. Будка, как столп, знаковый памятник, высилась над вековой окружающей ее топью.

Еще на памяти моего отца, в его детстве, здесь в ночи среди болота и трясины — дремучей дрогкой дрыгвы, водился и ревел болотный бугай, бык. Не наш ли полесский родственник, прародитель, может, дальний родственник и наследник, пращур лохнесского монстра, чуда-юда. Местный, здешний цмок, нашенский полубык-получеловек (что-то тутошнее, деревенско-колхозное, простите, видится и слышится мне в этом) Минотавр. Потому что наши вековые топи и болота очень уж благодатны для их рождения и укрывания. Словно специально ради этой цели созданы.

Не всепланетный ли это лабиринт, о котором сегодня так много говорят. Портал, дорога в потусторонний, параллельный мир и космос. Планетарная антенна и приемник связи со Вселенной. Не только питьевая бочка Европы, как в недалеком прошлом называли Полесье с его болотами, а что-то более значимое, живительное. Во-первых, вода — носитель женского начала, символ очищения и возрождения, не зря же родилось утверждение, что не женщина создана из ребра Адама, а сам Адам из женского ребра. Во-вторых, исходя из этого, не одно ли это из чистилищ человечества, наличие которых на Земле приближается к дюжине. По числу святых апостолов.

Все они, чистилища, в Americах, Мексиках да на севере России — и здесь нас обошли. О чистилищах в нашем крае — ни слуху ни духу, ничегошеньки ничего. Как говаривал в свое время Янка Брыль, даже полицейских в войну призывали из других краев и стран — ничего у нас нет своего. И нас самих нет. И именно этим мы в мире заметны: «своя своих не познаша», «уничижение паче гордости».

Так, по своему желанию и хотению, подобно Емеле, *памяркоўна,* по-белорусски, мы самоуничтожаемся в мире, вселенной и в своем родном доме. По-живому рвем пуповину, связывающую нас с нашими предками, космосом, будущим — с наследниками, своим родоводом.

Так мы уничтожили, подсекли, похоронно выветрили свою белорусскость, стряхнув с себя и дух родной земли. Стоит ли тогда горевать о непознанном, сокрытом, отсохшем, превращенном в прах. О выгоревшем до песка прахе гостинцев. О наших торфяниках, ушедших с ветром на луну, о нефти, которая была-была, да незнамо куда сплыла, пропала, о болотах и лесах. О древнем нашем минотавре и Цмоке-болотном бугае.

На свете нет ничего случайного. Капля дождя не упадет, не прольется просто так, ниоткуда и из ничего. И роса не ляжет попусту на пустошь. И слезинку из-за ничего не выплачут детские глаза. Ради чего-то, наверняка, были созданы наши болота, зыбуны, топи, торфяники. Оповещая и вещая о чем-то, подавал голос, распинался и драл глотку из бездны наших вод и столетий болотный полесский бык-бугай. Он, может, и ревел, предвидя свое и наше будущее, судьбу, как предвидят ее сегодня наши росстани, клады-погосты, деревни, крестьянские избы. Болотный бык предупреждал, сам чуть ли не при смерти, ревел так, что стекла в окнах по ночам дрожали. Но я его голоса уже не слышал. А я так надеялся, что подрасту, осмелею, пойду и встречусь, хотя бы одним глазком подивлюсь на невиданное никем полесское чудо-юдо, на нашего родного змея — дракона, Цмока, болотного бугая. Загляну ему в глаза, спрошу, не встречал ли он на том свете мою маму и сестру. Если же встречал, пусть проводит к ним меня. А это чудище болотное подвело, обмануло меня. Само сошло неведомо куда, не дождавшись нашей встречи. Отвергло меня, идолище поганое, как и многих, многих других, просящих благословения и милости у наших прадедов и отцов.

Но что говорить об идолах и идолищах, когда нас чураются наши покойники, а мы сами манкуртно зомбируемся, теряя пристойность и совесть, крестами откупаясь, камнем, мрамором и гранитом, от вековой своей памяти, списывая все на эпоху, век, время и строй. А время неизменно при своей памяти, верности пространству и поре года. Это мы крутимся, вертимся и топчемся на нем и в нем. Оно же едино во всех трех ипостасях: прошлом, настоящем и будущем. Едино для каждого человека, хотя почти каждым уже и оболгано. Но придет день, когда все эти измерения сойдутся, придут люди, как мы с сыном сегодня на кладбище, к родным могилам.

Я выправился в путь, казалось бы, в умершее уже прошлое, к своему началу — Азаричско-Домановичскому гостинцу и родным могилам. А приехал в поселковую культуру, дух и культуру сел и деревень.

Провинциальную, крестьянскую культуру, ее дух, и живо явленное будущее. И ничего тут не попишешь.

Вот такой мой Азаричско-Домановичский гостинец: Аз воздам.

Перевод с белорусского автора.



Микола ШАБОВИЧ

Я думал, что все забудется

* * *

Я думал, что все забудется,
Но все-таки не забылось.
Ты сон, что однажды сбудется,
Ты в душу мою вселилась.

Ты сказка любви чудесная,
Что в прошлом не пропадает.
Земная моя, небесная,
Неистово-молодая.

Своей чистотой безгрешною
Меня и сегодня греешь.
Мадонна с улыбкой нежною,
Я верю, что не стареешь,

Что жизнь у тебя прекрасная,
Что бед и обид не знаешь,
Как солнышко в небе ясное,
Для Мекки своей сияешь…

Пусть наши пути не встречные,
Но, может, сойдутся где-то...
Все так же, на веки вечные,
Желаю любви и света.

* * *

Дождь прошел, не оставив следа,
И не видно росы поутру.
И опять, как в былые года,
Спелый колос дрожит на ветру.

Снова птичий невидимый хор
Затихает до новой весны.

А на сердце печаль и укор,
Что кончаются летние сны.

Дождь прошел, не оставив следа.
Может, так же проходим и мы.
И холодная в небе звезда
Освещает нам путь до зимы.

* * *

До будущей встречи!
До сказочно-новой весны!
Напрасны все речи,
Мечты, и желанья, и сны.

Все неудержимо...
Попробуй, как птицу, поймай
И вьюжную зиму,
И в солнечной кипени май,

Ночей звездопады
И омуты дней золотых,
Что столько отрады
Дарили — дари же и ты

Отечеству — верность,
Родителям — ласку, любовь,
Друзьям — откровенность,
Надежность поступков и слов.

А детям и внукам,
Что нашу продолжат судьбу,
Оставь как науку
Все то, что несешь на горбу:

И плуг, и лопату,
Крестьянской работы секрет,
Отцовскую хату,
Что сыну глядела вослед.

И строчки для мамы,
Для всех, кто и солнечным днем,
И ночью туманной
Носил тебя в сердце своем.

Скажи им: «До встречи!
До сказочно-новой весны!» —
Уже недалече
Другие желанья и сны.

* * *

Помнишь давнее лето,
Пенье птиц по утрам?
Ты являлась к поэту,
Как на исповедь в храм.
Пожалеть об утрате,
Поделиться мечтой...
Ты — в лазоревом платье,
И поэт — молодой.

Как манили-сияли
Дальних далей огни!
Вы на дружбу сдавали
Свой экзамен в те дни.
...Только радость былую
Затуманила мгла.
И любовь молодую
Ты сберечь не смогла.

За свиданьем свиданье
Ускользали от вас.
Дождепад. Расставанье.
Свет неласковых глаз.
Миражи и соблазны
Растворились в ночи.
И для этого разных
Много было причин.

Не воротится лето.
Вдаль умчались года.
Только песней неспетой
Для меня навсегда
За осенним заклятьем,
Темных дней чередой
Ты — в лазоревом платье,
И поэт — молодой.

* * *

Родной земле я написал стихи,
Чтобы она за мной их повторила,
Чтоб в бурю — укрывали от стихий,
В жару — прохладой освежали силы?..
Родной земле я написал стихи?

Всегда ль ее заботами я жил?
Стал в нарочанской песне хоть строкою?

Ну что с того, что в Минске я тужил
И память не давала мне покоя?..
Родной земли заботами я жил?
Что сделал я для родины своей?..

Чужой как будто я в отцовском крае,
И от зеленой пряди тополей
Душа болит и сердце замирает…
Что сделал я для родины своей?

Идет Христос

Идет Христос по вешним селам,
По перелескам, меж берез.
С небес спустившийся на долы,
Идет Христос.

Воскрес, чтоб за земной чертою
Наш путь во мраке не исчез.
Настанет царство золотое...
Христос воскрес.

По нашему проходит краю,
Где было радости в обрез.
Идет и тихо повторяет:
— И ты воскрес!

* * *

Снова душу мне заосенило...

Михась БАШЛАКОВ

Дожди, дожди холодные с утра.
Весною — заосенило уныло.
Скрывает грусть зеленая чадра —
Березки у околиц мокнут стыло.

Им, как и людям, хочется тепла,
Чтоб солнце нежно золотило косы.
Черемуха так смело расцвела!
А через месяц — и трава в прокосах.

Ну, а пока дожди нам застят свет
И в небе тучи темные толпятся,
Из-под чадры глядят березки вслед...
Дай бог скорее лета им дождаться!

* * *

Сдается, море непочатых дел
Плоты надежд не раз подымет круто,
Но кто-то скажет: отбурлил твой день,
И лиру спрятать подошла минута.

Мол, искушений минули года,
Банальных рифм хватает во Вселенной.
Чего уж он ни наплетет тогда,
Моей судьбы редактор неизменный.

И ты ему напрасно не перечь —
Уж он найдет причину для укора,
Свой правописный, как дамоклов, меч
Вверх подымая с видом прокурора.

За всю мою и даль, и вышину,
За Светлоград, тире и многоточья,
В словарную ныряя глубину,
Все скрытое покажет он воочью.

Слова и строчки изотрет до дыр —
Ну, хоть ты плачь, не сдастся он, проныра,
Редактор мой, мой строгий поводырь...
Прости ему, расстроенная лира.

Прости и мне — разжалобился тут,
Как будто вправду утомился рано.
Рекою жизни все еще плывут
Плоты надежд навстречу океану...

Перевод с белорусского Татьяны ЛЕЙКО.





Федор КОНЕВ

Щедрый дар

Размышления у компьютера

Старик у костра

В Доме отдыха мы сидели в одной из комнат шумной компанией, молодые, дерзкие в мыслях, под вино неудержимо говорливые. Кроме основного корпуса стояли еще среди сосен домики, тоже заселенные отдыхающими, и я выскочил на улицу, чтобы позвать за стол кого-то из знакомых. Уже не помню — кого, да забыл имена и тех, с кем пировал в тот вечер.

Время было позднее, ни луны, ни звезд, оттого казалось, что в лесу смолой застыла тьма, а посреди специально устроенной площадки горел костер. Вокруг стояли скамьи для любителей повечерять, глядя на огонь. Теперь же они пустовали, и только одинокий старик сидел прямо на земле, подобрав под себя ноги, как сиживали далекие предки.

Это был седой, с профессорской бородкой клинышком человек, которому явно перевалило за восемьдесят. Мне показалось, что ему грустно и одиноко, и что мысли у него печальные, потому что жизнь истекает. И я из стеснительной жалости предложил присоединиться к нашей веселой компании, чтобы не скучать. Он улыбнулся и сказал:

— Разве бывает скучно с самим собой?

Теперь я сам в его годах. Погожими вечерами на даче иной раз костер запалю и сижу на обрубке бревна, глядя на огонь, который за эти годы нисколько не состарился, все так же молод и беспечен, отчего при нем тревожно и легко чувствует себя душа. Как в природе, так и в человеческой жизни есть утро, день и вечер. А дальше — тьма. Была пора молодости с ее мечтами и желаниями, была зрелость, напряженная страда с ее заботами, трудами, обустройством и обретением, да наступил тихий вечер.

Горит костер, искрит, потрескивает, хворосту вроде пока хватает. Из памяти, как из синих глубин, всплывает просветленное лицо пожилого человека, который улыбчиво смотрит на меня, еще так мало пожившего, и жалеет, что я еще не понимаю того главного богатства, от которого только и можно быть счастливым.

В пенном потоке

Когда-то в молодые годы я стоял на перекрестке, как всякий человек в начале жизни. Правда, не было камня с указующими надписями — куда пойдешь, что найдешь. Надписей не было, но дороги были, и не три, а куда больше. Вот и выбрал себе одну да побежал по ней резвой рысцой, а теперь оглянулся и подумал задним умом, туда ли свернул. Тем ли занимался, то ли

искал, того ли ради старался? Выпала на долю далеко не спокойная жизнь, временами несла она душу, как в пенном потоке горной реки, все больше норовя о камни задеть. Может быть, выбери на перекрестке другую стезю, не мучили бы теперь сомнения, от которых проку никакого.

Ну, и кого спрашиваю — туда или не туда свернул? Кто ответит? Судьба разве только. Не она ли вила прожитую жизнь то из шелковых ниток, то из крапивы? Это все ее затеи. Вот бы кого в гости зазвать, усадить за стол в кухне да поговорить начистоту. Так ведь не придет, ей не позвонишь, не напишешь, до нее не докричишься. А жаль… Жаль, что природа не дала человеку возможности на закате потолковать со своей судьбой, высказать, что накипело, да послушать ее доводы, отчего так поступала.

Щедрый дар

Городские люди вообще не понимают, сколь они избалованы цивилизацией. Повернул кран — вода, нажал пальцем — свет, а ради тепла не надо и мизинцем шевельнуть, само приходит с холодами в радиаторы. А какое счастье иметь ванну! Лежи в душистой пенной воде и блаженствуй.

А я помню, как мать стирала белье. Избушка была далеко от реки. Воды натаскать и то какой труд, особенно зимой. Мы, дети, — слабая подмога. Мать одна носила на коромысле полные ведра, заполняла деревянную бочку, стянутую двумя ободьями, потом на железной печурке грела воду в ведре и принималась стирать. Стиральная доска за годы посередине прохудилась, цинк не выдержал, а женские руки все терли и терли в пене хозяйственного мыла нашу изношенную одежонку, опасаясь порвать.

Даже корыто помню, в котором мать стирала. Ну, его-то я еще оттого помню, что своим незрелым мальчишеским умом прикидывал, как можно было бы наладить парус и поплыть по реке в этой долбленке. Меня выдержала бы посудина, пожалуй. Но где было взять парус?

Помню важный с виду утюг, который остался от деда, еще дореволюционный, с дырками понизу. Он «заправлялся» горячими угольками, а чтобы не остывал, надо было им размахивать, как маятником. Угольки разгорались, утюг нагревался.

Жизнь давалась трудно, требовала много усилий, порой приходилось надрывать силы, все доставалось нелегко. Но вспоминая те послевоенные времена, все задаюсь вопросом — отчего была она не в тягость, наша тогдашняя жизнь? Отчего нынче многие ее ругают, а то и клянут?

Может быть, оттого так происходит, что тогда человек жил с тем, что у него было, кусок хлеба уважал, а теперь всего мало ему, приобретает, достает, копит, и все-то готовится жить, а глянь — годков-то и не осталось на довольство. И жалко тех людей — честное слово! — что одержимы потребительскими страстями. Ведь травят себя завистью к более удачливым соседям и в стяжательстве не находят времени радоваться жизни, которую из безмерной щедрости подарила им природа.

Лучший наряд

Все мы не вечные, это уж так, и ничего тут не изменишь. Если бы спросили, в чем хотел бы, чтоб меня уложили в гроб, то без раздумий ответил бы — в привычной домашней одежде. Пусть поношенная, пусть

будничная, так ведь тело сдружилось с ней. Зачем разлучать? Зачем наряжать, как жениха?

А вот бабки той далекой поры, когда я был молод, осудили бы меня. Уж они-то держались другого мнения. У них на дне сундука — у каждой! — бережно хранилась одежда, которая досталась от своих бабушек. Уже они были старыми, а бабки их, выходит, при царе жили, да еще и не только при последнем, а и при Александре Третьем, пожалуй.

И вот теперь гадаю, почему старушки лучшие свои наряды при жизни не надевали, а берегли для того, чтобы в них положили в гроб. По матери сужу, как много для тогдашних женщин значило, в чем они предстанут перед Богом. Уж эта мысль точно у них была, не сомневались, что предстанут.

Но и другое приходит в голову. Ведь почти все, которых я помню, были солдатками, потерявшими мужей на войне и принявшими вдовство своей долей. А не таилась ли надежда в душах этих святых для меня женщин, что на том свете увидят они своих мужей молодыми, крепкими, не побитыми войной? Тогда же и сами превратятся в молодок — в раю-то старости нет! — а лучшие, не ношенные наряды и окажутся кстати.

И пойдут они друг к другу навстречу, молодые да нарядные…

Горе от ума

Уже в зрелые годы дружил я с одним художником. Был он человеком талантливым и глубоко верующим. Как-то завели мы с ним разговор о том, что слишком много среди людей несогласия, злобы, вражды, мелочности и нетерпимости. Оглянешься назад — одни войны. Кажется, вся история только о том, кто у кого больше пролил человечьей кровушки. Что же получается? Бог хотел сотворить свое подобие, а получился насильник, убийца, стяжатель, эгоист и… несть числа порокам.

— Выходит, — невесело спрашиваю, — Бог потерпел творческую неудачу?

Евгений, так звали художника, спокойно разъяснил свое понимание, и оно заключалось в том, что Бог еще не завершил свой главный труд. Все мирозданье было легче воздвигнуть, чем сотворить человека, соткать из тончайших нитей душу и благоразумием наполнить мозг. Еще рано, еще очень рано говорить о совершенстве, однако придет время, когда человек скажет: «Я возник!»

Правда, Евгений не дожил до нынешних дней, ему легче было верить, что человек образумится.

Мне кажется, что все обстоит иначе. Создатель слишком много дал человеку, отчего смертный излишне о себе возомнил и захотел жить своим умом. Так дети в подростковом возрасте уверены, что все понимают, умнее родителей стали. Ан нет, самостоятельно не проживут. Вот и люди дров наломать способны, а обустроить и наладить жизнь на земле никак не могут, потому что забывают, кто их умом наделил.

И то печально, что за долгую жизнь я что-то не замечал, чтобы человек становился лучше. А ведь рос среди людей, суть которых была здоровая, чистая, настоящая. Мужики были мужиками, а бабы бабами, и никак было не спутать их.

Разгадчицы

Сны видят все смертные, и всех они тревожат, пугают, портят настроение. Особенно суеверных, коих не счесть. И не могут сны не занимать людей. Вот и пишут, пишут, пишут о них, толкуют, объясняют, кто как может. И ведь что интересно, иной сон от воспоминания не отличить. Вот лежу на дне лодки и смотрю на белые облака, которые ватными комьями покоятся на небе. Река, покачивая, несет меня куда-то… Ведь точно чувствую, что было так, а умом понимаю, что быть не могло. Чего это разлегся бы, а лодка плыла? Так ведь потом против течения греби, как раб галерный. Чего ради?

Так было это или нет? Узнать бы, да спросить некого, потому что нет тех разгадчиц, что жили в прежние времена. А тогда женщины были прозорливыми, разбирались в снах, как астрономы в звездах. К примеру, кому-то приснилось сырое мясо. Тут же в один голос скажут — к болезни. Или привиделась большая вода. Ясное дело — к достатку. Ну, это мелочи, однако ведь самые запутанные сны раскладывали, как пасьянс. Сны предупреждают — это главное. Чтобы избежать беды, надо обязательно остерегаться, не делать того, что нельзя ни в коем случае, а только то, что позволительно. Однако случаются особые сны, когда как раз можно допустить то, чего нельзя «ни в коем случае», и избегать следует того, что кажется позволительным. Не поперхнешься, не споткнешься, не заболеешь, не угодишь в лужу, если следовать этим безупречным рекомендациям. Тут и сомневаться нечего.

Но — главное! — у провидиц всегда было при себе оправдание, если сон не сбывался. Говорили — умрет, а человек выздоровел. Значит, сон не был вещим, а пустяшным оказался. И, естественно, отгадчицы тут ни при чем.

Ведь ошибались на каждом шагу, но им все равно верили. А почему? А потому, что авторитет умели сохранять.

Чайка

Сижу в лодке и гребу веслом, непомерно тяжелым для меня, подростка. Движения однообразны, монотонны, минуты идут мучительно медленно, берег движется еле-еле, а до покоса еще плыть да плыть.

Женщины в лодке говорят без умолку, как сороки стрекочут, коротая время, разговор их кажется никчемным, скучным, и вслушиваться в слова нет никакой охоты у мальчишки, у меня, то есть.

Над рекой летают чайки, лениво шевеля крыльями, иногда стремительно падая в воду и снова взлетая, но уже с рыбой в клюве. И почему-то — казалось — всегда летала над ним одна и та же чайка и парила, не обгоняя лодку, поводя черной головкой, словно приглядываясь к нему и чего-то ожидая.

«И я полечу, — говорил ей мысленно мальчишка. — Вот только подрасту малость. Летать-то хорошо? Я в летный поступлю. Мне доверят новый самолет, и я облечу землю».

В мыслях оживали моря и острова, континенты и реки, долины и горы. Ходили волны, плыли корабли, бежали стада бизонов, неслись поезда, огромные города дымили заводскими трубами. И над всем этим летел самый отважный в мире летчик.

И мне казалось, что чайка верит моим обещаниям, улавливая каким-то непонятным образом мои мечты, и показывает, как славно, как хорошо летать, взмывая круто, пикируя и снова повисая над моей головой.

Землю я не облетел, не вышло. И мало что случилось из того, о чем мечталось в детстве. Почитай, ничего. Но греет усталую ныне душу уверенность в том, что был у меня друг — чайка. Она из множества людей выбрала меня и подолгу сопровождала, чтоб было мне кому доверять потаенные чаяния под мерные взмахи весла.

— И я полечу…

Неунывный Василий

Дом стоял на краю деревни среди низкорослых елок. Это место, к тому же, поблизости от старого кладбища, казалось мне загадочным, а старый, чуть ли не по окна осевший дом выглядел всегда мрачным. Днем из него выходила и возилась во дворе сутулая, худая старуха с лицом, будто сплетенным из одних морщин. Мне думалось, что если это не Баба Яга, то уж непременно ее родная сестра. А ее муж, низкорослый, седой, улыбчивый, походил на безобидного домовика. Он был участником Первой мировой войны и каким-то чудом выжил во время устроенной немцами газовой атаки. Но испытание, видать, прошло не бесследно, сказалось на сыне.

А сына его помню парнем лет двадцати пяти. Густой чуб, фуражка набекрень, красивое смуглое лицо, крепкие плечи, сильный торс, а ног нет. Таким он родился. Удивляло, как ловко передвигался он на плоской тележке с четырьмя подшипниками, отталкиваясь деревянными плашками, зажав в кулаках специально приспособленные ручки. В моей памяти остался он Василием, но не очень уверен, что звали так, а не как-то иначе. Хотя весь его облик очень хорошо помню.

Вот он катит по дощатому тротуару, а мы с тетей Наташей переходим улицу. Тротуар в этом месте выше проезжей части, и когда Василий тормозит, увидев нас, то оказывается лицом на уровне лица тети Наташи, а я смотрю на него снизу, по причине своего мальчишеского роста. И мне нравится Василий, молодцеватый, со светлой улыбкой на лице, белозубый. И все кажется, что он просто присел передохнуть, но вот поднимется на крепкие ноги и будет удалец удальцом. Я этого очень хотел, потому что Василий располагал к себе своей добротой. Хорошему человеку не должно быть плохо, думалось мне тогда.

— Какая ж ты красивая, Наталья, — говорит Василий. — Был бы здоров, только на тебе и женился бы.

Они смеются. Молодые же! День погожий, тепло, солнечно.

И не могу я теперь ручаться за каждое слово, но смысл сохранил в памяти. Василий говорит дальше:

— Но не повезло мне, видишь. Родиться-то родился, а доли на земле не оказалось для меня.

Потом я много думал над этими его словами и все больше склонялся к тому, что он, похоже, прав. Сколько их, несчастных, обиженных жизнью, лишенных хоть малого счастья, терпящих одни беды, а то и убогих от рождения. Число-то ведь страшное! Выходит, родились, а доли им не оказалось на земле, оттого блага им не положены, лимит не выделен, вот и живут в тяготах. Зачем такая несправедливость? Ради какой высокой цели?

Но вспомнится улыбчивое лицо Василия, его добрый, будто согретый солнцем взгляд, и дух захватывает от изумления — какой ж светлой, какой прекрасной душой был одарен этот обездоленный человек!

Во время службы в армии получил известие, что Василий умер. Сорока не было…

Загашник

Ездил на рыбалку в прежние времена, останавливался в деревне у давнего друга. Конечно, соседей знал по именам, и они меня не спутали бы ни с кем. Вот сижу я на скамейке у крыльца. Подходит Николай, лет пятидесяти мужик. Вид у него такой, словно помирать собрался, со всеми уже попрощался, один я остался. Садиться не стал, стоял понуро, потом вконец слабым затухающим голосом спросил:

— Миноискателя нет?

— Да как-то не запасся, — отвечаю.

— Совсем худо дело.

И уже, видать, так ослабли ноги, что опустился на скамейку рядом и тяжко вздохнул.

— Может, стопарик? — спрашиваю.

— Не помешало бы.

И уже за кухонным столом после второй рюмки рассказал о своей беде. Его жена Марья, чистоплотная хозяйка, не раз на неделе в хате все углы подметет-помоет, так что тайник для загашника оборудовать не было никакой возможности. И Николай прятал трешки, — за три рубля можно было тогда купить две бутылки “чернил”, — на дворе в поленнице, выбирая чурки с расщепом. Забрать их случайно никто не мог, это он тоже учитывал и выбирал нижние ряды. Причем твердо помнил, где какое полено лежит.

— В шахматном порядке, — пояснил он и поднял для убедительности указательный палец.

— И много тех трешек? — спросил я. — Есть из-за чего страдать?

— В том-то и дело! — ответил со страстью. — Я ж месяц в больнице провалялся. Не тратил…

Больница и была причиной его беды. По какой-то причине, скорее всего, от прежних дров освободилось место, поленницу Марья с детьми перетаскала в сарай, тем полностью нарушив «шахматный порядок».

— Миноискатель поможет, думаешь?

— А вдруг пискнет.

— Что пискнет?

— Полено с трешкой. Деньги… они же… с начинкой… ну, чтобы не подделать.

Миноискателя у меня не было, помочь не мог. Так он сам нашел выход. Прежде и охапку дров не заносил в дом, а тут никого к поленнице не подпускал. Все чурки пропустил через свои руки, как на таможне. Сам охапками заносил дрова. И каждый день был в хорошем настроении. Это от находок.

— Что это с моим? — недоумевала Дарья.

Но особенно тревожиться не стала. Если мужик без просьбы заносит дрова в дом и со своей бабой ласков, что тут выяснять?

Бодряк

Недавно как-то смотрел по телевизору передачу. Запомнился старик, который крутил педали тренажерного велосипеда и бодро говорил, что чувствует себя молодым, что ему перевалило за семьдесят, а душа в нем — двадцатилетнего юноши. Сомнительно что-то, подумалось мне, наверно, переборщил. В старых-то мехах да молодое вино…

Вообще-то, не люблю бодрящихся старичков, нет у меня к ним доверия. Вызывают они у меня некую жалость к себе, как натужное притворство бесталанного актера. Тот телевизионный бодрячок на самом деле боится старости и всячески старается уверить себя в том, что уж его-то она не коснется, он от нее укатит на тренажерном велосипеде. Полноте! Себя не обманешь. Что уготовано человеческой природой, того не избежать. И я не хочу, чтобы душа молодилась, как старуха в румянах, пусть она будет погодкой, тогда и легче нам будет понимать друг друга.

Хотел бы я увидеть того телевизионного старичка наедине с самим собой. Перед костром…

Как «зайчик» победил волка

Уже ведь имени его не помню, так давно это было, а увиделся он в мыслях, будто только что шел мимо, да заметил меня на крыльце дачи, подошел и присел. Небольшого роста, поджарый, с морщинистым лицом, на котором узкие цепкие глаза казались намного моложе своего хозяина. А было ему уже тогда за шестьдесят годков. Назову его Иваном, не обидится на том свете, да, похоже, так и звали его. Он и рассказал эту историю.

Однажды развел костерок в лесу, чтобы вскипятить воду, хотел чаю попить. Отошел в сторону за хворостом, ни ружья в руке, ни ножа на поясе. И тут волчица выступает из-за куста. Видать, рядом находилось логово с выводком. Страшнее зверя нет, чем самка, когда возникает угроза ее детенышам.

Иван смекнул, что дела его плохи. Волчица смотрела на него, оскалив зубы, и в глазах не было ничего, кроме злобы. Иван тоже в упор уставился в эти безжалостные глаза. Почему-то понимал, отведет взгляд — и конец ему. Волчице достаточно было одного прыжка, чтобы вцепиться в горло. Иван даже представил, как сомкнутся волчьи клыки на его шее. Эти минуты подробно запомнились. Он осторожно полез в карман брезентовой куртки, чтобы достать спички, огня зверь боится. А спичек не оказалось. Он вспомнил, как бросил коробку на лежавший на земле рюкзак. Но рука нащупала что-то круглое. Он не знал, что это могло быть, и осторожно вынул, продолжая неотрывно смотреть в злобные глаза волчицы. Оказалось зеркальце. Иван зажал его в пальцах за круглые края. А день был солнечный. Стараясь не делать резкого движения, Иван поймал луч и направил солнечного зайчика в глаза зверю. Волчица жалобно взвыла и кинулась прочь, мотая головой и натыкаясь на деревья, словно ослепла. Тут уж Иван бросился к костру, а там — ружье.

Но как зеркальце попало в карман? Не было у Ивана привычки себя разглядывать. Бриться нужды также не возникало. Росла жиденькая бородка сама по себе. Оказывается, внуки — их у него было трое — играли дома, упрятывали зеркальце и потом искали, кто найдет, тот и победил. Мальчик сунул его в широкий карман дедовой куртки, что висела у дверей, а потом дети отвлеклись другим занятием и забыли о зеркальце.

Тогда я не очень-то поверил рассказанному, охотники приврать умеют не хуже рыбаков, даже ловчей получается, а Иван был и рыбак, и охотник, так что его фантазий на двоих хватило бы. А на днях в интернете наткнулся на советы, как отбиться от злой бродячей собаки. Один из методов самозащиты — направить луч фонарика мобильника в глаза псине. Это испугает животное. Выходит, Иван нисколько не привирал, поведав о том, как солнечный зайчик отогнал волка.

Но ведь то удивительно, как извилисто складываются жизненные случаи, в какие кружева переплетаются. Вот тикают часы, а в эту минуту кто-то зеркальце подложил, кто-то калитку открыл, кто-то соломку подстелил… И так вечно.

Добро рождается и зреет тихо, как трава.

Изумление

Есть у меня знакомый, из соседей. Как выйдешь на прогулку, он уже тут как тут. Такое ощущение, что домой не заходит с утра до вечера. Дома всем надоел, вот он и бродит по улице в надежде найти слушателя. Не всегда удается мне увернуться, и стою, слушаю, чувствуя, как вянут уши.

А он довольно бодрым голосом говорит и говорит, да все о том же. Раньше, как он был молод, все хорошо было, теперь все плохо. В автобусе все пихаются, цены растут, пенсия маленькая, сосед попался такой сволочной, что жизни от него нет, по вечерам арии поет. Бывший оперный певец. Как вечер, так поет. По инстинкту, видать. Климат, опять же, портится. И главное — летит какой-то, говорят, астероид или комета — черт в них разберется! — прямиком на Землю, а власти ничего не делают. За что им зарплату платят? И не знаю ли я случайно, сколько получает в месяц мэр города?

Поныл, поплакал, пожалился и ушел щи хлебать. А я чувствую себя счастливым оттого, что сосед на этот раз не стал рассказывать о своих болезнях. А их у него столько, что не умещаются в медицинском справочнике. Откуда же этот, думаю, эгоизм — говорить кому-то о том, как тебе плохо, когда собеседнику, может быть, в тысячу раз хуже?

И вдруг понимаю, что ворчу-то зря. Он не жалуется, он изумляется тому, каким был, каким стал, как мир вокруг изменился… Разве не философ?

Попутчик

Разговорился как-то с парнем лет двадцати пяти. Уже не мальчик, успел жениться и развестись.

— Лишняя обуза.

Это он о том, что семьей обзаводиться ни к чему, не те времена. А были девяностые годы, в стране стали появляться частные предприниматели, парень третий раз прогорал, но затевал новое дело, и налегке, без семейных пут, было ему сподручней.

Ехали мы в междугородном автобусе, сидели на заднем сиденье, уютно утонув в креслах. Конечно, разговор кружился вокруг тогдашней жизни, какой она стала сложной, непонятной, крутой — уже появилось такое понятие, — да о том, что человеку стало важно и нужно. В общем-то — о ценностях.

— А что для тебя Родина? — спросил я и почувствовал под его презрительным взглядом, что краснею, словно задал неприличный вопрос.

— За Родину не умру, — ответил он холодно. — За народ тоже.

— Зачем сразу умирать?

— Вы же готовы…

— Мой отец погиб на войне. Был бы чуть старше и я...

— За какую родину? За Советский Союз? Где он, нерушимый?

— Но есть же у тебя какие-то ценности...

— Кроме денег — никаких, — сухо отрубил он.

И у меня к этому парню интерес угас. Не от ханжества, думаю. Просто не хотелось говорить о деньгах, да и не представлял, что о них можно говорить. Парню сказал, что хочу подремать. Устроился удобней и закрыл глаза. Так молча мы ехали долго. Может, больше часа. И оказалось, что парень все это время не забывал нашего разговора. Я шевельнулся, он подумал, видимо, что проснулся, и спросил:

— А для вас что?

— Не понял.

— Вы говорили о ценностях. Родина, что ли?

— Жизнь, — ответил я не задумываясь, потому что не в тот час пришел к этому убеждению.

Но не стал пояснять, что нет ничего дороже жизни на своей земле среди близких тебе людей. Именно за это здоровый умом и душой человек готов стоять насмерть, потому что иное существование его не устраивает. Где-то я читал о кошке, которую отвезли за десять или более того километров и поселили к новым хозяевам, а она, еле живая, прибрела назад. Так то кошка! А человек?

— Дерьмо, — ответил парень тоже уверенно. — Без денег жизнь — дерьмо.

Мало ли приходилось встречаться с людьми, рядом с которыми не хотелось оставаться! Да не счесть. И этого забыл бы, а вот помню. И потому так случилось, что он оказался первым, а за ним все чаще и чаще стали встречаться схожие типы, неизвестно из каких корней возникшие в девяностые годы. Глянь, а их легион! И как-то очень уж ловко корыстолюбие они возвели в главное человеческое достоинство и назвали себя прагматичными людьми.

Удивляет, как быстро они появились. Ведь их не подбросили десантом, они все вышли из советских школ, были октябрятами, пионерами, комсомольцами… Словно вмиг вывернулись наизнанку дети и внуки победителей фашизма и взялись за дело, за разорение своего Отечества, да не просто с охотой, а с невиданным усердием. Саранча сожрет свою родину и не поперхнется.

Однако нашлись все-таки силы, приостановили набег…

Но меня сейчас занимает другое, я догадываюсь — откуда они, эти особи? Все в человеке, все в нас самих? И святой, и разбойник. И мрак, и свет. Все пороки мира и все благородство, все высокие чувства и вся мелочность умещаются во мне? Ужаснуться можно… А ведь, похоже, так оно и есть.

Вот приедет барин

Когда-то мне приходилось ходить по одному короткому проулку, увязая в грязи после обильных дождей, до детсада, в который водил сына. Давно это было — сыну перевалило за сорок…

Стояло несколько частных домов с одной стороны проулка и с другой столько же. В дождливую пору глинистая земля раскисала, и одолеть проулок стоило героических усилий. Где-то кто-то дощечку бросил, кто-то — кирпич. И только хозяин одного двора выложил тротуар на ширину своего участка метровыми квадратами. То ли он залил цементным раствором сваренные из уголка рамы, то ли где-то приобрел, а то и своровал эти плиты, но тротуар получился классный.

Как-то однажды иду, а он подметает березовым голиком свой тротуар двадцати метров в длину. Должно быть, давно заметил мое тяжкое шествие по грязи и к моему подходу выпрямился во весь свой высокий рост. Это был старик лет семидесяти, сухощавый, поджарый, с костлявым продолговатым лицом иконного аскетизма. При всей строгости облика оказался человеком разговорчивым.

— Другие не могут? — показал я на соседние дворы, уже стоя на плите.

— Другие ждут, — спокойно ответил он. — Надеются, должно быть, на меня. Раз начал, мости до конца, дядя.

И так, мол, во всем, чего ни коснись.

— Но я подожду, — сказал он. — Может, у кого совесть проснется.

И вот прошли многие годы. Уже не в детсад за сыном, а в почтовое отделение за пенсией хожу я по тому же проулку, короче дорога получается. А как-то однажды привелось брести после обильных дождей, и вспомнился старик. Плиты его до сих пор лежат, а в остальном за это время ничего не изменилось в проулке. Вырос только один громоздкий коттедж среди бревенчатых постаревших домов. Хоромы стоят в самом конце проулка, и хозяин залил асфальтом метров десять дороги, чтобы сухо было заезжать в гараж.

Остальные ждут — «вот приедет барин...».

И это тоже мы…

Береза

Порой кажется, что жизнь полна горечи, обид и разочарований. А отчего? Да оттого, что та или иная мечта не осуществилась, что те или иные планы рухнули, что вправо подался — случилась неудача, влево метнулся, тоже не повезло, прямо пошел, вообще ничего не нашел. А так не хочется, чтобы изъедала зависть, угнетали неудачи, омрачали разочарования…

И как же быть, если постоянно не везет?

Шел я как-то опушкой леса по дороге, по которой ходил прежде сотни раз. Стоит там чуть поодаль от грунтовки и отдельно от своих сестриц высокая береза. Я настолько к ней привык, что проходил мимо, не глянув. Краешком глаз отмечу, что на месте она, и дальше топаю по исхоженной тропе. А тут, как раз занятый мыслями о том, что не получается у меня жизнь так, как мне хотелось бы, проходил мимо той березы, моей старой знакомой.

И уже удалился от нее, да вдруг остановился, посмотрел назад и увидел ее во всей броской красе. Пронизанная лучами солнца, она стояла на небольшой горке и так вольно раскинула ветви, так вальяжно держалась, словно хотела сказать: «Ой, как же мне хорошо! Как же славно мне жить на этой земле и под этим небом!»

И береза вдруг распахнула ветви, словно в улыбке вся засеребрилась, это дурашливый ветер распушил листья, развернул их тыльной стороной. И столько было озорства в этом еще молодом и крепком дереве, что я невольно загрустил оттого, что человек на земле самое неустроенное существо. Но отчего?

Чем от меня отличается береза, почему она пребывает в гармонии, а я издерган страстями? В чем ее правда? И вдруг понял — она тем от меня отлична и в том ее правда, что любит жизнь. И в погожий день, и в снежный, и в дождь, и в метель любит — и все. И ничего она не просит у жизни, а та ей ничего не должна, просто в согласии они, и в этом суть.

Сегодня проснулся, глянул в окно, а там солнце встает. И так славно стало на душе, что мы с ним в одно время проснулись, что впереди у нас новый день.

Образ

Закрывшись в кабинете, как подпольщики, мы отмечали женский праздник, чествовали трех наших дам.

Одна из сотрудниц, женщина лет сорока, рассказывала про себя, как развелась с первым мужем и уже не надеялась на новую семью, а за ней стал ухаживать знакомый мужчина. Человек порядочный, работящий, не пил. Но уж больно ему с внешностью не повезло. Было у него на редкость колоритное лицо, скуластое, лобастое, с крупными чертами, в общем — никакой привлекательности. И женщина сомневалась, что привыкнет к нему.

Однажды пришла в гости подруга, впервые увидела этого ухажера и на кухне скороговоркой, приглушив голос, с явным волнением сообщила, что он походит на могучего зверя, которому и названия-то нет, потому что он единственный. И нашей сотруднице, когда вернулась в гостиную, лицо своего поклонника показалось необыкновенно привлекательным.

— Вот уже пятый год вместе, — закончила рассказ сотрудница, — а как увижу его, меня сладкая дрожь пробирает. Мой зверь, думаю, мой послушный зверь...

Глаза наших остальных двух дам тоже затуманились мечтательной поволокой. Вот она — сила образа!

Иной раз сравниваю свою жизнь с беговой дорожкой с препятствиями, и это вызывает веселый азарт.

Сон

Мне поначалу казалось, что мы сидим на скамейке. Но потом я почувствовал, что под ногами опоры нет. Посмотрел вниз и понял, что сидим мы с ней на самой кромке белого-белого облака. Удобно сидим, облако мягкое, как толстый поролон. В быту я поднимаюсь на три ступени стремянки, и голова кружится, а тут восседаю на жуткой высоте — и хоть бы что, неудобства не чувствую. Да и вроде молод…

А рядом со мной — Судьба. И даже невероятно, что она простого облика женщина в длинном белом платье с глухим воротом, похожая на гувернантку средних лет из старинной жизни. Она говорит, что усадила меня на облако для обучения.

Смотрим с ней вниз, а там, на площади, толпа народа. Праздник какой-то. Люди смеются, поют, танцуют. А Судьба глядит на них и загибает пальцы: «Этот лысый завтра попадет под автомобиль, те двое разведутся, тот, в шляпе, подавится рыбьей костью, а красномордый поскользнется на мостках, упадет в воду, а плавать не умеет». Прямо садистка какая-то! Ей что, весело все наперед знать? Свихнуться же можно от такой работы. И чему меня учить собралась? Чтобы я знал о каждом встречном, что с ним будет завтра?

Нет, лучше я останусь обычным человеком и потанцую на площади со всеми под веселую задорную музыку. Зачем мне знать, что будет со мной зав-

тра? Зачем омрачать минуты, которые есть? Я кружу в танце женщину, вижу ее лучистые глаза и слышу ее беззаботный смех.

А Судьба? Она же видит с облака… Ну, и что? Пусть себе видит. Что нам до нее, когда играет музыка?

Боль

На заштатной станции стоит длинный грузовой состав. Скучно сыплет мелкий дождик. И без того вокруг все серо, а от мороси еще больше уныния. На засыпанной шлаком площадке вытянулась в струнку девчонка, запрокинув голову. Она смотрит снизу на меня, а я уже поднялся в тамбур. Домой еду, отслужил солдатик. Ждать местный пассажирский поезд надо чуть ли не сутки, так я товарняком решил добраться до города, а там уж покачу плацкартой, как положено. Отсыревшее платье обтянуло хрупкую фигурку девчонки, пряди волос слиплись на щеках, маленькой ладошкой она смахивает слезы и все смотрит на меня в робком ожидании.

— Я вернусь, — обещаю клятвенно, чтобы успокоилась, но загодя уверенный, что никогда этого не случится. — Слышь?

А она не слов ждала от меня, она умоляла глазами, чтобы руку протянул, и тогда взлетела бы в тамбур и прижалась бы ко мне, чтобы ехать куда угодно, хоть к черту на кулички. Но уже лязгнули буфера, медленно двинулся состав, а девчонка стояла, замерев, и рукой махнуть, похоже, не было сил. Тогда я не чувствовал, каково ей, вся душа была охвачена радостью возвращения домой, где ждут меня мама, разноликая родня и вольная воля после солдатской службы.

Да вот же оно, эхо! Неведомо какими путями, но через десятки лет добралась-таки до меня боль Танюшки. Так ее звали, вроде не запамятовал.

И ведь ничего серьезного между нами не было, только и знали, что целоваться. Отчего же я лживым своим обещанием осквернил ее чувство? Теперь босиком побежал бы в тот край за три тысячи верст, чтобы испросить прощения, да нет же прежней прыти, и девчонки той, возможно, нет уже на свете, успела состариться и помереть, прежде позабыв обо мне. И только боль жива…

Кресало

Книги я стал читать при керосиновой лампе, тогда в селе еще не было электричества. Но почему-то помнится картина, как дядя Ваня, который по возвращении с фронта жил некоторое время в нашей крохотной избушке с женой, тетей Наташей, — родная сестра моей мамы, — и дочуркой Ритой, сидит за столом, а перед ним блюдце с растопленным жиром, а в нем жгут свернутый из тряпицы фитиль. Дядя Ваня короткими резкими ударами из кресала высекает огонь. Видимо, керосин в доме кончился и спички тоже. А кресало у него было солдатское, обломок напильника и кремень. Там, на войне, должно быть, приходилось им пользоваться, навык был.

На кончике фитилька от искр возникает крохотный огонек, и будто раздумывает, разгореться или потухнуть, а мы с дядей Ваней смотрим на него и дышать боимся. Но вот уже вырос язычок пламени, ожил, повеселел, на всю избенку сил не хватило, по углам не пробил темень, но раскрытую книжку осветил.

При этом зыбком свете я читал:

— Буря мглою небо кроет…

А за стеной завывала настоящая вьюга, прилетевшая из арктических далей. Там, за ветхой стеной, такая творилась кутерьма, что и носа не высунешь. «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают». И так жутко, и так радостно от слов, которые читаю. И такими яркими чувствами полна жизнь!

Надо признать, что славные книжки попадались под руки, отчего при трепетном свете фитилька чуть ли не вся Вселенная распахивалась перед детским воображением. И должно быть, в такие часы возникла и укрепилась в душе уверенность, что счастье человеческое зависит не от того, что ему светит — робкий фитилек или само Солнце, — а единственно от того, чем заполнена душа.

Тень

Почему-то назойливо лезет в голову воспоминание о том, как в далеком детстве Петька, мой младший брат, впервые обратил внимание на свою собственную тень. Он долго не мог успокоиться и только ею был занят, как несмышленый котенок бантиком, который вплели ему в хвост. Подбегал к стене сарая, поднимался на крыльцо, останавливался на лужайке, и везде она следовала за ним, становясь то маленьким карликом, то вытягиваясь до размеров великана.

Петька смеялся, играя с тенью, а я сидел на крыльце и следил за тем, как соседская девчонка развешивала на дворе постирушку. Она дотягивалась до веревки на цыпочках, при этом выглядывали ее коленки из-под платьица. Она испуганно посматривала на меня, но я успевал отвести взгляд.

Много лет прошло с тех минут, но отчего-то ж помнится и заразительный смех Пети, и вспугнутый взгляд девчонки…

Отчего так интересно было жить?

Бог

В детстве я молился по утрам. В красном углу горницы в киоте, на дощатой полочке под потолком, стояла единственная икона, сильно закоптелая, отчего лик Николая Угодника казался особенно таинственным. Икона осталась от раскулаченного деда. Он был грамотным, и уж Закон Божий, к примеру, или даже Библию точно должен был иметь. Но книги, скорее всего, борцы за счастье народа бросили в печку.

Так что первые представления о Боге получил от мамы. Церковь закрыли, когда ей было лет шестнадцать, она довольно смутно помнила то, о чем говорил священник, но ей виделось предельно ясно, как все есть. Бог на какой-то горе живет, на самой вершине, на троне сидит, борода у него окладистая, седая, потому что много ему лет, не счесть, чисел не хватит. Но видит он хорошо все, что творится на земле. И то видит, как я себя веду, если хорошо, то радуется, а если плохо, то очень огорчается. Он все слышит, и даже если ты молча крестишься, то легко догадывается, о чем твоя немая мольба.

Прошли годы, прочитал я немало книг о вере, о Христе, о Троице, но странное дело — нет той ясности, что была в детстве, когда перед мысленным взором возникал Бог с окладистой седой бородой на небесном троне, который

догадывался даже о том, о чем молчу. А в немых мольбах я хотел, чтобы жила мама, которой очень трудно было без мужа, погибшего на войне, чтобы оставалась она с нами, с тремя детьми. И Бог услышал: мама тихо уснула навеки, спокойная за своих уже взрослых детей.

Никто из смертных не представит образ Бога, поскольку непостижим Дух, но в трудные моменты жизни, коих было достаточно, взгляд невольно устремлялся к небу, и возникал в сознании мамин мудрый старец с окладистой седой бородой, который с изначального дня видит и слышит, что творится на земле.

С ним становилось как-то уютней в самом себе и не столь безнадежно.

Вечер

Дачный поселок засыпает. Угасают голоса людей вокруг. Гаснут в окнах огни. Сгущается вечерняя тьма. Остаются только звезды да мой костер.

Чувствую себя самым свободным человеком, и не на Земле только, а во всей Вселенной. Над головой-то — звезды. Это они наводят на такую мысль, бесспорно обладая колдовской силой. И вот, думаю, что же этому вселенски вольному человеку всего дороже на закате жизни?

Помню, в молодости одиночество казалось наказанием, без друзей дня не проходило, влекли новые знакомства, и не насытиться было общением. Но время, как искусный живописец, работает над нами без устали. Нет чтобы отложить кисть да и оставить в том облике, в котором было уютно. Перелистываешь альбом с фотографиями и видишь плоды труда времени …

И уже так поменялся внешний вид, что стань на минуту семнадцатилетним, не признал бы себя при встрече, прошагал бы мимо старика беззаботно легким шагом.

А то и остановился бы, пожалел. И что бы я, нынешний, ответил?

Знаю, что завтра навалится куча забот. И если бы только завтрашние труды, а то ведь вся жизнь прошла в хлопотах по устройству семьи и самого себя да в служении какому-то делу, которому — казалось — и предназначен был.

Но человек живет в двух мирах. И внутренний мир с годами становится все значимей и важней. Вот теперь, у костра, внешний мир ушел во тьму, а я наедине со своим внутренним миром остался. И неважно мне, чем занимался всю жизнь, а только то важно, наполнялась душа от хлопот моих, как река притоками, или нищала и осталась порожней.

Можно умирать жалким на мешках золота и со спокойным достоинством среди пустого поля, когда над тобой только звезды. Есть оно, есть то дивное пространство, — оно велико и заманчиво, — в котором возникает чувство, что пройденная тобою жизненная дорога — лишь испытание, и только теперь ты в начале пути. Это пространство — душа.

Думаю, знал об этом старик, что сидел у костра. И я посчитаю себя счастливым человеком, если с улыбкой отвечу юноше:

— Разве бывает скучно с самим собой?





Изяслав КОТЛЯРОВ

Пусть забирает кесарево кесарь…

* * *

Сознание само вдруг подсказало,
а это мудрой мысли торжество,
что нищ не тот, кому досталось мало,
а тот, кому все мало для него.
Богат лишь тот, кто жадности не знает…
Сентенцией о том сужу и я.
Все меньше тело бедное желает
от быта, что живет вне бытия.
Ах, мне б еще уверенности веры —
и был бы не богатством я богат.
«Живи, чтоб ничего тебе — сверх меры», —
подскажет умолчанием Сократ.
Душе своей и я не лучший лекарь,
ведь знаю: все лечения — обман…
Пусть забирает кесарево кесарь,
а Божье — Богу я и сам отдам.

* * *

Жизнь тем и своенравна,
что вне дыханья — дух,
что ложь — все та же правда,
но сказанная вслух.
За истиной — любою —
извечный пьедестал.
Обманутый собою
обманщиком не стал.
Страдания — во благо?
Солги себе, солги…
Словами лжет бумага.
Сожги ее, сожги.
Как Гоголь у камина
жег рукопись свою.
Причина — беспричинна,

коль даже ад — в раю.
Что честно — неуместно, —
мне страшно осознать.
А умирать воскресно
не значит — умирать.
Лги о насущном хлебе
и о добре — во зле…
Но вновь земля — на небе,
а небо — на земле.

* * *

Догадок не надо и прений —
словесный без адреса пыл…
Завидовал гению гений?
Но вряд ли он гением был.
Вне жизни, вне смертного срока
суть сущего сущим видна.
А радость? А радость жестока
для тех, чьей не стала она.
Чужая дается напрасно,
она, как заплата, видна.
Безмолвная зависть опасна.
Кричащая зависть — смешна.
Да, гений во всем гениален.
Он — свет, возвращенный из тьмы…
Смеемся — и смех наш зеркален,
ведь в нем отражаемся мы.

* * *

Так хотелось делами деяния,
бытия, отрицавшего быт…
Состраданье сильнее страдания —
снова Ницше меня убедит.
Соглашаюсь, хотя и угрюмее,
а судить никого не берусь.
К покаянью уводит безумие,
но безумьем его же боюсь.
Только бы пред собою не подличать.
Непонятно: лечусь иль учусь?
Все искал себе мыслями подлинность,
а сейчас я — за подлинность чувств.
В ней какая-то детская бдительность, —
да, не скрытая, вся напоказ.
А спасала ведь предусмотрительность
страха рук, страха мыслей и глаз.

* * *

Ни врага и ни друга,
и в себе — никого…
Страх — бессилие духа
или разум его?
Не скажи, что отважен,
если выдох, как стон.
Но молчащий вдруг страшен,
а кричащий — смешон.
Слух — то справа, то слева…
Кто там? Эй, покажись!
Избавляясь от гнева,
смейся иль прослезись.
Всё — чего-нибудь признак,
хоть судьба — не в судьбе.
Как признаться, что призрак
не кому-то — себе?

* * *

Молчи, молчи, всему душою внемля.
Ни к слову и ни словом не спеши.
Скажи лишь то, чему настало время,
а лучше не скажи, а напиши.
Написанное все же остается,
хоть буквенно молчание хранит.
Написанное все-таки прочтется.
Написанному вечность предстоит,
когда оно прочтенным быть достойно
вне времени и вне земных пространств,
когда оно живет неупокойно
всеобщим постоянством постоянств.
Ищи в себе взыскующего зова.
Скажи лишь то, что скажешь ты один.
Здесь раб тебе — несказанное слово,
а сказанное слово — господин.

* * *

Так жизни хочешь угодить,
что ждешь всего тревожно.
Стал осторожнее ходить,
а жить неосторожно.
Вдруг ощутил небесность дна,
и впрямь уже земного,
но отнимая сон у сна,
жизнь пишешь для итога.

А может, смерть, а может, смерть, —
никто еще не скажет.
И надо в истине иметь
лишь то, чем сам ты нажит.
Быть кратким кроткому дано, —
и ты лишь в кротком краток,
хоть осознать не суждено,
что жизнь — судьбе задаток.

* * *

Неужели знать не знаешь,
или все-таки таишь? —
что неясно представляешь —
то неясно говоришь.
Есть бессилие незнаний —
ты его не осознал…
Жизнь сама из подаяний
дней, не знающих начал.
Темнота ночного гула,
лунный отсвет бытия…
Мысль в забвении мелькнула,
чью-то истинность тая.
Даже сон и тот, как бденье,
даже память, словно месть…
Жизнь — лишь сон, а пробужденье,
пробужденье — это смерть.
От луны не отвернуться —
дышит мертвенно в окно.
Боже мой, и мне проснуться
в смерть однажды суждено.

* * *

Теперь у смерти жить учись,
в себе теряя мир…
«Умри, пока ласкает жизнь», —
сказал Публилий Сир.
И спросит горестно опять,
сомненьями моими:
«Собой не смея управлять,
сумеешь ли — другими?»
Я даже чуждому не чужд.
И слышу голос дальний:
«Коль меньше истинности нужд,
то меньше и желаний…»
А я и грубостью не груб,

когда и свет из мрака…
«Кто понял сам, что очень глуп, —
уже не глуп, однако…»
И не лукавь, и не лукавь,
коль срок уже за сроком.
Чужим пороком свой исправь,
исправь чужим пороком.
Мне эта мудрость помогла,
она как покаянье:
я понял, что не делать зла —
и то благодеянье.

* * *

В глазах, сияньем карих,
свои не нахожу,
но с фотографий старых
так молодо гляжу.
И этот взгляд сиянья
из ожившего дня,
как будто в наказанье,
не узнает меня.
Нет истине свободы,
хоть тем иль тем кажись.
Меж мной и мной не годы,
а — прожитая жизнь.
Узнать или узнаться
теперь еще трудней,
чем узнанным остаться
для старящихся дней.
И кто-то — впрямь участлив —
корит меня, корит:
«Покуда жив, ты счастлив», —
мне тихо говорит.





Дулат ИСАБЕКОВ

Страж покоя

Рассказ

Стоило кому-то лишь выдохнуть: «Ох, Демесин идет!» — как любой аульный сопляк тотчас прекращал плач, а сорванцы постарше юркали в какой-нибудь закуток, куда только удавалось втиснуться, сопели и прислушивались к малейшему шороху, с ужасом и любопытством ожидая его появления. Да что ребятишки! При встрече с ним и многие взрослые — даже те, кто не прочь пичкать своих детей поучительными байками о собственной храбрости, — теряли связную речь.

Во всем облике Демесина, особенно в глазах его, было что-то настораживающее, что остужало даже самые бесстрашные сердца. Он не был богатырем, но был достаточно плотно сбит, и не каждый мог похвастать такими бугристыми мышцами — так что и в толпе его фигура сразу выделялась. Всегда красноватые, будто налитые кровью его глаза под тымаком[1], что и зимой и летом не снимался с головы, таили взгляд, от которого мог вздрогнуть любой: пронзал насквозь этот взгляд. Такие глаза загораются обыкновенно у полного плотской силы верблюда во время гона, и не дай бог встать у него на пути...

Боялись Демесина — так трепещут при опасности неизвестной и необъяснимой, которую всегда лучше обойти стороной или переждать. Вот кто-то послал громкий попрек: «...Как этот псих Демесин», а то еще чище: «...Э-э, болтаешь — как наш безумец!» Но объявись вдруг Демесин рядом, тот же ругатель первым бросался ему навстречу и помогал сойти с коня.

Вырос Демесин в этом ауле, здесь и старился, но для аулчан вся жизнь его всегда оставалась загадкой. Ни с кем он не сближался, и не было в ауле человека, который решился бы с наступлением сумерек перешагнуть порог его дома. Больше похожий на крытую землянку, приземистый домик Демесина, построенный наверняка еще за полвека до появления теперешнего нелюдимого хозяина, стоял на западной окраине аула; домишко тот словно влепился в подножие холма, готовый в любой момент с ними слиться. А как только темнота сгущалась над аулом, невзрачная, никогда не знавшая известки лачуга во тьме преображалась в устрашающее прибежище, отпугивавшее даже детей. И хотя в ночи невозможно было различить ее, у каждого она стояла перед глазами.

По рассказам стариков, незнакомый тогда юноша приблудился к аулу в начале тридцатых годов... не то с Сарыарки... не то из Каракалпакии. Времена были смутные, многие искали по белу свету пристанища, кто, думаете, тогда интересовался друг другом? Приняли парня, как и других пришельцев, — живет и пусть себе... Было ему в ту пору лет пятнадцать-шестнадцать, можно сказать, почти взрослый, он и рассуждал-то уже трезво, совсем не по годам. Одно насторажи-

[1] Тымак — головной убор с наплечьем и ушами.

вало в повадках: исчезал куда-то регулярно и так же неожиданно объявлялся. Так было каждую неделю.

Время шло, и менялся Демесин на глазах: словно что-то не давало ему покоя, словно спешил он вечно куда-то, всегда сосредоточенный на каких-то своих мыслях, серьезный, угрюмый. Как же было не поинтересоваться причиной такого его состояния. Но в ответ на расспросы он лишь бормотал невразумительно и еще больше замыкался. Людей аула образ жизни парня смущал, вот и приставили к нему однажды соглядатая, чтобы проследил, чем же занимается «приблудный». Через неделю тот человек сообщил: «Ничего особенного. В прошлую пятницу побывал он на старом кладбище в Еспесае, сидел долго у могилы. Никуда больше не отлучался, а больше ничего странного нет, и опасаться, видно, его не стоит...»

Могила на старом кладбище притягивала Демесина к себе, словно накладывая печать печали на всю его жизнь. Потому он и осел в ауле, что в пути смерть унесла сразу и отца, и мать; юноша смог поначалу выкопать одну на двоих, временную, яму. Над этим нежданным захоронением к нему, наверно, и пришла взрослость. Оторваться от дорогих останков Демесин не смог — остановилось для него здесь время любви, время улыбки, слез и душевной близости... Позже, найдя себе пустующую лачугу в ауле, вырыл Демесин новую могилу, куда перенес родителей, и теперь каждую пятницу читал молитвы над их изголовьем — сколько знал или запомнил из священных книг.

Причина внезапной смерти его родителей, кроме него, никому не была известна; она ли потрясла его так, или то, что он — сам, один — копал для них могилу и навсегда прощался с ними, а может быть, все это вместе отложилось в его душе. Время не помогло избыть печаль утраты: Демесин становился все резче, все рассеяннее и замкнутее на одному ему известных мыслях. Все чаще случалось, что оставлял он незавершенной работу, уже почти сделанную, хотя поначалу довольно сносно зарабатывал свои трудодни. Люди вскоре попривыкли к неожиданным сменам его настроения, притерпелись к внезапным поворотам мысли — хоть, бывало, и вовсе чепуху начинал нести несусветную. Впрочем, людям что, если их впрямую не касается: посмеются, отнесут на счет чудачеств, молодости-глупости, да и забудут. А глядь — молодость-то уж давно миновала, и поправить ничего нельзя, и с «чудачествами» мириться надо...

Впрочем, странности Демесина были в общем-то невинны и служили разве что поводом для пересудов. Как-то, перед войной еще, вывез он на базар три мешка пшеницы из своих запасов, а сбыв их, накупил с пуд конфет да и раздал ребятишкам. Часто ли на селе такое бывало? Дети, естественно, потянулись к щедрости взрослого человека. Может, он себя в их возрасте помнил, принося каждый раз подарки, или свою обделенность взрослой заботой возмещал? Кто в чужую душу заглянет... А только слух о его удивительной тороватости покатился и по соседним колхозам — кто ж из сорванцов не разинет рот, представляя себе такого доброго дядю...

Доверие к Демесину, несмотря на его пугающее взрослых одиночество, жило в детях аула до середины военных лет и оборвалось разом — вечером зимнего дня...

В дома аула стучалось горе, много слез лилось по мужчинам, что еще недавно уходили на неведомый фронт, а возвращались домой лишь именем своим в похоронке...

Демесин тоже переживал эту черную печаль аула, надолго затаился в себе — его и не видно было; но однажды он, схватив ружье, взлетел на лошадь и наметом проскакал в степь. Перевалив через холм по пути, он начал палить в воздух, всполошил грохотом всех от мала до велика. Когда

ему показалось, что наконец-то «отогнал врагов», суровый безумец вернулся в свою нахмуренную лачугу.

А назавтра он снова раздаривал конфеты ребятишкам, которых собрал на равнине за аулом; хотя и с опаской после вчерашнего, но они пошли к нему. Удивив детей несказанной радостью — откуда только он добыл эти конфеты, — Демесин вдруг посерьезнел, сказав:

— Теперь вы все... будьте немцы... в меня стреляйте — все! А я с вами сражаться буду...

«Быть немцами» мальчишкам не хотелось, но игру они приняли, раз Демесин так захотел. Из-за сугробов они «обстреляли» Демесина снежками. Тот в ответ обрушил на «противника» град увесистых ледяных комьев. Игра была как игра, кого из ребят не захватит она, если даже взрослый хмурый человек увертывается от снежков и носится по полю, будто равный.

Вскоре Демесина пробила испарина. Азарт шуточного боя полностью захватил его, даже глаза налились кровью. Вместе с криками мальчиков, которые продолжали забрасывать его снежками, отчетливо вдруг услышались рыдания женщин аула: в какой-то момент снежной схватки почудилось, видно, Демесину, что и в самом деле... фашисты... что они уже здесь, и только он сейчас... немедленно... может их остановить. Стоило лишь мелькнуть этой мысли, обернувшей мальчишек в настоящих врагов, как взбешенный Демесии был уже на коне, который в мгновение вынес хозяина к «врагам». Дети, увидев поспешность Демесина, поначалу решили, что он кончил играть, и тоже покинули свои места. Но увидев, как всадник летит им навстречу, не щадя коня, переглянулись настороженно.

— Бегите! Сдурел Демесин!.. — завопил кто-то постарше.

Не сразу поняли ребята, что происходит, а тех секунд, что они мешкали, было достаточно Демесину, чтобы его длинная сыромятная камча полоснула по спинам. Загнав разбежавшихся малышей в сугробы, куда коню не было ходу, безумец повернул назад — к тем, кого только что отстегал. Они все еще оставались на прежнем месте, рыдающие от неожиданной обиды, не в силах опомниться и защититься...

— Пашисты! — орал Демесин.— Будьте вы прокляты, пашисты! Увидите у меня сейчас! Вы за кого меня принимаете, а?..

И на полном скаку, вопя еще что-то нечленораздельное, он вновь прошелся камчой по спине мальчугана, который ничком рухнул в снег, почуяв приближение коня. Возбужденное ездоком и скачкой животное пронеслось мимо, но твердая рука развернула его назад.

Ясно, взбудораженный больным воображением, Демесин в эти минуты не задумался бы и растоптал детей, попадись, не дай бог, кто-то на пути его коня. Всадник уже и камчу вновь вскинул для удара: вот-вот обрушит ее на очередную жертву. На счастье, один из мальчишек в отчаянном порыве вдруг скинул с себя телогрейку и взмахнул ею перед мордой коня. Тот, испуганно всхрапнув, резко рванул в сторону, и Демесин не удержался в седле.

— О-о, будьте прокляты... пашисты! И до меня добрались!.. — Его вскрик уже на земле придал прыти онемевшим от ужаса мальчишкам, а сам слетевший с лошади всадник застыл без движения, точно умер. Бедняга наверняка в этот миг полагал, что сражен вражеской пулей...

После этой истории дети уже не подступались к нему.

Стали опасаться его и взрослые.

В один из морозных зимних вечеров вырвались плач и причитания из дома солдатки Жамал: весть пришла о гибели мужа. А жила семья в центре аула, и было в ней семеро малых детей-погодков. Старшим был тот самый Мутан, что прошлой зимой спас маленьких «пашистов» от расправы

Демесина, замахнувшись на его коня телогрейкой. Этому Мутану пришелся последний удар камчой по голове в той безумной игре, после которой храбрец неделю провалялся в бреду.

К дому, откуда выплеснулся плач, Демесин примчался, будто черная весть пришла к нему первой. Даже в раннем вечернем сумраке можно было различить, как валил от коня пар, — так несся всадник сюда. И так, не спешиваясь, долго стоял перед домом.

Женщины, что торопились к вдове с соболезнованиями, вскрикивали испуганно «котек» и «астапыралла» при виде недвижно застывшего на коне Демесина, лишь за дверью возобновляли причитания с новой силой. Кто-то из них, видно, шепнул аксакалам в доме о Демесине, потому что вышел старик Акмолда с учтивым вопросом:

— По делу, Демесин... или как?

Всадник не ответил.

— Что же ты... на коне? Проходи... в дом... — молчание озадачило старика, он боялся рассердить седока.

— ...А Мутан? Он тоже плачет?! — Демесин произнес это так неожиданно, что Акмолда вздрогнул.

— Кто это — Мутан? — переспросил старик, и в голосе его мелькнул испуг.

— Мутан! Почему Мутана не знаешь?! — рявкнул Демесин, и старый Акмолда, со страху заикаясь, пролепетал:

— Д-да... плач-чет... т-тож-же...

Что Мутан был в доме и рыдал, было правдой.

Демесин словно только и ждал этого подтверждения: повернув коня, он пустил его в степь; топот копыт потряс тишину. К онемевшему Акмолде долетели брошенные седоком слова: «Пашисты пришли! Пашисты!..»

Всю ночь носился Демесин вокруг аула...

И с той ночи, стоило закатиться солнцу, Демесин выезжал за аул на «охрану покоя», как предположил кто-то в шутку. Для Демесина же, как оказалось, стало это делом серьезным...

Люди, в полночь или предрассветную рань вышедшие во двор, слышали голос Демесина, его покрикивания и фырканье его лошади, надо полагать, выматывавшейся за ночь. Если Демесину почему-то представлялось, что аулу грозит опасность, он стрелял в воздух, и шарахалось от аула все живое, будь то человек, зверь, птица или приблудившаяся скотина...

Странности Демесина всегда давали пищу пересудам, а здесь — шутка ли, в пору, когда все безмятежно спят, взрослый сильный человек ночи напролет шныряет по округе верхом!.. Когда самые упрямые скептики уверились в правдивости слухов, людьми овладел прямо-таки мистический страх. Над каждым домом и так висело тревожное ожидание беды, а здесь еще этот ночной всадник, вооруженный к тому же.

Страху добавляла еще и непонятность ночных бдений: сначала Демесин сторожил аул чуть не каждый день, после — через день, через три-четыре, а то и неделями не выезжал, что-то свое толкало его на эти объезды. Частота или, наоборот, спад ночных метаний всадника были замечены, они связались с приходом в аул похоронок — «черными бумагами» называли здесь извещения о гибели родных на фронте. В дни, когда не слышалось в ауле плача, был спокоен и Демесин; но стоило вырваться из какого-то дома причитаниям, он садился на коня и скакал в степь. Порой эта связь между его ночной скачкой и плачем утрачивалась, и многие разбуженные в ночи криками или внезапными выстрелами не могли заснуть, с ужасом думая — в чей же дом еще нагрянула беда...

Слухи эти разнеслись по соседним колхозам, и в ауле гостей стало мало. Кому выпадала нужда завернуть сюда — родственников ли повидать,

дело ли неотложное заставляло, — поспеть старались до захода солнца, а то и вовсе назад поворачивали, слухи обрастали загадочностью, а встретиться с непонятным всадником ночью находилось мало охотников...

Как-то в середине дня, явно чем-то взвинченный, злой да еще, видать, продрогший на морозе, Демесин ввалился нежданно-негаданно в кабинет председателя колхоза. Хорошо, что тот был не один, проводил совещание с бригадирами. Колхозный председатель — хромой и однорукий Ормантай, бригадиры — сплошь женщины...

Появление Демесина внесло, конечно, смятение, которое нельзя было скрыть робкими, заискивающими восклицаниями: «А-а, кайнага-а...»[1] — согласно возрасту женщины спешили оказать внимание нежданному посетителю, а сами как бы между прочим старались придвинуться к Ормантаю поближе; их взгляды, обращенные на председателя, полнились беспокойством.

Да и председатель не сразу нашелся — мало ли что пришло в голову блаженному Демесину, и кто знает, чем чреват этот нежданный визит.

— Т-тебе... что, т-товарищ Д-демесинов? — Он и сам, пожалуй, не заметил, как имя посетителя обернулось в его устах фамилией.

Тот уставился в упор, кажется, готовый расплющить взглядом.

— Я — не товарищ... Демесин я! — пробасил предупреждающе.

— Да... Демесин... прости! Н-ну, и что надо?

— На фронт меня отправляй! Я пашистов уничтожу — всех!

— Н-нет... нельзя т-тебе... нельзя ехать, — сказал, мало-помалу приходя в себя, Ормантай.

— Почему — нельзя?

— Вот так. Нельзя.

— Так я спрашиваю — почему? — При последних словах глаза Демесина потемнели, на скулах заходили желваки.

Женщины сейчас были подобны камышинкам в ветреный день и так же, в зависимости от тона Демесина, клонились то в одну, то в другую сторону. На сей раз дружно подались к Ормантаю. Но председатель молчал. И чем дольше затягивалось молчание, тем большим беспокойством веяло от них: не выпуская из вида Демесина, женщины умоляюще смотрели на Ормантая, на кого еще им было надеяться, — скажи, дескать, этому... хоть что-то!

— Ты не поедешь... Ты здесь... нужен! — выдавил, наконец, Ормантай, словно давая женщинам время перевести дыхание.

— К-как? — теперь пришел черед заикаться Демесину, видно, ничего еще не понимающему.

Хоть женщины тоже не поняли, растерянность страшного человека позволила им прийти в себя.

— А так, — сказал уже уверенно Ормантай, довольный действием своих слов на Демесина и оттого тотчас осмелевший. «И этого тронутого, оказывается, можно пронять!» И глядя тому прямо в глаза, повторил отчетливо: — Ты здесь нужен. Ты наш покой охранять должен.

Случайные слова, что пришли Ормантаю на ум, — надо ж было что-то ответить! — и в самом деле произвели впечатление на Демесина. Он остановился в паре шагов от стола, с выражением величайшей ответственности на лице, мгновенно посуровевшем. Взгляд его впился в председателя, словно говорил: «Это правда? Я и впрямь нужен вам? Вы и в самом деле не заснете ночами, если я сторожить не буду?..» И виделось в его глазах волнение — то, что сродни гордости: вот-де и я, выходит, понадобился людям...

---

[1] Кайнага — старший брат мужа или жены; здесь традиционно-вежливое обращение замужней женщины к старшему по возрасту мужчине.

— Да, ты нужен нам! — поспешил еще раз подтвердить однорукий председатель, радуясь такой перемене в буйном посетителе.

Демесин застыл истуканом. Казалось, он не собирался уходить, перемалывая какие-то свои мысли, и женщины вновь опасливо покосились на председателя. Вновь потянулось мучительное безмолвие.

— Ну, что еще скажешь? — первым заговорил Ормантай, как бы еще раз демонстрируя женщинам непреложность истины, что мужчина все-таки всегда мужчина.

— Сани мне дай! — потребовал Демесин, неожиданно чем-то раздражаясь.

— Сани? Ах, да, сани... сани... — Ормантай смешался.

Женщины тоже знали, что сани в хозяйстве сейчас, когда мужчины на фронте, не безделица, ими особо не раскидаешься. Но они понимали, что ответа Демесин ждет немедленно — такого, чтобы удовлетворил его.

— Хорошо! — бросил Ормантай, наверняка еще и сам не сознавая, как он выполнит это многообещающее «хорошо». Рассчитывал, похоже, что с тем и уйдет Демесин.

Но тот уточнил:

— Когда?! — чем поверг председателя в окончательное смятение.

— Когда?.. — повторил Ормантай, чувствуя закипающее раздражение от безвыходности и готовый взорваться, но встретился со взглядом безумца и сник, забормотал: — Когда... когда...

Демесин подался к нему — видно, хотел что-то еще сказать.

— Хорошо, приходи завтра!..— опередил его Ормантай и прихлопнул по столу единственной рукой для пущей убедительности.

Демесин все же подскочил к столу, схватил лежащую на зеленом бархате стола руку председателеву и затряс ее, словно вещь, тут же отбросил, будто вещь эта оказалась ненужной, и устремился к выходу. Хлопнула дверь, и председатель смог прийти в себя.

— Уф-ф! — выдохнул он, поднимая глаза на сгрудившихся вокруг женщин. — Где ж сани-то ему раздобыть?

— Раздобудем, — кругленькая, как калачик, симпатичная молодуха с краю стола тоже облегченно вздохнула, всем своим видом говоря: все, мол, ничего — придумаем, главное, что обалдуй ушел...

Сани в самом деле нашлись, председатель даже разрешил пользоваться сеном с базы для лошадей. И Демесин после своего похода в контору в самом деле начал бдительно охранять аул, считая это святой своей обязанностью. Теперь в «ночное» он выходил не случайно, под настроение, а строго каждый день, выполняя с примерной добросовестностью работу, «наконец-то поставленную на должные рельсы», — как утверждал председатель.

...Солнце клонится к закату, когда Демесин впрягает лошадь в розвальни. Затем натягивает на ноги поверх сапог собственноручно сшитые из старой кошмы громоздкие байпаки, один из которых заметно больше другого. Надевает поверх телогрейки тулуп и потуже затягивает у горла тесемки тымака. Выпивает большую чашу разведенного в бульоне курта, горсть курта запихивает на всякий случай в карман. Переваливаясь на ходу, словно большой медведь, несет из сарая немного клевера и подстилает под себя в санях — может, пригодится для лошади. И с легким «чу!» трогается с места.

Для стороннего глаза все это презанятнейшая картина.

«Чу!» — подрагивает морозный воздух.

Багровея, садится солнце. От неказистой лачуги, в стороне от скученных домов аула отлетают сани, поскрипывая полозьями на снегу и пово-

рачивая на дорожку, ими же вычерченную, начинают скользить вокруг аула. Оранжевый свет низкого холодного солнца рыжим пламенем падает на человека в санях, то и дело замахивающегося камчой на лошадь, окрашивает и пушистый легкий снег, взметенный полозьями; а вот уже сани с лошадью превращаются в черную точку на белой равнине.

Скольжение саней особенно красиво в первые минуты — бег коня великолепен! Да и то сказать — за день отдохнул жеребец, накормлен, напоен вовремя! С охотой, с азартом и легкостью необыкновенной увлекает он за собой сани с ездоком, только снег серебристо вихрится по обе стороны дороги! След в след ступают копыта вчерашней дорожкой, а сани увлекаются так легко, что кажется, будто не по снегу несутся они — по смазанной маслом плоскости; стремительное и неслышное, завораживающее глаз скольжение! Белый пар клубами вырывается из ноздрей лошади и быстро растворяется в морозном воздухе...

Аул расположился правильным кругом — словно выстроили домики под огромной-огромной юртой, а потом эту юрту унесли, оставив домики среди снега. Из покосившихся низких труб голубой дым идет к небу прямо-прямо, без малейших отклонений в сторону, — и каждый голубой столб на мгновение скрывает сани от наблюдателя, пока не объявляются они у другого домика и пока очередной голубой столб вновь не скроет их...

И все же картина эта, несмотря на красоту свою, поначалу наводила страх на людей.

Страх вызывали не сани, ночь напролет поскрипывающие и скользящие вокруг аула, взвихривающие снежную пыль полозьями, — нет, не сани и не лошадь, фыркающая в ночи на морозе; жуток был человек в санях, и не только он сам — все обстоятельства, связанные с его жизнью, с его характером и его загадочной «службой». Невиданным и неслыханным явлением представала ежевечерняя картина взору аулчан. И сознание, что кто-то в пору общего сна без устали объезжает и объезжает село, — это, посудите сами, насторожит любого; людям грезилось в ночи, что вершится некое таинство, неподвластное ни человеку, ни самой природе, и многие просыпались в страхе.

Многоопытные аксакалы и старые женщины хотели даже собраться вместе и внушить Демесину: «Кончай, мол, ты такую службу — всех детей перепугал...» Но хотя и договаривались собраться в каком-нибудь доме и Демесина пригласить, не находилось в конечном счете человека, который осмелился бы пойти за ним.

А Демесин тем временем все так же объезжал и объезжал еженощно аул. Особых происшествий не случалось; страх, поселившийся было в сердцах, мало-помалу стал рассеиваться. Через три-четыре недели волнения улеглись сами собой. А дети, покой которых и был, собственно, причиною предполагаемых переговоров с блаженным объездчиком, перестали пугаться ночных бдений Демесина; мало того — они с нетерпением уже ждали его появления за аулом — мало в ту пору выпадало людям развлечений... И, кажется, многим нравилась каждодневная картина вылетающих в ясный зимний вечер саней, да и было ведь на что поглазеть: стремительный бег лошади в лучах заходящего солнца, серебристая пыль, взметающаяся позади упряжки, право же, вызывали восхищение. Даже самые ворчливые старики взяли себе за правило вечерними часами любоваться этой картиной. Тем более что этот почти сказочный выезд молчаливого бессонного стража становился своего рода приметой села: слух легендой разлетался по округе. Из соседних колхозов стали даже специально заворачивать любопытные, чтобы убедиться в услышанном и поглядеть на такое зрелище, увидеть, как скользят сани с блаженным возчиком в лучах угасающего солнца.

Аул привык к ночному бдению Демесина.

Жители аула спали теперь спокойно, не тревожимые ни предчувствиями, ни ночными шорохами. Человеку свойственно быстро забывать собственные страхи, привычное скоро становится само собой разумеющимся. И в самом деле — если раньше здесь непременно запирались на засовы двери хлевов и сараев, то теперь эта забота в хозяйстве, можно сказать, стала второстепенной, быстро обернувшись беспечностью. В иных домах и двери оставались незапертыми: кто, дескать, вломится, когда там Демесин... И встать-то лишний раз попросту некоторые ленились, чтобы все же набросить крючок...

И прозвище Демесина — Блаженный — стало забываться, все более уступая место уважительному — Страж.

Коль случалось кому среди ночи выйти на мороз, первым делом было затаить дыхание и прислушаться к шорохам степным. И когда улавливали, скажем, поскрипывание санных полозьев по скованному холодом снегу, или доносилось усталое пофыркивание коня, или долетало приглушенное «айт!» возчика, которым тот изредка понукал животное, люди удовлетворенно переводили дух — дескать, все в порядке, на месте Демесин...

«О создатель... ездит все... бедняга...» — бормотал человек спросонок, испытывая нечто более теплое, нежели простую благодарность к тому, кто за свое бескорыстное такое бдение, конечно же, заслуживал большего, чем вырвавшееся снисходительное «бедняга»; но другого слова применительно к Демесину как-то не находилось, и потому, теряясь, умолкал человек... лишь вздыхал сочувственно да возвращался в сонное тепло...

Прежний источник страха, которым представлялся еще недавно Демесин жителям аула, в такие минуты оборачивался благодетелем, ниспосланным свыше, что жертвует своим покоем ради спокойствия сельчан, — не каждому, согласитесь, под силу противостоять в ночи стуже да одиночеству, когда все другие в это время в тепле, в милой сердцу близости родных людей да светлых снов...

Что там воры, когда и заплутавшая скотина теперь не могла приблизиться к аулу ночью, а вскоре те коровы и овцы, что имели обыкновение уходить в степь, прекратили бродяжничать!.. Не обходилось и без курьезов. Замешкается кто или еще какая причина, скажем, заставит хозяина выгнать скотину в степь в неурочное время, как остановит на невидимой границе окрик Демесина. «Куда?! Днем надо было выгонять!» И хоть в первые дни трудно было смириться с подобной властью, но разве ему что объяснишь?.. Так и заворачивали обратно, бормоча под нос и задыхаясь в бессильной ярости. Завернул Демесин вот так одного, второго, третьего... А вскоре люди и сами попривыкли к новому «распорядку»; и если кто-то из особо настырных и забывчивых пытался и не смог проскочить ночную охрану, назавтра становился предметом шуток да подковырок соседей.

Смех смехом, а за полтора месяца «службы» Демесин схватил-таки пятерых воров, которых и сдал с рук на руки председателю колхоза. Впрочем, четверо из них сбежали, оставив похищенное — угнанную было скотину да несколько мешков пшеницы.

Теперь уж случайная «служба» Демесина стала окончательно считаться колхозной, на очередном заседании было записано соответствующее решение по этому поводу: как и остальным арбакешам, Демесину разрешалось менять лошадь, чинить сани в колхозной мастерской, пользоваться кормами из хозяйственного фонда, получать раз в месяц пять килограммов пшеницы.

— Нелишне бы и трудодни ему выписывать... — предложила все та же кругленькая симпатичная молодуха, что так желала ухода Демесина в тот первый его налет к председателю; сейчас она видела, как благодушно

настроен Ормантай, довольный ночным объездчиком, потому и заговорила о трудоднях, чтобы потрафить его настроению.

Ормантай задумался.

— Закон на это есть?..— спросил он, суетливо засовывая в карман пустой левый рукав.

— Нет — так не придумаем, что ли? — улыбнулась молодуха.

Реплика и улыбка женщины словно говорили: «Разве не все в ваших руках здесь?» И председатель, не желая признавать, что не все ключи от мира у него в руках, и расписываться в беспомощности, поморщив для пущей важности лоб, бросил:

— Посмотрим...

Дня через два он все же решил за эту работу начислять Демесину трудодни. «Следует, наконец, узнать его фамилию да и поздравить официально, чтобы поощрить, значит...» — озаботился председатель. Однако ни одна живая душа в ауле, как выяснилось, не знала фамилии Демесина. Но и отступать председателю не захотелось. Получалось, что спрашивать придется самому. А кто ж отважится на это? Отказались все, даже мальчишки, что прежде водились с ним, — никакие посулы не помогли. Старики — те и вовсе чуть не оскорбились и сделали вид, что не слышат просьбы.

И все же решили проблему: задание возложили все на ту же кругленькую милую молодуху, благо ее же предложение было о трудоднях Демесину.

Солнце краешком своим коснулось горизонта, а Демесин уже разок объехал аул, когда кругленькая, как пончик, молодуха, молясь всем святым, села на лошадь. К тому времени, как добралась она до Стража, солнце скрылось за крайней чертой белой-белой равнины и все вокруг застлали сумеречные тени. Демесин давно и с нетерпением поджидал всадника, приближавшегося к нему: он остановился, как только заприметил движение. Белизна снега рассеивала темноту, и дома за спиной всадницы казались нарисованными.

— Здравствуйте, Демесин-кайнага! — приветствовала возницу молодуха.

Что Демесин не терпит официального обращения, она поняла еще прежде — он рассердился в тот раз, когда председатель назвал «товарищем Демесиновым», — поэтому и начала разговор, по старинной вежливости величая этого непонятного человека «кайнага».

Встретил ее долгий и пристальный взгляд Демесина, пронзивший женщину ужасом: словно размышлял Страж, можно ли съесть эту неожиданную наездницу. Укутанной платками молодухе в холоде страха показалось, что ее горячее молодое сердце вдруг обложили льдом.

— П-поздравляю тебя... в-вас... с вашей новой работой, кайнага!.. — проговорила как можно вкрадчивей, будто кошку погладила.

— Что-о-о? — поднявшийся ей навстречу Демесин в своем тулупе показался женщине громадным медведем, вставшим на задние лапы. Неверный, чуть рассеивающий темноту снежный отсвет еще усиливал это впечатление.

А в отдалении под укрытием какой-то сараюшки любопытный колхозный актив во главе с председателем внимательно наблюдали за происходящим. «Никак разговорились, а?..», «Да-а, кажется, разговорились...» — обменивались они догадками соответственно жестам или движениям участников действия возле упряжки Демесина. «Точно. Разговорились!» — подтвердила одна молодая женщина, глаза которой, надо полагать, оказались острее, чем у остальных.

— Тебе... да, вам со вчерашнего дня мы решили трудодни выписать... за охрану... — говорила между тем Демесину кругленькая молодуха.

— Коня куда навострила? — оборвал ее Демесин.

— А? Коня? Как это — «навострила»? — сердечко девушки подступило к горлу. — Ойбай, кайнага... лошадь моя... то есть... колхозная...

Демесин, ничего больше не говоря, сорвал с плеча ружье и выстрелил поверх головы женщины. Та пала ниц. Так и лежала, не двигаясь и почти не дыша. Только когда Демесин, ухватив ее как мешок, поволок с лошади, она пришла в себя. Забилась в сильных руках, заверещала отчаянно:

— Това... эй, да что это такое? Я — жена человека... он на фронте воюет! За издевательство вы... перед судом ответишь!..

Демесин подтащил ее к саням, грубо поставил на ноги. Затем концом повода так спутал лошадь, что передвигаться она смогла бы лишь воробьиным шажком. Плюхнулся в сани и готов был отъехать.

— Товарищ... кайнага... а как же я? — пролепетала молодуха в ужасе от туманной перспективы, ожидающей ее.

— Будешь стоять, пока не придут. Не придут — до рассвета простоишь... не шевелись. Зашевелишься — пристрелю. — Взгляд впалых глаз Демесина был мертвенно-холоден, и бедная женщина не сомневалась, что он действительно пристрелит, коли что...

— Бог ты мой... И зачем только понесло меня сюда!.. — расплакалась она и запричитала. — На смерть и на муки пришла-а я...

Демесин уехал. Темнота быстро поглотила его, а вскоре перестало слышаться и поскрипывание полозьев. «Полномочный член актива» — пустой звук для этого блажного ее звание! — осталась в степи одна. Лишь стреноженная лошадь шумно всхрапывала рядом, перекладывая тяжесть неподвижного тела с одной ноги на другую.

Первой мыслью женщины, едва Демесин исчез, было распутать лошадь да убраться восвояси. Будет она давно дома, когда этот обалдуй вернется! Дом — родной, милый дом... он сейчас представлялся ей недостижимым раем... Совсем рядом... Но... нет, не посмела она даже сдвинуться. Демесин, он на то и Демесин, попробуй угадай, какая блажь ему в голову стукнет! Объявится назавтра и влепит ей заряд в лоб. С него, с черта, станется... Не-ет, лучше дождаться — будь что будет! Как он велел... Не шевелись, говорит... Хорошо, не сдвинется она с места, хоть околеет, лишь бы обалдуй этот убедился в ее покорности... Может, и смилостивится?..

Скрипнули полозья, фыркнула лошадь. Демесин! Женщина ждала этих звуков, но, заслышав, вдруг испугалась еще сильнее. Страх пронизал ее до самых пяток. Мороз, казалось ей, был ничто по сравнению с тем холодом, что леденил внутри. «Да ведь и сани-то, — мелькнуло в голове, — не обычные сани... Это ведь Демесина сани... они и скользят по-другому. Аул, видите ли, от фашистов защищает... попусту лошадь гоняет!.. А ни один человек не смеет и подступиться, а она... одна... здесь ночью... что еще ему взбредет?..»

Демесин и внимания на нее не обратил. Лошадь его иноходью проплыла мимо, мелькнули сани. И не подумал заметить, что бедняжка, оставленная на морозе, точно выполнила его приказ — даже на шажок не отступила в сторону. «Поделом тебе за твою исполнительность!» — в сердцах попеняла себе женщина. Она поняла, что он просто забыл о ней — слышала, когда проезжал, его горячечное возбужденное бормотанье: «Вон они! Там, там...» Своими видениями жил безумец...

Оскорбленная, продрогшая на холоде, она снова расплакалась от бессильной злости. Чего ждать — вскочить на лошадь и мчаться в аул, пока жива, но мысль о двустволке Демесина, готовой тотчас разрядиться, удержала. Хорошо соседям, сидят себе в тепле... Помянула и председателя, и женщин, все еще хоронившихся в своем укрытии, — нет чтобы забеспо-

коиться... Дернула ж ее нелегкая просить за Демесина, трудодни ему, видите ли, выбивать!.. Ездил бы себе...

— Если я закоченею тут, — прокричала, наконец, ему вслед, — ты ответишь! Лучше отпусти, а то сама распутаю коня и сбегу!

Когда это женщина у них кричала? Разве что во сне могло ей такое присниться — и сама, наверное, не заметила, как вырвался у нее этот крик: то ли страх доконал, то ли мороз... «А может, — решила она про себя, и ей стало теплей от такой решимости, — это смелость во мне проснулась... Природа всех оделяет смелостью! Только вот...» И тут едва ли не над самым ее ухом прогремел громовый окрик вернувшегося с очередного круга Демесина: «А-а? Где? Где?!» Молодуха вздрогнула, разом забыв о смелости, возможно, дарованной ей природой.

— Ты кто? — заорал Демесин, срываясь с саней совсем рядом.

— Жена красноармейца Орынша! Член актива колхоза! Не воровка, не думай... — женщина торопилась, словно боясь упустить эту неожиданную возможность растолковать, наконец, безумцу, кто она и зачем оказалась здесь.

— Что тут делаешь?

— Фамилию вашу хотела спросить...

— А?

Лишь закрыв рот, Орынша поняла, как невовремя брякнула о цели приезда. Но слово — не воробей... что сказано — то сказано. Теперь жди, чем дело кончится...

Демесин вглядывался так, точно хотел увериться, в самом ли деле это женщина его аула... «Да не «пашистка» я, — хотелось крикнуть, — я ж по-казахски разговариваю!» В темноте он, похоже, не сумел ее рассмотреть и зажег спичку. «О господи...» — чуть не застонала Орынша, пугаясь новых неожиданностей.

— Э, видел я тебя! — проговорил он. — Только когда — вчера или сегодня?

— Сегодня! — вскричала женщина, чувствуя перемену в настроении Демесина.

— Не-ет! — пророкотал бас. — Вчера!

— Ну пусть будет по-твоему... вчера, вчера... — залепетала Орынша, не представляя, куда повернется мысль этого дикого Стража.

— Верно! Вчера я тебя видел. А лошадь твоя где?

— Вон она... — одеревеневшей от холода рукой Орынша махнула в сторону чуть различимого в темноте животного.

— Верно. Ступай!

О, какое счастье, оказывается, приносит человеку освобождение! Никогда Орынша не осознавала этого так ясно. В эти минуты она не помнила ничего — ни войны, где-то далеко гремевшей; ни того даже, как сиротливо ее ожидание, как ждет не дождется часа возвращения мужа, как молит создателя, чтобы он вернул его домой живым и невредимым... Исчезнуть с глаз долой, скрыться, пока этот чертов Страж не передумал, — эта единственная мысль сделала проворными даже онемевшие на холоде пальцы, когда она снимала путы с лошади. «Скорее... скорее...» — Демесин развалился в санях и не сводил с нее глаз — может, просто хотел дать передохнуть коню, может, еще что. Кто разберется, что там творится под этим неснимаемым треухом...

Стараясь не глядеть на Стража, Орынша взобралась на лошадь и, сдерживая себя, еще до конца не веря удаче, стала медленно удаляться от этого злосчастного места.

— Эй, погоди! — вдруг услышала она, уже порядочно отъехав.

Сердце готово было разорваться в отчаянии, она даже дышать перестала. Придержала лошадь и обернулась: Демесин сидел всё в той же позе, она почувствовала, что он... улыбается.

— Я тебя не вчера, а сегодня, оказывается, видел! — прокричал он, довольный, и бас его далеко раскатился по безмолвной равнине.

Сердце Орынши, подступившее было к самому горлу, вернулось на место. Она дала лошади свободу. «О господи! — пробормотала она, чтобы перевести дыхание, и радуясь, что Демесину только это сказать и потребовалось. — Не все ли равно, когда ты меня видел... вчера! сегодня!.. По мне — хоть в прошлом году, пусть!..»

Только добравшись до ближнего дома, женщина ощутила настоящее избавление — здесь, не в силах сдерживаться, дала волю слезам. От обиды и страха, который претерпела, от унижения и слабости, чисто бабьей слабости, расплакалась она... Тут все во главе с председателем сбежались на плач. Они только-только приняли отчаянное решение пойти на выручку Орынше — ждали лишь сигнала, еще одного выстрела... Но раз Орынша сама объявилась, разумеется, надобность в вылазке отпала...

— Так какая ж его фамилия-то? — поинтересовался кто-то, когда Орынша немного отогрелась в доме председателя, куда ее привели.

— Пес его фамилию знает! — огрызнулась Орынша и принялась рассказывать о своих злоключениях.

Все слушали ее со вниманием, каждый переживал, и никто, думается, не хотел бы оказаться на ее месте.

— Как же мы напишем его фамилию? — с улыбкой спросил председатель, когда рассказ был закончен и все — каждый по-своему — пережили его.

— Сами и узнайте! — отвернулась от всех Орынша.

Молчание нарушила смуглая мужеподобная женщина, греющая у печи спину.

— Э, других забот у нас мало, что ли? Оставьте и фамилию, и этого придурка, будь он неладен! — Она в сердцах махнула рукой. — Может, еще кого собираетесь отправить... с поздравлением?...

— И правда, может, сама сходишь... Слава богу, скроена богатырски! — пошутил было председатель, но женщина приняла его слова за чистую монету.

— Ну да, — взорвалась она, — всем колхозом теперь на поклон к нему, как же!.. И без того уж сердце не на месте... — Глаза ее в возмущении сощурились так, что стали треугольными. — Так и запишем в бумаге — Демесин. Пять кило зерна, ему положенных, он и так получит без фамилии. Кто ж его тут не знает?! Небось, не ошибутся...

На том и остановились. И в официальных бумагах колхоза стало значиться: «Демесин — Страж покоя». С той поры его так и звали — Страж покоя...

Шло время. До самого конца войны так и нес Демесин свою «службу». Зимой — сани, летом — арба, круг за кругом объезжал он аул, ночь за ночью не смыкал глаз.

От принятого раз и навсегда распорядка своей «службы» Демесин не отступился бы ни перед какой силой, и он не раз удерживал на «границе» до рассвета и самого председателя колхоза, а однажды — и представителя из района, которому вдруг в полночь потребовалось выехать из колхоза по неотложному делу. Наутро взбешенный до потери важности представитель, не пожелав вникать в суть дела, категорически потребовал у председателя «гнать этого со службы в три шеи». И чем, дескать, скорее, тем лучше... Ормантай, конечно же, произнес: «Добро!» — и тут же на глазах

начальства оформил письменный приказ на Демесина: освободить, мол, такого-то от работы...

Демесин продолжал «работать». Покой аулчан он охранял без чьего-либо приказа.

Был последний год войны. С фронта шли радостные вести, и народ воспрянул духом в преддверии победы. Демесин, надо думать, ощущал это настроение: он, как бывало, сбыл на базаре зерно, полученное на трудодни, и на все деньги нашел-таки конфет, которые и раздарил ребятишкам...

Однажды близко к полудню в контору председателя ворвалась взволнованная Орынша. Все радости, как и беды, у людей связывались в ту пору с событиями на фронте. Потому председатель с замершим сердцем тотчас вскочил с места.

— Что с тобой? Что-то случилось?

— Идите сюда! — Орынша потянула его за пустой рукав.

Она подвела Ормантая к окну и показала на сани, отчетливо чернеющие на снегу, на лошадь, понуро стоящую перед ними. Солнце уже ярко освещало склон, на котором стояла упряжка, и оттого все просматривалось четко.

— Ну, сани... и что?

Демесин никогда не ездил до полудня, он с рассветом всегда возвращался...

Председатель, почуяв неладное, попятился от окна.

Когда они подоспели к накатанной дороге Демесина, лошадь, которой наскучило, видно, стоять на месте, уже увлекла за собою сани по кругу, знакомому и привычному. В санях, нацелив вперед ружье, сидел недвижимый Демесин. Председатель с Орыншой подались ближе.

— Демесин, а Демесин? — тихонько позвал председатель.

Демесин не откликнулся.

— А где же его тулуп?.. — испуганно шепнула Орынша. Ормантай потянув за узду, остановил коня.

Демесин в санях застыл — мертвый, полураскрыв рот, словно бы желая прокричать что-то напоследок...

Так и отправился он в свое последнее путешествие, не пропустив в аул ни «пашистов», ни других грабителей...

Похоронили Демесина всем аулом через два дня на вершине самой высокой сопки за селением. Чуть в стороне от набитой им за зиму кольцевой дороги. Когда тело Стража опускали в землю, раздался отчаянный крик-плач юноши за спинами провожающих.

— Кокема-а-ай!..

От неожиданности все обернулись на голос. Это был Мутан, три дня назад уехавший на дальнюю колхозную ферму, — тот самый Мутан, которого так безжалостно огрел Демесин камчой в придуманной несколько лет назад игре и который потом провалялся неделю в постели. В день, когда мальчишке надо было ехать на ферму, Демесин принес, оказывается, ему свой тулуп...

Страж покоя окончил свои дни за три месяца до Победы.

После его кончины люди аула еще долго не могли свыкнуться с ночной тишиной и просыпались, тревожимые чем-то...

1979 г.

Перевод с казахского Вячеслава КАРПЕНКО.



Улыкбек ЕСДАУЛЕТОВ

Судьба Поэтов

Мелодии природы

Наших гор голубых краса,
Обрамляющая мой взгляд...
На отрогах твоих — леса,
У подножья — сады шумят.

Огоньками маки цветут
И не гаснут даже в ночи.
И смеются, и вниз бегут,
И скалы целуют ручьи.

Ах, как жаворонок поет...
Опьяняет душу, звеня.
Как прекрасен, полный красот,
Этот мир, что вокруг меня.

Вот поплыли вдаль облака,
Вот их розовый край исчез,
Словно сдернула чья-то рука
Пелену с голубых небес.

Я на небо тогда смотрю,
Все ищу ответ в глубине:
Я от облака говорю,
Коль не пролился дождь во мне.

Разве можно бездумным быть,
Не излиться и не сгорать?..
Человеком как можно быть
И прекрасное не познать?..

Как ходить по этой земле,
Только ненависть затая?

Как обиды копить во мгле
И не слышать смеха ручья?..
И людей, чьи души пусты,
Вас,
Не любящих красоты,
Отвергаю всем сердцем я!..

Перевод с казахского М. КАБАКОВА.

Казахстан

Ты, как лев, могуч и силен.
Хваткой тигра ты наделен.
Реешь в небе славой знамен,
Зажигаешь звездный огонь,
В соловьиных песнях рожден
Казахстан — мой великий дом!

Где тулпары быстрее твоих?
Глас домбры твоей грозен и тих.
Цепи гор молчаливых, крутых,
Волны бурные рек родных
Я люблю от ногтей младых.
Казахстан! Я ничто без них!

Каждый камень — мне дар святой.
Каждый колышек — ратник мой.
Твое сердце — в песне большой.
Ты — мелодии чудной строй
И струн перезвон золотой,
Казахстан!
Очаг мой родной!

Шанырак твой — света поток,
А земля — святыни исток.
Где найдется такой уголок —
Тайна мира, загадка, рок?
Ты кристальный целебный глоток
Наших чаяний, славы, тревог.
Ты велик, Казахстан, и высок!

Пусть сияет справа луна,
Слева солнцем озарена,
Будет звездами жизнь полна!
Обрети же счастье свое.
Пусть Кыдыр с тобой рядом идет,
Пусть Аллах тебе милость дает,
Казахстан — утешенье мое!

Баллада о старце Ашимхане и орлином гнезде

По Маркаколя изумрудным скалам
Старик Ашим меня в поход увлек...
Вдруг, ткнув камчою в синеву,
сказал мне:
— Тот старый беркут —
гнездовой, сынок.

А ну всмотрись в прилавок того пика!
Что за казну он средь камней укрыл?
Ведь там гнездо устроил
беркут-птица
На зависть всем, кто хищен,
но бескрыл.

Там, устремляя жадный взор
в долину,
Кровавой пряжей кормятся птенцы...
— Давайте же!
Подвяжемся ремниной,
Возьмем птенцов
и будем молодцы!..

Восстал тут дед, разгневан,
крут и кряжист:
— Ты кто такой, чтоб судьбы
их вершить?!
Запомни, ты, сырье для
красной пряжи:
Рожденный вольным —
вправе вольным жить.

Перевод с казахского Е. АМЕДИ.

* * *

Разбуди меня завтра рано...
С. Есенин

Разбуди меня утром рано,
Вновь я выгоню в степь овец.
В блестках утреннего тумана
И полынь, и степной чабрец.

Я пройдусь босиком по травам,
По зеленым, сплошным, кудрявым,
И к тебе вернусь, наконец...

Упаду в густотравье, взглядом
Встречу жаворонка вдали.

Лягут сытые овцы рядом
На горячий песок земли.

Я топтал луговую зелень,
Гнезда жаворонков зорил.
Лишь покинув, родную землю
Я мучительно полюбил.

Чуть закрою глаза, как тотчас
Вижу вольности ветерка.
Материнские смотрят очи
Нежно-нежно издалека.

Дождь соломою кроет крыши —
Ходит с солнцем по спинам крыш.
Я вернусь к тебе, мама,
Слышишь?
И ты боль мою утолишь...

Перевод с казахского Н. ЧЕРНОВОЙ.

Из цикла «Песнь листьев»

1. Лето прошло

Лето прошло, а за ним —
молодые лета.
Черпали радость горстями,
не зная предела.
В жизнь мы бросались,
как в бурную реку с моста,
Что будет после — об этом душа
не болела.
Лето исчезло,
и горечь осталась в груди.
Некогда шумные,
нынче живем втихомолку.
Быстрому времени рады б сказать:
«Погоди!» —
Только оно проскочило,
как нитка в иголку.
Лето прошло — пожалеть
не успели о нем.
Были всеядны — и пламя,
и лед поглощали.
Дом за спиной оставляя,
к другому бредем,
Беды нас ждут или радости —
знаем едва ли.
Лето прошло...

Перевод с казахского Л. СТЕПАНОВОЙ.

Судьба Поэтов

Кажыгали Мухаметкалиеву

«Быстрее лети!
Твое чадо змея укусила», —
Услышала мать эту страшную весть.
Из пальца распухшего
яд она выпила весь —
И детское тело оставила
черная сила.

Ребенок лежал на кошме,
но уж пятился мрак,
И жизнь возвращалась —
вершилось великое чудо.
А перед глазами у матери
небо-шанрак
Кружилось, упав со спины
золотого верблюда.

О мир, ты — ребенок.
И в то роковое мгновенье,
Когда для спасения лишних
не будет минут,
К руке твоей хладной поэты
губами прильнут
И выпьют весь яд,
и исполнят свое назначенье.

Перевод с казахского Д. НОВИКОВА.



Александр ТАРАКОВ



Постижение древа

Дуб-патриарх

Жизнь этого исполинского дуба дольше всей истории Руси. Еще не было упоминаний о русах, русичах или россах, а колосс уже возвышался над веками, пустив мощные корни в покатый холм урочища Холодный Яр, что раскинулось неподалеку от славного города Чигирина, который и гетманской ставкой побывал, и Киев подменял в ранге столицы.

Поиссох от времени тридцатиметровый великан, твердь коры броненосной истрескалась под ударами огненных молний, но в поредевшей кроне все еще трепещет, подобно оселедцу казачьему, буйная листва.

По одну от него сторону, в чаше яра, спит вечным сном седая старина. О ней напоминают величественные контуры скифского вала, насыпанного, — трудно представить, — в шестом веке до рождества Христова. Да то долгожителю невдомек. Он часовой Новой эры. Как раз близ яра пролег ее столбовой — Черный Путь. По нему вместе с пестрыми половецкими, несметными татарскими ордами, хищными турецкими полчищами протекли в пелене тумана и сумраке безвременья эпохи.

Многим языкам и наречиям внимала дубрава. Настал черед и Речи Посполитой.

С нею и пошел сыр-бор по сырому бору. Шатровая сень гиганта стала для вольного, отчаянного люда заветной и притягательной. Под прикрытием надежного хранителя тайн сиживали со товарищи, готовя восстания, Северин Наливайко, Павлюк, Богдан Хмельницкий, а затем вдохновитель колиивщины Максим Железняк, чьим именем и назвали могучий дуб.

На исходе минувшего века патриарх лесов было занедужил. Точно по языческой традиции, уважили его *требой* (жертвоприношением), закопав у комля несколько коровьих туш и тем самым подпитав корневую систему.

Оправился древний рыцарь, воспрял, снова сочной листвой осветился, будто и нет позади длинной вереницы столетий. Оберег славянского мира, взирает он на суетную жизнь с господствующей высоты, радуясь продолжению рода богатырского в кряжистых пятисотлетних сыновьях и вихрастых трехвековых внуках. Разверзли они по склонам разлапистые ветви, местами почти в обнимку стоят, гору подпирая и видом своим неодолимым человечий дух крепя.

Здесь вольнолюбивый Кобзарь искал вдохновения и благословения, замахнувшись на былинного склада, пронзительную и напевную поэму «Гайдамаки». Конечно, именно дубу Максима Железняка задает он лирический вопрос с философским подтекстом: «Ой, чого ти, дубе, на яр похилився?»

Что ж, и теперь есть о чем призадуматься мудрому древу. Но поникшим даже в 2004 году я его не увидел. Напротив, он мне напомнил сказочного собрата, цветущего литературной славой у загадочного лукоморья.

И любопытное сообщение пусть не о дубе-земляке, но взрастившей его почве, а я ведь по месту рождения чигиринец, показалось правдоподобным: «Шаг за шагом искали краеведы притоки Днепра и выяснили, что заливы рек Ирдынь и Тясмин являют собой его пересохшее русло, бывшее судоходным тысячу лет назад. Между двумя рукавами реки и находился 130-километровый остров Русь. Вот почему здесь находят фрагменты кораблей и морских моллюсков».

…Шелест листьев в поднебесье словно вторит поэту: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». А если был остров, наверняка и лукоморье имелось. Уж не эти ли места в преломлении во времени узрело гениальное творческое воображение? Не этот ли дуб-основоположник послужил прототипом волшебного вместилища легенд и чудес? Уж ему-то действительно есть что вспомнить и о чем поведать, кого и чего только не перевидел!

Держись же, старче, не хворай. Оставайся для нас примером. Постоянства и прочности. Стойкости и несокрушимости. Служи вечности, добрая сила, властно ратуй со смертью самой!

Божественные оливы

Тучные, нескладные, в растопыренных обрубках ветвей — корягообразные, корой — заскорузлые, удушающе перевитые ствольными жилами, у основания — бутылочно слоновые, эти жрицы вечности продолжают плодоносить. Их восемь, порожденных тысячелетней матерью тысячелетних олив, а «восьмерка» напоминает символ бесконечности.

…От архитектурных шедевров Масличной горы, повторяя тернистый путь Сына Божия и Человеческого, спустился я однажды в библейский и притом совершенно реальный Гефсиманский сад и обомлел от столь архаичного вида священных стариц. Это позже в открытых источниках нашел уточняющую информацию: «В результате радиоуглеродного анализа старейших частей стволов трех деревьев были получены даты — 1092, 1166 и 1198 годы. Тесты ДНК показывают, что все они высажены от одного родительского растения, тоже весьма преклонного возраста». Суммировать — как раз вся новая эра «вместится». Стало быть, старшая часть древесной плоти — свидетельница страстей Христовых, его фатального шествия заповедальной стезей.

Провинциалки империи, плебейки флоры, оливы служили масличному жернову. В пещере неподалеку от сада действовало нехитрое производство. Нехитрое, да государственной важности. Выжимка из малых, но энергоемких плодов цивилизации.

Не оттого ли обыкновенным маслинам была уготована особая роль богомучениц — первострадалиц? Легенда гласит: после того как Иисус Христос был распят, все деревья земли, кроме них, сбросили листья. Когда же их опустошенные горем братья и сестры спросили, отчего так, старшая маслина ответила: «Вы обронили свои листья в знак скорби, но следующей весной они вырастут вновь, я же была поражена печалью в самое сердце, и она не уйдет никогда». Якобы поэтому оливковые деревья всегда иссыхают изнутри.

Или же потому, что были к Нему ближе всех в час роковой и вобрали в себя Его горечь и боль?

Но с тех пор утекли реки времени, эпохи промелькнули, цивилизации сменились. Что же до сих они скорбят, будто черные вдовы? Уж не грех ли какой за собой помнят?

А может быть, не за собой конкретно, а за всем родом масличным?

Если призадуматься, многие к казни провозвестника нового мира причастны. И люди. В том числе, казалось бы, самые преданные (увы, опреде-

ление «преданный» несет два прямо противоположных смысла), апостол ведь, а не случайный прохожий, продал Христа за цену раба, вероломным поцелуем отправив на крестные муки. И камни Голгофы, ранившие ступни. И дерева. Крест распятия, по преобладанию версий, сколотили из кедровых, кипарисовых и… оливовых досок. Откуда же они взялись, как не из Гефсиманского сада?

И круг замыкается. Бог терпел и нам велел. Посему участь живущих — страдать и каяться. Вот и магдалины солнечной Кедронской долины, многие эпохи пережив, инстинктивно тянутся к божьему свету, а покоя все не обретут.

Первояблоня: второе возвращение

Участок был с крутым уклоном. Оттого, должно быть, оставался невостребованным. Один вид вросших в землю валунов явно отпугивал потенциальных дачников. И чудом казалась выстоявшая под камнепадами на самом краешке надела старая сухая яблоня, самосеянец, не иначе. Ее мы намеревались спилить и высадить культуры новейших сортов из помологического сада. Но после того как освободим территорию от скальной породы.

Каково же было изумление, когда обреченная на растопку горюнья-горянка по весне пышно расцвела. Настал срок — и яблочек отведали. Несравненного по вкусу и аромату алмаатинского апорта. Конечно же, рука на такое сокровище не поднялась, и осталась аборигенка полновластной хозяйкой год от года разраставшегося сада.

Не только вкус, фактура, запах — и энергетика в апорте великая! От самого древнего корня пошел, полмира покорил и на родину вернулся, дабы царственную славу обрести. Приглядитесь в ясный солнечный день к изумрудным кронам красавиц Алатау и увидите в распахе ветвей рубины, какие в редких коронах сияют.

История в этом случае отдыхает. Как установила наука, яблоневая линия начала складываться в меловой период, примерно 165 миллионов лет назад, задолго до динозавров и прочих ископаемых органического происхождения. И «точка пектина» как Николаем Вавиловым, так и современными учеными Казахстана, Франции, США, Италии, а также других apple grands определяется в Заилийском и Джунгарском Алатау, где доныне произрастает яблоня Сиверса (официально — Malus Sieversii), по всеобщему убеждению — прародительница всех существующих яблонь. То есть у нас, в Казахстане!

Иностранцы, известно, педанты. Приятный для нас вывод подтвержден генетическими исследованиями 2500 сортов повсеместно выращиваемых яблок.

И если предположить, что в Эдеме были яблони, то они, несомненно, происходили от семиреченского семени. Далее и фантазировать не надо: первоапорт и без ухищрений змия должен был источать и являть своим видом первородный соблазн. Достаточно прочесть описание яблок Юрием Домбровским в «Хранителе древностей» («…лучистые, лакированные, как ярмарочные матрешки, расписанные мазками, пятнами, какими-то вихрями света и зелени»), чтобы их возжелать.

Однако логика библейского повествования указывает скорее всего на фигу, или инжир. Хотя бы потому, что Адам и Ева после грехопадения стали прикрывать срамные места именно фиговым листком — ближайшим подручным материалом.

Как бы то ни было, без искушения не обошлось, поскольку вдоль благоухающих яблоневых кущ пролегал Великий Шелковый путь. Много-

численные караваны запасались кисло-сладкими плодами и «засеивали» жизнестойкими косточками тысячеверстные маршруты, непроизвольно помогая «дичке» скрещиваться с местными подвидами и таким образом приобретать новые качества.

А вот уже время «обозримое». Считается, что с XIV века началась эволюционная репатриация апорта на «родную почву». Со склонов Балкан любимец гурманов Европы через территории Бессарабии и Малороссии неспешно добрался до центральной части России, где задержался и даже был признан царь-яблоком — в честь победителя наполеоновской армии наречен апортом Александра.

Под этим названием и прибыл в 1865 году из Воронежской губернии в Верный — будущий град яблок.

И здесь дальний потомок яблони Сиверса на нее же и был привит. Сорт, по меткому выражению главного знатока апорта Магжана Исина, дал дьявольскую вспышку.

Дело мещан-переселенцев продолжили профессиональные селекционеры, и в начале XX века состоялось триумфальное шествие алмаатинского яблока по всемирным выставкам.

Был спрос — был и рост. К 1970 году количество деревьев апорта достигло в республике 3 миллионов (!).

…А в конце того же переменчивого столетия на яблоневые долины обрушился слепой и беспощадный коттеджный бум. Теснимый со всех сторон, апорт резко пошел на убыль.

От этого очень страдаем, недополучая ценного витаминного продукта. А то, что втридорога импортируем под брендом апорта, лишь отдаленно напоминает шедевральное творение природы и разума.

Радуемся в последние годы, что взыскательные эксперты проявляют пристальный интерес к Malus Sieversii, отмечая выдающиеся конкурентные преимущества «дикарки». Например, цепкие длинные корни, позволяющие древесному уникуму существовать при амплитуде температур от плюс до минус сорока градусов и без особого ущерба переносить засуху и стужу. Способность противостоять болезням и вредителям. И «черепаший век»: триста лет для основоположницы и улучшательницы сортов — норма продолжительности жизни.

Только не стоит обольщаться. Зарубежные партнеры прежде всего нацелены не наш апорт возродить, а свои сорта обновить и усилить. Ни для кого не секрет: мировая яблочная индустрия испытывает кризис, связанный с повышенной восприимчивостью современных сортов ко всевозможным порчам и напастям. Иммунодефицит компенсируется многократными (до 20 и более в течение года) химическими обработками, что негативно сказывается на здоровье потребителей.

Потому пережившая динозавров яблоня Сиверса многим представляется универсальным «растительно-строительным» материалом. Но метод изъятия из ареала здесь явно не подходит. И без того уже многие фруктовые леса предгорий превратились в куртины. А не останется их — и садам не зацвести.

…Между тем, настала пора второго возвращения апорта.

Ханский платан

Платаны мне запомнились колоннадным строем вдоль причерноморской трассы. Инстинктивно отметил их гигантизм и идеальную «перпендикулярность». Вот такие были первоначальные впечатления.

Но, оказывается, не все большое видится на расстоянии вопреки поэтической формуле. А вот когда побывал в Азербайджане, где, кстати, автор крылатого выражения плодотворно потрудился, воспев красоту «персиянок» и подвиг бакинских комиссаров, я к этой горделивой древесной породе проникся искренним уважением.

Не за рост и стать. За достоинство и величие. Величие родовитое. Недаром один из платанов, по-здешнему — чинаров, прозван ханским.

Но, право, непросто его лицезреть. Надо еще расстояния, перевалы и серпантины предгорий Большого Кавказа преодолеть и достичь пределов исторического, как подчеркивают путеводители, города Шеки.

Возраст овеянного легендами «гнезда барсов» и центра ремесленничества определяется в пределах 2500—2600 лет. За это время шекинцы арабский, монгольский, иранский, турецкий гнет испытали. Но не мирились с рабской долей и давали захватчикам решительный отпор, возвращая свободу. Например, в союзе с албанцами разгромили кровавого Помпея.

А с 1744 года, с утверждением на территории современного Азербайджана первого независимого государственного образования — Шекинского ханства, границы этой земли уже никем не нарушались. Здесь процветали ювелирное и медное дело, гончарное, кожевенное производство, шелководство и ковроткачество. А текинская халва и шебеке прославили ханство на весь Восток.

В общем, заслуг перед Отечеством и народами-побратимами накопилось немало, и глобальная организация ТЮРКСОЙ объявила Шеки столицей тюркского мира на 2016 год.

Тогда и посчастливилось в дни торжеств посетить праздничный город. Побродил по ущельям-улицам, знаменитой халвы отведал, ремесленные ряды обошел, до караван-сараев поднялся. Жаль, в них нас не поселили — продолжает исправно выполнять торгово-гостиничные функции.

Особенно же долго задержался во Дворце текинских ханов. Он так прекрасен, что не нахожу слов для описания. И стены, украшенные национальным орнаментом, и сталактитовые переходы к потолочным плафонам, и сами плафоны. А ажурные окна, выложенные прозрачными и красочными пластинками шебеке, просто великолепны. Представляете, каждый квадратный метр вмещает пять тысяч деталей, и эта конструкция исключает применение гвоздей или иных креплений!

Закрываю глаза и пытаюсь воскресить в сознании дивные творения интеллекта и рук мастеров.

Вот, вот, ты велик, человек, и держи выше голову! Именно в таком приподнятом настроении вышел я из ханского дворца и невольно вскинул взгляд на монументальное произведение природы — тридцатичетырехметровый Ханский чинар. Добрых пять столетий возвышается он своей кроной-короной над руинами крепостей и цветущими садами, соединяя прошлое, современность и заглядывая в будущее. Пока времени неподвластный.

Символ алии

Долгое время его считали спасителем, врачевателем. И строителем, а также мелиоратором. Потом пытались превратить в сырье. Теперь, разуверясь в приписываемых качествах, едва ли не к вредителям относят из-за обилия мусора, сыплющегося из области крон.

Его навязывали и во всех значениях слова насаждали. В итоге за обладателем целого ряда неподтвержденных достоинств, приписываемых ныне

к недостаткам, закрепились определения типа «самое идеологическое» и «еврейское» дерево.

Конечно же, вы догадались: это эвкалипт. Эмигрант, ставший в Израиле полновластным хозяином, местами даже теснящий исконную флору и культивируемую растительность.

На Земле обетованной видел эвкалиптовые рощи повыше мачтовых боров, защитные полосы грандиозней верненских линий пирамидальных тополей. И бессистемно торчащие ветвистые великаны тоже. У водоемов, возле жилья, на меже и посреди плантаций.

В одном из кибуцев к стволу приколотили баскетбольный щит, и получилась экономичная спортплощадка. И веревки для сушки белья между светлокорыми «столбами» протягивают, и провода. Так что развенчанному идолу даже к бытовым запросам пришлось приспосабливаться. Что и говорить, переменчива злодейка судьба.

Но как бы то ни было, роль эвкалиптов в истории Израиля, и в особенности алии, нельзя недооценивать. Ожидалось, что он станет ее оплотом и опорой. И верно, дух переселенцев укрепил, и уж во всяком случае, стал надежным спутником нескольких волн миграции.

Трудно вообразить, но первые эвкалипты на новое место жительства и вообще на другой материк прибыли в почтовых… конвертах. Семенами. В 1862 году. Инициативу проявило руководство британских Королевских ботанических садов, давшее соответствующее поручение австралийскому филиалу.

Пока не ведаю и вряд ли узнаю, где находятся райские кущи, но добрую часть основательной, древесной растительности искатели святынь пустили на яростный пламень походных костров.

В дальнейшем долины облысели, и было решено их облесить. Из дневников немцев-тамплиеров следует, что они сажали эвкалипты рядом со своими поселениями с целью осушения болот и развития на отвоеванных участках сельского хозяйства.

На это благое намерение наложилась скорбная «жатва» Первой алии (возвращения евреев на историческую родину), стартовавшей около 130 лет назад. Малярия косила несчастных скитальцев, вознамерившихся наконец-то обрести постоянный причал.

Источником смертоносной заразы был комар, роившийся в смрадных болотах, и «эвкалиптизация» территорий продолжилась нарастающими темпами. В экстазе самообмана обнадежившиеся пионеры Эрец-Исраэля стали было величать эвкалипт хинным деревом. Знаменитый миллиардер и известный филантроп барон Ротшильд в 1888 году профинансировал посадку в израильских местечках миллиона (!) деревьев.

…А в некоторых поселениях между 1930 и 1940 годами ни один ребенок, зараженный малярией, не дожил до двух лет.

И в том же XX веке, в 20-х годах, люди все же уяснили, что эвкалипты не способствуют осушению болот, поскольку корни их легко добираются до подземных вод, полностью игнорируя болезнетворную застойную жижицу. Выходит, не мелиоратор и не врачеватель.

И сосед неважный. Как для жителя города, так и кибуца. Его мощные корни разрушают подземные инфраструктуры, трубы, например, и угнетают культурные посадки.

Пробовали, ввиду обилия древесной массы, в мебельной промышленности использовать, но и тут фиаско потерпели, больно ломкими и непрочными получались изделия.

И невдомек было людям, что не ради их практической выгоды и «не для мебели» перебрался он в Израиль из далекой Австралии и Африки, а

для поддержания миссии алии. Это дерево настолько отождествляется с еврейским заселением, что уже давно стало его символом.

А главное достоинство новообретенного столпа нации, поразительно совпадающее с неодолимым духом еврейства, заключается в его неистребимости.

Истинная правда. И после спиливания дерево обновляется от пня. Всепожирающий огонь оставит эвкалипт без коры и листьев, а почки все равно проклюнутся и начнут работать на возрождение.

И еще один штрих. Несущественный. Этот «железобетонный» монстр — главный медонос Израиля.

Каштан-булава

Скорбящие ивы
в безветрие так хороши,
Их грусть так тиха,
так понятна
и так несказанна.
В них что-то от многое снесшей
славянской души…
Но в бурю, невзгоду
люблю на Украйне каштаны.

Когда налетит на зеленого витязя враг,

Траву расстелив
и хозяйски захлопав дверями,
Листва разбушуется,
как запорожский казак,
Плоды обожгут
и изранят порывы шипами.

Сменяются вихорь за вихрем,
подмогу зовут.
Быть может, наш предок,
далекий, для нас безымянный,
Увидев разящий орех,
изобрел булаву —
На гибель незваным,
для мстящей десницы Богдана.

Согбенная ива не станет прямою —
жива
Народная скорбь,
не тускнеет печальная память.
Но гордо стоит над векам
каштан-булава,
Всечасно готовый
помериться силой с врагами.



Ольга ГРИГОРЬЕВА

Там, где Река

* * *

Дождь по лицу наловчился хлестать
Плетками мокрыми.
Здесь они жили, отец мой и мать,
За этими окнами.
Как бы сейчас забежала я к ним —
С воплями, каплями,
Самым непонятым, самым родным,
Самым оплаканным.
В пышную, стройную, строгую ель
Выросло деревце.
Люди чужие живут здесь теперь,
Только не верится.
Глянуть ли в прошлое? Стекла чисты.
Вот они, рядышком.
Мать молодая стоит у плиты,
Жарит оладушки.
Молча носивший терновый венец
Времени жуткого,
Сидя у печки, читает отец
Маршала Жукова.

Овечкино

Что ты все про высшее да вечное,
В паузах о трудностях бубня…
Жил бы ты на станции Овечкино,
Я бы посмотрела на тебя!

Утром печь топить, почти остывшую,
А потом — на речку, за водой.
А сугробы, друг мой, вровень с крышами —
Ты сперва калиточку отрой!

Лес шумит вокруг — сосновый, лиственный,
И закаты — чудо хороши!
А вопрос стоит один-единственный:
Как по-человечески прожить.

Если есть на свете что-то вечное,
Было и останется вовек —
Это снег на станции Овечкино,
Тихий, мерно падающий снег.

Переводчик

С головой накрывает невидимая волна,
И не важен убогий быт или свет тусклый,
Ведь поэзия — перевод с Божественного на
Русский.
Кто впервые сказал об этом — Бог весть.
Может, это умная мысль, может — ересь.
Но пока хоть один переводчик на свете есть —
Человечество не погибнет,
Надеюсь.
Слушай Голос и не придумывай ничего.
Подбирай слова, учись, доходи до сути.
И не мни себя автором. Все мы только Его
Слуги.
Но когда однажды, рассекая веслом волну,
Увозя меня в никуда, седой перевозчик
Будет требовать плату, я ему протяну
Пару строчек.

Никогда не оглядывайся

Спасай душу свою,
не оглядывайся назад
и нигде не останавливайся.

Ветхий Завет

Никогда, никогда не оглядывайся назад.
Вот оглянешься на мгновенье — и жизнь пройдет.
Соляным столпом замрешь у всех на глазах,
Так жену потерял, спасаясь, послушный Лот.
Так жену потерял, из Аида ведя, Орфей —
Посмотрел, оглянувшись, не выдержал лишний час.
Не оглядывайся, терпи! Лишь вперед, скорей,
Колесницей, поездом, ветром по свету мчась.
Ни к чему вспоминать. Не вернуть ни любовь, ни жизнь.
И зачем тебе лишняя рана, на сердце след?

Нет давно страны, где мы с тобой родились,
И отцов, за нее воевавших, на свете нет.
Прогони эту память, эти химеры прочь,
И тогда пойдут отлично твои дела.
Позабудь язык, страну, родителей, дочь,
Как жена Сальвадора Дали — Гала.
Что еще в эту долгую ночь я могу сказать?
Снова память стучит в висок, прогоняя сон.
Не оглядывайся! Беги! Не смотри назад!
Но на кончиках пальцев уже проступает соль.

Сад на закате

Чудо и радость — осенние радуги.
Капли дождя, как жемчужины слов.
Щедро по даче рассыпаны яблоки
Символом наших ненужных трудов.

Мы раздаем их мешками, авоськами,
Так же, как книжки — родным и друзьям.
Сочные, спелые, только неброские...
Вы приходите, задаром отдам!

Разве сравнится с торговцами резвыми
(Вот уж где яблоки — глянец и блеск!)
Тихое слово, душа и поэзия,
Сад на закате, светящийся весь.

Девочка, женщина...

Я себя чувствую рядом с тобой маленькой девочкой.
Можно уткнуться и плакать в большие ладони твои.
Я себя чувствую рядом с тобой тоненькой веточкой,
Цветом, хвоинкой на дереве вечном любви.
Я себя чувствую рядом с тобой маленькой женщиной,
Слушать готовой вечно твои слова.
Сбудется все, что судьбою для нас обещано.
Сбудется все, и я окажусь права!
Я себя чувствую без тебя бабушкой маленькой,
Брошенной всеми, забытой, совсем седой.
Слабенькой и беспомощной, старенькой-старенькой,
И не желающей ничего, был бы покой...
Но ты возвращаешься вновь — и куда ты денешься!
И исчезают возраст, слабость и груз обид.
Болтая ногами, виснет на шее твоей
девочка.
И на подушке твоей так сладко
женщина спит...

Старые игрушки

Наверное, тех лет не будет лучше —
Мальчишки с нами, молода сама…
Перебираю старые игрушки:
Машинки, куклы, лодочки, дома…
Их оживляли детские ладошки,
Им придавая ценность, вес и смысл.
И ничего, что нет хвоста у кошки,
А старый клоун одноглаз и лыс.
Не знаю, право, что мне с ними делать.
Мне жалко их, но захламляют дом…
Все выбросить? Или отдать соседям?
Или оставить внукам — на потом?
…Теряются наивность, свежесть, резкость,
Пустеет жизни детский уголок.
Когда из мира исчезает детскость,
Становится он скучен и жесток.
Как будто Тот, кто в нас вселяет души,
Дарует разум, сводит ли с ума —
Перебирает старые игрушки:
Людей, машины, лодочки, дома…

Сон пополудни

О, как жестоко усыпляют будни!
Уснув однажды летом пополудни
Смешливой женщиной,
в расцвете сил и лет,
Проснувшись, увидала: день все тот же.
Но где моя прическа, свежесть кожи?
Халатик новый, бабочка, букет?
Их нет.
Но то же, то же, то же,
то же лето!
Лишь почему-то повзрослели дети,
Зачем-то поразъехались — Бог весть.
Сон, обморок, провал…
Годам не верю.
Приснились и любови, и потери.
Приснилось счастье, что, наверно, есть.
Не здесь.

Болит душа за сыновей…

Болит душа за сыновей,
Хотя благополучен вид.
Чем старше, тем болит сильней.
Чем дальше, тем сильней болит.

Зигзагом, молнией, стрелой
Летела жизнь — то мрак, то свет.
Но сыновья мои — со мной,
Роднее их сердечек нет.
Век все безумней и странней,
Как перед гибелью, затих…
Болит душа за сыновей —
И за своих, и за чужих.

Река и речь

Что нужно мне еще, жива пока,
Чтоб душу живу в суете сберечь?
Чтоб за окном моим текла река.
Чтобы во мне текла родная речь.

Какое счастье — жить на берегу
И отражаться в утренней реке.
Какое счастье — говорить могу
И думаю — на русском языке.

Словарь у наших предков был — «речник».
Реченье, речь, речной — так корень схож!
У Иртыша или у полки книг —
Там, где Река, всегда меня найдешь.



Жадыра ДАРИБАЕВА

Страна древних кочевников. Великая степь

О книге Б. Каирбекова «Мир кочевья. Мифы казахской степи. Казахский этикет».

Эта книга приглашает вас в страну древних кочевников: вы оказываетесь в Великой степи с ее историческим величием, природными особенностями, мифами, культами, обычаями и этикетом. И обо всем этом рассказывает вдохновенным слогом замечательный поэт, кинорежиссер, сценарист, этнограф, заслуженный деятель РК Бахыт Каирбеков.

У каждого народа своя история, свое миропонимание, обращенные в легенды, поверья, сказки, обычаи и обряды.

«Как известно из истории, — пишет автор в предисловии к своему весомому изданию, третьей книге «Мир кочевья. Мифы Великой степи. Казахский этикет», вышедшей в 2014 году в г. Астане в рамках реализации научно-исследовательского проекта, — в Центральной и Средней Азии в древности в VIII—VII вв. до н. э. жили скифские племена.

Видный ученый-тюрколог А. Иконников-Галицкий в своих исторических исследованиях заключает: «Древнегреческая культура в это время еще только зарождалась, о Риме не было и помину, и даже Китай едва-едва осваивал письменность. А скифские цари, вожди племенных союзов, сооружали погребальные памятники, сопоставимые по масштабам с египетскими пирамидами, и наполняли их богатствами, которые можно сравнить с сокровищами Тутанхамона. Все это говорит о том, что в VIII—VII вв. до н. э в Центральной Азии существовала мощная держава и расцветала замечательная культура». Со щемящей болью и тоской поэтическая душа автора Бахыта Каирбекова — сына этой великой степи, вопрошает: «Когда же мы увидим эти почти стертые штрихи древней поэзии и письменности, древние купола наших мавзолеев и кварталы наших погребенных городов в каталогах библиотек и музеев мира с правдиво указанными подписями и именами их истинных авторов? Когда привыкнем к мысли, что не мы были «окраиной» культурного мира, что Великая степь была мощной державой и являла миру замечательную культуру?»

Здесь уместно будет привести воззрения выдающегося русского историка, географа и этнолога Л. Н. Гумилева из его книги «Хунну»: «Кочевники Великой степи играли в истории и культуре человечества не меньшую роль, чем европейцы и китайцы, египтяне и персы, ацтеки и инки. Только роль их была оригинальной, как, впрочем, у каждого этноса. Гранича на востоке с древней цивилизацией Китая, а на западе с не менее древней культурой западно-европейского полуконтинента, Великая степь, населенная разнообразными народами с разными хозяйственными навыками, религиями, социальными учреждениями и нравами, тем не менее, всеми соседями ощущалась как некое единство, хотя содержание доминирующего начала ни этнографы, ни историки, ни социологи не могли определить. Почему китайцы не проникли в Европу? Странно, что никто до сих пор не поставил этого вопроса», — вопрошает великий ученый.

«На памятнике древнетюркскому кагану Кюль-Тегину (VIII в.), найденном русским ученым Н. М. Ядринцевым, есть надпись, язык которой относится к орхоно-енисейским памятникам древнетюркской письменности. На огромной каменной стеле высечено обращение тюркского кагана, сделанное в Малой надписи, в основном направленное на возвеличение и укрепление своей власти. Большая надпись посвящена историческому повествованию, которое Бильге-каган начинает с давних времен, он упоминает предка Бумына-кагана и (Истеми-кагана), покорившего народы в четырех концах света и твердо державшего в своей власти племенной союз тюрков. Содержание обоих памятников в основном аналогично. Они составляют рассказы о многочисленных походах и сражениях тюркских войск под предводительством Ильтериса (Кутлуга), Бильге-кагана (Могиляна) и Куль-Тегина. Текст памятника составлен и записан со слов Бильге-кагана его родственником Йоллыг-Тегином», — пишет в книге «Язык памятника Кюль-Тегину: VIII век», — изданной в 1993 году в г. Алматы, ученый-тюрколог Г. Айдаров.

В разделе рассматриваемой книги «Утерянное наследство» автор Бахыт Каирбеков, трактуя и анализируя динамику жизнедеятельности древних тюркских племен, отмечает: «Кочевые народы первыми в истории человечества научились приручать диких коней, плавить металл, ковать железные мечи и стремена, они создали тележное колесо и дальнобойные луки. Благодаря этим новым технологиям они стали повелителями огромной территории, простиравшейся от отрогов Алтая до Уральских гор, от берегов Каспия и Черного моря до побережий Средиземноморья и Адриатики. Подобно солнечным лучам, проложили они дороги через огромное пространство степи и подняли первые города мастеров, в которых так нуждались народы. В городах, ставших центрами металлургии, были плавильни, а также первые гончарные цеха и первые храмы», — так с сыновней гордостью за своих героических и славных предков заявляет автор этой необычной книги.

Далее идет глава с поэтическим названием «Под вечным оком неба» — здесь Бахыт Гафуович раскрывает миропонимание и духовность кочевника.

«Небо представлялось кочевнику огромным всевидящим оком, от него нельзя было скрыться, и потому все, что совершал человек, тотчас поощрялось или каралось всевышним богом Тенгри. Оседлые племена воспринимали кочевников как враждебный фантом, возникающий ниоткуда, из небытия и исчезающий в нем бесследно. «Линейкой» измерения земного пространства служили кочевые племена — вечные путешественники, сверяющие свои маршруты с маршрутами звезд. Кочевники представляли Жизнь потоком, рекой, вечной дорогой, которая берет свое начало на небе. Они верили, что именно там живут человеческие души и в виде «*құт*» (божественной благодати) нисходят на землю, обретают здесь земную оболочку, а когда она одряхлеет и станет для души обузой, возвращаются в заоблачные выси. Получается, что Душа жизни — тоже кочевница! Она тоже вечно в пути. И все поверья кочевого народа — это вечное благоговение перед Потоком. И все обряды казахов связаны с почитанием всякого вида Движения. А все беды, хвори и неудачи — из-за всевозможных преград течению жизни, подводных камней, мешающих ее энергетическому потоку».

Эти духовно-философские суждения автора берут исток из глубины веков, из сказаний и преданий народных певцов и мудрецов. Одним из таких чудесных творений, где отражена степная философия и мудрость, где воспеты храбрость, отвага, сплоченность огузов, становление их миро-

воззрения, обрядов и традиций, — является, дошедшее до нас из глубин VII—IX вв., а в XV—XVI вв. изложенное письменно и в виде рукописи вошедшее во всемирную историю, произведение под названием «Книга моего деда Коркута», — великолепный по языку и стилю эпический памятник тюрков.

«Слово “тюрк” — не этнический термин: оно обозначало политическое объединение разнородных племен. В результате ассимиляции местного ираноязычного населения появляется новое этническое понятие — «среднеазиатские тюрки», которые успешно синтезировали две культуры — иранскую и тюркскую», — пишет известный советский ученый-тюрколог Х. Г. Короглы в своей книге «Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана», вышедшей в 1983 году в Московском издательстве «Наука».

О том, что синий цвет для тюрков ассоциируется с сакральной святостью, известно, наверное, многим. «Синь-Небо и Зелень-Трава — прародители тюркского народа. Удивительно, а может, как раз естественно, что синь-небо и зелень-трава называются на всех тюркских языках одним словом — *«көк»*. За каждым понятием, связанным с миром сакральным, существует в казахском восприятии мира многослойная семантика образов: белый — святость, чистота, целомудрие; красный — заря, расцвет, цветение, пробуждение; зеленый — цвет лета, жизнелюбия, полноты чувств, солнечная энергия», — так заключает Бахыт Гафуович эту главу.

В следующем разделе «Зеркало мира» автор говорит о мировосприятии кочевника. «Кочевники проецировали земное существование на ситуацию в небесной сфере, а значит, там тоже, по их представлениям, стояла юрта, паслись кони и водились разбойники — конокрады. Например, в казахской космогонии Мировая Юрта привязана к Железному колу — *Темір қазық* (так зовется Полярная звезда). «Пока на небе свершается своя жизнь, а на земле своя — ничто не грозит людям. Но любое нарушение и даже намек на него могут повлечь за собой мировые катаклизмы, считали кочевники», — пишет Бахыт Гафуович.

В главе книги «*Көк Тәңірі*» (Тенгри) автор размышляет о культе Вечного Синего неба — Тенгрианстве. «Тенгрианство как одна из древнейших религий степи возникло среди северных и северо-западных кочевников — предков тюркских и монгольских народов. В XII в. до н. э. проникло в Китай и стало важнейшим понятием китайской мифологии и философии», — говорит автор и далее приводит выводы французского исследователя Ж. Ру, который отделил тенгризм от шаманизма, господствовавшего у тюрко-монгольских народов в добуддийский и доисламский периоды.

«Как свидетельствуют разноязычные источники, в первую очередь, персо-арабоязычные и китайские, — пишет ученый — историк А. Ш. Кадырбаев, опираясь на исследования знаменитых мировых историков, в своем издании «Казахстан в эпоху Чингисхана и его преемников», вышедшем в г. Алматы 1992 году, — огромные территории современного Казахстана накануне монгольского нашествия в XII — начале XIII вв. занимали государственные образования тюркоязычных племен кипчаков, канглы, карлуков, найманов, империи каракитаев и хорезмшахов. Причем район их расселения охватывал и другие территории — кипчаки занимали южно-русские степи и степи Северного Кавказа, немало их вместе с канглы было в Хорезме. Канглы жили в Приаралье, Семиречье и Прииртышье, а кипчаки расселились от Алтая до Дуная. Карлуки и каракитаи, обитая на землях преимущественно Восточного и Юго-Восточного Казахстана, жили также в Средней Азии и Восточном Туркестане. Найманы кроме Восточного Казахстана и Горного Алтая занимали земли

Северо-Западной Монголии, от верховьев Селенги и Орхона до Тарбагатая. Киреиты обитали в Северной Монголии, около реки Толы и среднего течения реки Орхон».

Опустошительные войны монголов — величайшая трагедия средневековья, со страшными последствиями: были стерты с лица земли целые города, в их числе три южно-казахстанские: Отрар, Сыганак, Талас, население которых было полностью уничтожено и в пепел превратилась огромная библиотека — хранилище величайшей тюркской цивилизации и духовного этикета наших предков.

Ассоциативная утонченность восприятия и исследовательский дар помогают Бахыту Каирбекову, как отмечает он сам, «глубже понять мировоззрение кочевников, которые тонко улавливают гармонию Верха и Низа, Тьмы и Света, Начала и Конца, — это основное правило казахского этикета — соблюдать иерархию Неба и Земли».

«Солнце на небе воспринималось древними людьми как Око, взирающее с небес. Оно для кочевника символизировало Радость, Надежду и Счастье, т. е. все то, что могла подарить человеку земная жизнь. «Жить» — по-казахски «*күн көру*» — видеть каждый день свое божество — Солнце. С Солнцем связан праздник Наурыз, который празднуют в степи в день весеннего равноденствия», — пишет автор в главе «Космогония».

«Тюрки, в отличие от персов, не утверждают, что мир (Тенгри) был сотворен в день Наурыза. Навруз — символическое обозначение Начала мира, с которого, естественно, начинается и новое летосчисление (каждая новая религия первым делом всегда вводила свой новый календарь), — отмечает автор в разделе «Сотворение мира» и далее аргументирует: «Многие исторические источники и археологические данные свидетельствуют о том, что Навруз оформился и распространился еще в глубокой древности среди оседлого земледельческого ираноязычного населения. Происхождение праздника связывают с культом Солнца и именем легендарного пророка Заратуштры. Учение Заратуштры направляет человека кочующего к оседлости, вменяя в священную обязанность своим последователям занятие земледелием и скотоводством, расценивая это как подвиг благочестия», — так автор вводит читателя в мировоззренческое восприятие зороастризма.

«С этого дня «месяца нисана» (март—апрель) европейского календаря Заратуштра повелел своим адептам праздновать начало нового мира, провозгласив единобожие на земле индоариев. Возложив на своих последователей эти две обязанности — индивидуальную пятикратную молитву и семь празднеств, Зороастр создал религиозную систему огромной силы и обеспечил новой вере способность сохраняться на протяжении тысячелетий», — пишет Бахыт Каирбеков, приводя эти аргументы из книги М. Бойс «Зороастризм. Верования и обычаи», изданной в г. Москве издательством «Наука» в 1987 году. «Также М. Бойс утверждает, — отмечает Бахыт Каирбеков, что Заратуштра узаконил понятия о Рае и Аде, тройную основу веры: благую мысль, благое слово, благое дело, а также ввел в оборот новый календарь, в котором, известном еще в Древнем Египте, в году было 12 месяцев по 30 дней и Благая Пятерка (5 дней), которую добавляли перед днем весеннего равноденствия». И далее: «Такое деление года казахи сохраняли до середины 20-х годов XX века, — возможно, что древневавилонский календарь перешел к казахам (как и ко всем тюркоязычным народам) через религию Заратуштры (Авесту)», — говорит он в разделе «Сотворение мира». «Наурыз» в персидском языке обозначает именно «Новый день», казахи словом «Наурыз» называют праздник Нового года. В этом разделе автор, опираясь на различные источники, заключает: «Как

считали древние люди, праздник Нового года следует отмечать только тогда, когда свет одержит победу над тьмою, когда холод зимних ночей сменится теплом первых лучей. Празднуя окончание старого года и начало нового, мы повторяем акт Первотворенья. Ритуал помогает ощутить связь с Космосом, с чем-то очень древним, придавая нам на миг ощущение причастности к Вечному».

В разделе «Философия пути» есть такие пожелания-обереги автора: «Человек все время находится между двумя противоборствующими силами — Добром (Кие) и злом (Кесір), а чтобы всегда побеждало Добро, он желал другим хорошего и поступал так, чтобы Зло оставалось в дураках. Пожелаем же друг другу Добра и будем придерживаться тех правил, которые соблюдали в Степи с давних времен, — дабы нас оберегали добрые духи и не сглазили злые. И да поможет нам великий Тенгри!» — торжественно восклицает автор.

Мы тоже пожелаем этой книге Бахыта Каирбекова доброго пути к сердцам читателей. Особенно юных читателей. Пусть эта книга откроет для них тайны истории, народных поверий, преданий и легенд, сакральную символику обрядов, игр и быта, с пожеланиями и запретами, связанными с поэтическими представлениями степных кочевников о вечности, гармонии неба и земли.

Этот огромный исследовательский труд Бахыта Каирбекова раскрывает многовековые ценности и устои нашего народа. Данная книга может достойно продолжить свой путь в рамках Программы Президента РК Н. А. Назарбаева «Духовное и историческое культурное наследие. Модернизация общественного сознания».





Альберт Эллсворт ТОМАС

Вон из кухни!
По мотивам одноименного романа Алисы Миллер

Комедия в трех актах

От переводчика

Признаюсь, есть у меня одна маленькая слабость. Я очень люблю читать пьесы. Разумеется, хорошие… Но особенно смешные. Помнится, в детстве просто запоем глотала внушительное многотомное издание произведений Лопе де Вега. ***Полн. собр. соч.,*** *как любят выражаться иные завзятые книгочеи. Ну, и всех остальных драматургов тоже не обделяла своим вниманием. Словом, с большим удовольствием читала подряд все драматургические произведения, которые попадались на глаза, наслаждаясь тем, что могу своим внутренним зрением вообразить и представить себе, как все это будет разыгрываться при свете рампы.*

Наверняка не одна я такая. А потому уже заранее радуюсь за потенциальных читателей, пылко любящих драматургию в ее, так сказать, печатном виде. Ибо предлагаю их вниманию очень забавную, очень легкую и остроумную комедию «Вон из кухни!», написанную более сотни лет тому назад известным голливудским киносценаристом Альбертом Эллсвортом Томасом (1872—1947) по мотивам одноименного романа Алисы Миллер (1874—1942), весьма популярной в те годы американской писательницы и поэта. Роман вышел в свет в 1916 году, и в тот же год появилось уже сценическое прочтение книги. Пьеса Томаса с большим триумфом была поставлена практически во всех ведущих театрах США и имела просто оглушительный успех. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что уже в 1919 году пьеса была экранизирована и на свет появилась немая лента с тем же названием, тоже получившая свою долю популярности и славы в прокате. А потому неудивительно, что спустя каких-то пару-тройку десятилетий Альберт Эллсворт Томас вместе с Алисой Миллер снова вернулись к старому сюжету, совместно переработали прежний сценарий, и на экраны вышла повторная экранизация пьесы, уже звуковой кинофильм под названием «Весна в Парк-Лейн». Случилось сие событие в 1948 году, к сожалению, уже после того, как соавторы ушли из жизни.

Внешне незатейливый сюжет, типичный ситком, выражаясь современным языком, но при этом пьеса подкупает и читателя, и зрителя своим искрометным юмором, динамичным развитием действия, яркими колоритными персонажами, не повторяющими друг друга ни в чем. Словом, актерам есть что играть, а зрителям есть на что посмотреть.

Впрочем, удивляться здесь нечему. Ведь Альберт Томас (просьба не путать с англичанином Брэндоном Томасом, автором бессмертной комедии «Тетушка Чарлея», по мотивам которой снят всеми любимый телефильм «Здравствуйте, я ваша тетя»), так вот, американец Томас был маститым и

признанным сценаристом, одним из столпов тогдашнего Голливуда. Достаточно лишь сказать, что за тридцать лет работы в Голливуде (с 1917-го по 1947-й) он написал около двух десятков киносценариев, которые все как один пошли в работу и стали полноценными художественными кинофильмами, причем весьма успешными с точки зрения коммерческих показателей. Между прочим, единственный огрех, который я, как переводчик, могла бы предъявить автору комедии, это как раз его киносценарное прошлое. Уж очень он детализирует все мизансцены, скрупулезно просчитывая буквально каждый шаг своих героев: где стоять, в какой позе замереть, что держать в руках в тот или иной момент. Такие пространные авторские ремарки, наверное, вполне уместные в киносценариях, тем более, предназначенных для немого кино, при чтении пьесы немного отвлекают от главного и несколько сковывают собственные фантазии читателя. Хотя сдается мне, что едва ли театральные режиссеры, взявшиеся в двадцатые годы прошлого века за сценическое воплощение комедии Томаса, так уж неукоснительно следовали всем указаниям автора. В конце концов, где и как стоять, решает уже сам актер по ходу действа.

И еще одна небольшая, и я бы даже сказала, забавная деталь, характеризующая величайшую скрупулезность Альберта Томаса в том, что касается его работы. В моей библиотеке имеется книга с одним из первых изданий его пьесы, датированная 1921 годом. Книга была издана в нью-йоркском издательстве «Сэмюель Френч», специализировавшемся именно на издании драматургических произведений. Книга не только проиллюстрирована фотографиями, сделанными по ходу спектаклей в разных театрах (даже обложка украшена портретом известной театральной актрисы тех лет Гертруды Элиот, одной из первых исполнительниц главной роли, запечатленной в костюме своей героини), но имеет и обширное приложение, в котором автор уже графически изображает расстановку декораций и расписывает основные мизансцены во всех трех актах пьесы. Отдельным списком идет подробнейшее перечисление всего необходимого реквизита, более смахивающее на акт инвентаризации имущества в какой-нибудь солидной фирме. И в нем не забыта ни одна мелочь, начиная от продуктов в кухне, количества вилок и ножей на сервированном столе и кончая числом тарелок, которые будут разбиты по ходу действа. Вот такая вот поистине киношная детализация пьесы.

И еще буквально пару слов о той, благодаря которой и появилась на свет сама пьеса. Алиса Миллер была широко известным поэтом и прозаиком своего времени. Она родилась в Нью-Йорке, в респектабельной и богатой семье выходцев из Новой Англии, всегда гордившихся своим происхождением и своими предками. Достаточно сказать, что все прапрадеды будущей писательницы, как по линии отца, так и по линии матери, участвовали в борьбе за независимость Штатов, а один из них, сенатор Ральф Кинг, известный американский юрист, политик и дипломат, был среди тех, кто скрепил 17 сентября 1787 года подписями Конституцию США.

Одно из самых известных произведений писательницы, помимо жизнерадостной комедии «Вон из кухни!», — это ее роман в стихах «Белые скалы», увидевший свет в 1940 году. Американские историки утверждают, что именно этот роман, действие в котором относится к периоду Первой мировой войны, всколыхнул общественное мнение в Соединенных Штатах, подтолкнув правительство к скорейшему принятию решения о вступлении в военные действия против Германии и Японии.

Сегодня трудно утверждать, что именно так оно все и было на самом деле, но все же когда читаешь, к примеру, вот такой монолог главной героини (привожу подстрочный прозаический перевод стихотворного отрывка)

Я родилась и выросла в Америке
И здесь, в Англии, видела много такого,
За что эту страну можно ненавидеть
И за что ее можно простить.
Но в любом случае я не хочу жить в мире,
В котором больше не будет Англии…

то понимаешь, что утверждения американских литературоведов и историков имеют под собой основание. Кстати, не напоминают ли вам, глубокоуважаемые читатели, эти строки недавнее высказывание Владимира Путина о том, что он не хотел бы жить в мире, в котором не будет России. Вот такая вот неожиданная перекличка времен у нас получается.

В любом случае, я желаю всем приятного времяпрепровождения за чтением комедии «Вон из кухни!» с надеждой на то, что наши театральные режиссеры обратят внимание на эту пьесу и дадут ей новую сценическую жизнь. Уже на подмостках наших отечественных театров. Вот здорово было бы!

Действующие лица:

Бертон Крейн — миллионер из Вашингтона, 30 лет.
Солон Такер — его адвокат и гость, 55 лет.
Пол Дейнджерфилд (он же Смитфилд) — 25 лет.
Чарльз Дейнджерфилд (он же Бриндлбери) — 16 лет.
Рандольф Уикс — поверенный Дейнджерфилдов, 30 лет.
Томас Лефертс — поэт, 28 лет.
Оливия Дейнджерфилд (она же Джейн Элен) — 22 года.
Элизабет Дейнджерфилд (она же Араминта) — 20 лет.
Миссис Фолкнер — сестра Такера, 50 лет.
Кора Фолкнер — ее дочь, 24 года.
Аманда — чернокожая нянька Оливии, 60 лет.

Время действия — 20-е гг. XX столетия.

Место действия — фамильное поместье Дейнджерфилдов в штате Вирджиния (США).

АКТ 1

Гостиная в особняке Дейнджерфилдов, огромное, немного помпезное помещение, типичное для родовых поместий аристократического Юга. В левом углу комнаты возле окна — камин. На заднем плане сцены слева — дверь в холл. Она распахнута, и виднеются ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж. Вся обстановка и убранство комнаты выдержаны в так называемом колониальном стиле. Однако былые роскошь и красота производят впечатление некоторой обветшалости. Над камином висит портрет одного из прежних владельцев имения в форме лейтенанта армии конфедератов. На каминной полке стоят часы и миниатюра в позолоченной рамке, на которой изображена молоденькая девушка в наряде времен средины XIX века.

На сцене — Элизабет, Чарли и Пол Дейнджерфилды. Чарли сидит в правом углу, Элизабет в дорожном костюме и шляпке сидит слева возле стола, Пол стоит в центре сцены. По всему видно, что семейство готовится к отъезду. Пол — самый старший из четверых детей Дейнджерфилдов. Высокий, стройный и очень серьезный молодой человек. Лицо его уныло и даже мрачно. Однако уже при первой встрече с ним сразу же складывается впечатление некоторой инертности и пассивности. Элизабет на несколько лет младше брата. Хорошенькая юная особа, немного склонная к полноте, которая, впрочем, ее совсем не портит. Девушка капризна и вечно всем недовольна. Чарли еще совсем подросток, порывистый, стремительный, веселый. Когда поднимается занавес, все трое молчат.

Пол *(некоторое время молча прохаживается по сцене)*. Да, старое гнездо будет скучать без нас! *(Пауза.)* Ведь столько лет Дейнджерфилды безвылазно прожили под этой крышей. *(Молча рассматривает портрет над камином.)* По-моему, дед явно не в восторге от нашего замысла. У него такой укоризненный взгляд. Не волнуйся, старик! Все в полном порядке! Понимаю, тебе не по душе перспектива остаться в доме с глазу на глаз с этим надутым миллионером-янки. Но ты уж потерпи, ладно? Всего каких-то шесть недель!

Чарльз *(поднимается и идет к столу)*. Потерпи, дедуля, потерпи! Видишь ли, у нас тут созрел гениальный план. *(Садится в кресло справа от стола.)* Точнее, нам в голову пришла спасительная мысль. А потому не вижу поводов для грусти, дед. И потом, мы ведь не навсегда тебя бросаем. Просто нам нужны деньги…

Пол. Ничего себе просто! Да они нам позарез нужны, эти проклятые деньги!

Элизабет *(берет миниатюру и ставит перед собою на стол, потом начинает говорить своим вечно недовольным тоном)*. А вот мне вся эта ваша затея совсем не нравится. Да, не нравится, не нравится, не нравится! Я с самого начала говорила, что лично я против.

Пол *(подходит к столу справа)*. Бог свидетель, ты это говорила. Наверное, уже раз сто повторила! Право же, мне делается плохо от одного только звука твоего голоса.

Элизабет. Уверена, папа и мама никогда бы нас не одобрили.

Пол *(садится в кресло справа от стола)*. А что прикажешь делать? Как умеем, так и изворачиваемся, мэм! Самим ведь приходится выкручиваться… Не будь папа так болен, все было бы по-другому. Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что родители уже почти год как в отъезде?

Чарльз *(останавливается возле спинки стула по центру сцены)*. На следующей неделе как раз ровно год.

Пол. Переезжают с одного курорта на другой, и все без толку! Отцу только хуже и хуже.

Чарльз. Вот именно! От плохого к худшему, так, кажется, говорят.

Элизабет *(встает и идет к центру)*. Чарли! Как можно шутить на эту тему?

Чарльз *(поворачивается к ней лицом и останавливает ее)*. Прости, сестричка! Честное слово, я не хотел. Ты же знаешь, я готов отдать руку на отсеченье, только бы отец поправился.

Элизабет *(воодушевленная внезапно пришедшей ей в голову блестящей идеей, подходит к Полу)*. Пол, а что если нам заложить имение? *(Обходит вокруг стола.)*

Чарльз *(весело смеется)*. Что ж, давай попробуй!

Пол *(со смехом)*. Да будет тебе известно, дорогая моя Бесс, что если сложить все закладные на наш дом в одну кучу, то все вместе они потянут не меньше тонны. Так-то вот! Такой вес ни одна крыша не выдержит.

Ч а р л ь з. То-то, я смотрю, как только дождь, так у нас в гостиной лужи. *(Подходит к столу и садится слева.)*

П о л *(останавливается сзади, гладит корешки книг)*. Первая закладная на этот дом была выдана еще тогда, когда его только-только начинали строить. Не успели въехать, а уже заложили. А потом закладная стала потихоньку размножаться и плодиться, от нее отпочковались уйма новых закладных, и они на сегодняшний день все как одна целы и невредимы! Ранди Уикс сказал мне недавно, что никто в здравом уме и трезвой памяти не даст под наше имение и цента, даже если нам, его хозяевам, будет грозить голодная смерть.

Э л и з а б е т *(сидя в кресле, задумчиво)*. Ах, и зачем только папа повздорил с дядей Джеферсоном!

П о л. Да, действительно, зачем? Умудрился испортить отношения с единственным Дейнджерфилдом, у которого водятся хоть какие-то деньги. Но что сделано, то сделано. Спасибо тетушке Жозефине за то, что хотя бы согласилась приютить нас на эти шесть недель. Бедная старушка! От нее грех требовать большего.

Э л и з а б е т. Ох, не нравится мне все это… *(Обходит сзади стул слева от стола и обращается к Чарли.)* Не нравится! Сам подумай, что скажут люди, когда все узнают?

П о л. А что они, интересно, скажут, если мы не сумеем в срок рассчитаться по закладным, а?

Э л и з а б е т издает раздраженное восклицание.

Ч а р л ь з. Все, хватит, Бесс! Сейчас не время устраивать сцены. Как говорится, жребий брошен! Лучше подумай о деньгах. Как-никак 5000 долларов.

Э л и з а б е т. 5000 долларов за шесть недель! Ты только представь себе, Пол! Этот человек, должно быть, спятил. Какой ужас! Мало того, что мы сдаем внаем наш дом северянину, так, в придачу, еще какому-то сумасшедшему.

П о л. Успокойся, ради бога! Никакой он не сумасшедший. Обычный богатей, которому наплевать, сколько нужно потратить денег, чтобы заполучить то, что ему хочется. Вот сейчас, к примеру, ему взбрело в голову пожить шесть недель в разгар охотничьего сезона в какой-нибудь старинной южной усадьбе.

Э л и з а б е т *(подходит к левому стулу у стола)*. Мне это все очень не по душе!

Ч а р л ь з *(нетерпеливо вскакивает с места и идет к центру сцены)*. Да пусть тебе хоть сто лет не по душе, Бесс! Только ради всего святого, прекрати все время твердить одно и то же, как заведенная.

Э л и з а б е т *(садится на стул)*. А тебя, что, сильно воодушевляет этот план, да? Признайся честно!

П о л *(подходит к каминной полке)*. Конечно, хорошего в нашей затее мало. Но мы ведь только…

Э л и з а б е т. А все Ливи! Она виновата. Это она вас сподвигла на откровенную авантюру.

Ч а р л ь з *(подходит к Элизабет сзади и впивается руками ей в плечи)*. В чем, интересно знать, она виновата? В том, что у нее больше здравого смысла, чем у всех нас, вместе взятых? Или в том, что родители вот уже год как в отъезде и мама пытается спасти жизнь отцу в заграничных клиниках? А мы здесь сидим без гроша за душой и понятия не имеем, где и как раздобыть деньги? Но когда Ливи приходит в голову дельная мысль, ты вместо того, чтобы поддержать сестру только хнычешь! *(Сжимает ее*

плечи с такой силой, что она вскрикивает.) Видите ли, сдать эту старую развалюху в аренду на шесть недель ниже нашего драгоценного достоинства. Ах ты, боже мой! О каком достоинстве ты печешься, моя дражайшая сестрица?

П о л *(подходит к Чарльзу и хлопает его по плечу, затем останавливается у стола).* Прекрати, Чарли! *(Снова возвращается к камину.)*

Ч а р л ь з *(не обращая внимания на брата).* Конечно, это ниже нашего достоинства. А где будет наше высокочтимое достоинство, если мы все умрем с голоду?

Э л и з а б е т. Вот уж что-что, а голодная смерть нам точно не грозит.

Ч а р л ь з. С чего ты так решила? Мы запросто можем умереть с голоду, или превратимся в попрошаек, или, что еще страшнее, пойдем к кому-нибудь в нахлебники. Тебя лично какой вариант устраивает больше?

Э л и з а б е т. Меня? Говорю же тебе, мне все это не…

Ч а р л ь з *(вскидывает руки вверх с театральным пафосом).* Умоляю тебя, Бесс! Заклинаю! Замолчи же, в конце концов!

Э л и з а б е т поднимается со стула и усаживается перед столом.

Ч а р л ь з поворачивается и быстро идет в правый угол.

В глубине сцены появляется О л и в и я. Она на пару лет старше Ч а р л ь з а. Среднего роста, стройная и грациозная девушка с серо-голубыми глазами, волосы светло-каштановые, подвижные черты лица. Она, безусловно, самая красивая в семье, кокетливая, веселая, импульсивная, с хорошим чувством юмора. Такая легко может вскружить голову любому. Она тоже в дорожном костюме. При появлении сестры Э л и з а б е т встает.

Ч а р л ь з *(в правом углу).* Привет, Ливи! Слава богу, наконец-то ты пришла!

О л и в и я *(стоя в центре).* А в чем дело?

Ч а р л ь з. Вразуми Бесс, пожалуйста. Ибо нашему терпению приходит конец. *(Направляется к клюшкам для гольфа.)*

О л и в и я *(подходит к сестре).* Что случилось, Бесс?

Э л и з а б е т. Я лишь сказала то, что повторяла уже десятки раз. Мне не нравится, что наш старый фамильный дом превращается в меблированные комнаты для какого-то незнакомого янки. Не уверена, что мама и папа придут в восторг от нашей затеи, когда они все узнают.

О л и в и я. Согласна, дорогая. Восторга это у них не вызовет. Впрочем, как и землетрясение или цунами, к примеру, случись оно в нашем доме. Вы готовы? *(Идет в левый угол к столу.)*

П о л. Ждем Джека Керли. Он должен из города привезти слуг. *(Медленно прохаживается по сцене.)* А на обратном пути подбросит нас к поезду. Нам придется подождать на вокзале не больше часа. Еще успеем на ужин к тете Жозефине. *(Закрывает дверь, затем подходит к Оливии и становится справа от нее.)*

Э л и з а б е т. Вот-вот! Еще и слуги! Почему, скажите на милость, нельзя оставить дом на наших верных старых слуг? Все они проверены в семье Дейнджерфилдов десятилетиями преданной службы. *(Оливия идет к ней навстречу, а Пол снова возвращается к камину.)* Так нет! Вместо этого выписывают бог знает кого из Вашингтона. Мы этих людей в глаза не видели. Как можно им доверять?

П о л. О, со слугами все в полном порядке, не переживай. У них отличные рекомендации.

Э л и з а б е т. Эти тупые янки ничего не смыслят в слугах. Всем известно, что негры из Вирджинии — лучшие слуги в мире. Могли бы хоть это усвоить там у себя на Севере.

О л и в и я. Ты как всегда права, дорогая. *(Меняет тему разговора.)* Мне кажется, твоя шляпка немного съехала набок.

Э л и з а б е т. Не может быть! *(Поспешно направляется к зеркалу в проеме между окнами.)*

Ч а р л ь з *(с раздражением).* Бесс меня уже достала, честное слово. Ты только представь, как она будет нудить все эти шесть недель со своими бесконечными разговорами о нашей фамильной чести, втоптанной в грязь.

О л и в и я *(подходит к брату, неожиданно хватает его за руку и начинает внимательно рассматривать пальцы).* Что это?

Ч а р л ь з. Что, что?

О л и в и я. Снова сигареты?

Ч а р л ь з *(раздосадованно).* Отстань! Я не могу бросить курить. Это выше моих сил. *(Идет в правый угол.)*

О л и в и я идет следом.

В глубине сцены появляется А м а н д а — толстая коротышка, типичная старая няня-негритянка. Она несет небольшой саквояж с инициалами О л и в и и. Вид у нее очень расстроенный.

А м а н д а. Вот ваш саквояж, мисс Ливи.

О л и в и я. Пожалуйста, поставь его у двери.

А м а н д а. Слушаюсь, мисс Ливи. *(Ставит саквояж на стул слева от двери и роняет из рук тряпку, которой она протирает пыль.)*

О л и в и я. Слуги уже уехали?

А м а н д а. Да, все уехали. И Сэм, и Уош, и Джеф, и Лиза.

Э л и з а б е т берет свой саквояж со стула и переставляет поближе к окну.

О л и в и я *(Аманде).* Ты хорошо запомнила все, что я тебе сказала? Поживите это время в деревне. А когда гости уедут, за вами пришлют. И чтобы никто из вас и близко к дому не подходил эти шесть недель. Понятно?

А м а н д а *(со слезами в голосе).* Целых шесть недель! Да я же умру от тоски без вас, моя голубушка-госпожа!

О л и в и я. Не плачь, няня. Мы скоро вернемся. Вот увидишь. А пока ступай. Да! И не забудь покормить моих голубей.

А м а н д а. Слушаюсь, моя госпожа! Старая Аманда ничего не забывает. *(Направляется к двери, потом останавливается.)* Одно вам скажу, мисс Ливи. Этот янки, он, должно быть, большой чудак. Берет каких-то белых слуг бог знает откуда. Нас всех выставляют вон. Ах, мисс Ливи! И как я вас отпущу одну без меня? Вы же везде только со мной ездили. Помните, когда вы были еще совсем маленькой девочкой… Я вас одной рукой могла тогда поднять… Родители повезли вас в Нью-Йорк. И я тоже ездила вместе с вами.

О л и в и я. Помню, няня, хорошо помню.

А м а н д а. Ваш папенька, мистер Дейнджерфилд, был таким важным человеком… писал всякие законы в Белом доме, да?

О л и в и я. Да, Аманда, да.

А м а н д а. А можно, я сейчас тоже поеду вместе с вами? Мисс Ливи, солнышко мое, можно?

О л и в и я. Я уже тебе говорила, Аманда. У тети Жозефины такой крохотный домик. Там и для нас едва хватит места. А уж для тебя точно не будет. *(Садится на ручку кресла в левом углу сцены.)*

А м а н д а. Да разве мне надо много места? Я и на полу могу в случае чего поспать, и вообще…

О л и в и я *(ласково, но твердо).* Нет, Аманда, и еще раз нет. Все решено.

А м а н д а. А я вот не хочу оставлять вас одну, мисс Ливи. Не хочу бросать свою крошку, свою дорогую хозяйку.

О л и в и я. Все, Аманда, хватит! Не глупи! *(Берет ее за руку.)* Ступай, милая. Все будет хорошо. *(Подталкивает Аманду к двери и возвращается к столу.)*

А м а н д а *(стоя в дверях).* Ах, мисс Ливи! Кабы вы только знали…

Все поворачиваются к ней.

О л и в и я. Что знали?

А м а н д а. Я вчера такой сон видела, ужас какой нехороший сон…

О л и в и я *(смеется).* Да будет тебе, Аманда! Тебе вечно плохие сны снятся.

А м а н д а. Да, мисс Ливи! Но такого страшного сна я еще никогда не видела, вот вам крест. *(Уходит.)*

О л и в и я *(глядя на удаляющуюся Аманду).* Смотри же, не забудь, что я тебе говорила.

А м а н д а. Аманда никогда ничего не забывает. Аманда всегда все помнит. *(Извлекает письмо из кармана в переднике.)* Ой, совсем забыла, батюшки святы! Вот письмо для вас. Сегодня утром пришло. А так-то я ничего не забываю, у меня еще, слава богу, хорошая память, деточка. Как у молодой. *(Уходит.)*

П о л. Ливи, от кого письмо?

О л и в и я *(разглядывает конверт).* От мамы!

Ч а р л ь з. Откуда она пишет? *(Подходит к Оливии и заглядывает через ее левое плечо.)*

О л и в и я *(вскрывая конверт).* Из Швейцарии.

П о л. И что там? *(Садится на стол напротив Оливии и наклоняется к ней.)*

Э л и з а б е т *(придвигает свой стул поближе к Оливии).* Как папа?

О л и в и я *(читает вслух).* Лозанна, 23 октября. Мои дорогие дети! Вы, конечно, ждете от нас новостей, волнуетесь, как мы тут с папой на чужбине. Наверное, вы уже получили мое первое письмо, которое я написала вам тотчас же по прибытии. Сейчас папа проходит обследование в клинике. На это еще понадобится, по меньшей мере, пару недель. А сейчас о деле... *(Оливия всхлипывает. Остальные тоже убиты горем. Наконец она берет себя в руки и возобновляет чтение.)*

П о л. О каком деле?

О л и в и я. О деле. В письме вы найдете чек на 2895 долларов, попроси Пола немедленно (это слово подчеркнуто), немедленно отправить его Джону Чарльзу, нашему банковскому поверенному в Вашингтоне. У папы нет с собой его адреса, но вы найдете адрес Чарльза в верхнем ящике письменного стола в библиотеке. Пожалуйста, не тяните с отправкой. Потому что, если вдруг папе станет хуже… станет хуже… станет хуже, то этих денег хватит, по крайней мере, на то, чтобы нам вернуться домой и побыть хотя бы какое-то время всем вместе. Прошу вас, не переживайте и не расстраивайтесь очень сильно. Все мы в руках Божьих. Боли у папы стали слабее. Он шлет вам привет и говорит, что очень любит вас. Как и я. О дате нашего возвращения я сообщу телеграммой. Благослови вас Господь, мои дорогие. Ваша любящая мать.

Пауза. Все пытаются скрыть охватившее их волнение, у всех расстроенные лица.

П о л. Покажи-ка мне чек.

О л и в и я молча протягивает ему чек, затем встает и идет к окну слева. Достает носовой платок и вытирает им глаза. Все остальные остаются на своих местах.

П о л. 2895 долларов! Ничего себе!

О л и в и я *(стоя возле окна).* Сколько же у нас после этого останется денег в банке, Пол?

П о л. 215 долларов, если быть точным.

Ч а р л ь з. Тогда 5000 долларов этого янки нам как нельзя кстати. А все Ливи придумала, молодец!

О л и в и я *(выглядывая в окно).* По-моему, Джек Керли привез слуг.

П о л *(взглянув на часы).* Давно пора. Сейчас он поднимется к нам.

О л и в и я *(отворачиваясь от окна).* И еще кто-то на форде подъехал!

П о л *(подходит к окну).* Да это же Ранди Уикс. Сходи за ним, Чарли! Но что-то я не вижу никаких слуг. *(Чарльз уходит, оставляя дверь открытой.)* Интересно, что понадобилось у нас Ранди?

Э л и з а б е т *(глядя на Оливию, с ударением в голосе).* Готова угадать с первого раза.

О л и в и я *(улыбаясь).* Будет вам! Успокойтесь!

Э л и з а б е т *(подтрунивая над сестрой).* Ты, наверное, берешь его с собой, Ливи?

О л и в и я. Вот еще глупости! С какой стати?

П о л *(становится между сестрами).* Не задавай дурацких вопросов, Бесс. Разве ты не знаешь, зачем рыбак часами сидит на берегу с удочкой в руке, вместо того чтобы ловить рыбу сетью? Потому, что так гораздо интереснее.

Э л и з а б е т. Для кого интереснее? Для рыбки? *(Подходит к столу.)*

О л и в и я. У всякой рыбки конец один. На то она и рыбка.

П о л расхаживает по сцене.

У и к с *(за сценой).* Да, я знаю, Чарли, я как раз оттуда.

Появляется вместе с Ч а р л ь з о м. Приятный молодой человек лет 30, хотя несколько заурядный на вид. П о л подходит к У и к с у и обменивается с ним рукопожатием. Ч а р л ь з стоит слева от У и к с а.

Э л и з а б е т. Привет, Ранди!

У и к с. Здравствуйте, Бесс!

О л и в и я. Птички, как видите, готовы выпорхнуть из своего гнездышка.

У и к с. Слава богу, что успел.

О л и в и я. А в чем, собственно, дело?

У и к с. Увы! Должен вас огорчить. У меня для вас плохие новости. Я только что со станции. Докладываю, на платформу с поезда сошли двое — одноногий негр и проводник.

В с е о с т а л ь н ы е *(хором).* Ну и что из этого?

Э л и з а б е т усаживается за стол слева.

У и к с. Я только что получил телеграмму из Вашингтона, из бюро по трудоустройству.

О л и в и я. То есть, вы хотите сказать, что никаких слуг не будет? *(Становится слева от стола.)*

У и к с. Увы! Наверное, они передумали в самый последний момент.

П о л *(обращаясь к Уиксу).* Но почему, черт возьми, они передумали?

У и к с. Понятия не имею! Может, посчитали, что от города далековато.

П о л. Но это же просто ужас какой-то! Вы хоть понимаете, в какое положение нас поставили? Да еще в самую последнюю минуту!

У и к с. Понимаю, отлично понимаю…

О л и в и я. Послушайте, Ранди! А ведь все действительно очень серьезно. Этот мистер Крейн, или как там его, с минуты на минуту будет здесь.

У и к с. Точно так! Он едет на машине, и сам за рулем.

Ч а р л ь з *(стоя возле каминной полки).* Вот-вот! Он приезжает и обнаруживает, что в доме нет слуг. Ни одного слуги!

Э л и з а б е т. Хорошенькое дельце получается! Нужно срочно вернуть наших слуг, пока не поздно. Другого выхода я не вижу.

О л и в и я. Нет-нет, Бесс! Это все не то! *(Садится на левый стул слева от стола.)*

У и к с. Ливи права. Мистер Крейн высказался вполне определенно по этому поводу. В доме должны быть только белые слуги. Никаких негров и негритянок. Это же одно из его главных условий.

П о л. Но мы-то здесь при чем? В том, что слуги не приехали, нашей вины нет. Или ты хочешь сказать, что в сложившихся обстоятельствах он может…

У и к с. Именно это я и хочу сказать, старина! Мистер Крейн проявил особую настойчивость в данном вопросе. Он даже заявил, что если его условие не будет соблюдено, то он не останется здесь даже на ночлег. Думаю, за несколько ближайших дней мы сможем выправить ситуацию и подыщем подходящую прислугу. А пока…

Э л и з а б е т. Тогда отправьте ему немедленно телеграмму, чтобы он отложил свой отъезд на неделю.

У и к с. Бог мой, куда отправлять? Он с минуты на минуту будет здесь. Причем не один, а вместе со своими гостями.

П о л. Тогда нам конец! *(Идет к окну.)* Бог свидетель, мы сделали все, что в наших силах.

Ч а р л ь з. А денежки-то тю-тю! Улетели наши 5000 долларов!

У и к с. Мне очень жаль, очень! Такая непорядочность с их стороны! Я так и написал им в срочной телеграмме!

Ч а р л ь з. Да плевать они хотели на вашу телеграмму, Уикс! Наши денежки плакали! Вот что главное. Мы потеряли 5000 долларов, а вы тут толкуете о каких-то телеграммах. Как будто по телеграфу можно выразить обуревающие тебя чувства.

О л и в и я *(встает со своего места и идет навстречу Уиксу. Встречается с ним в центре сцены).* Послушайте, Ранди! Знаете ли вы, что такое попасть в безвыходное положение?

Э л и з а б е т поднимается со стула и идет к камину, где стоит Чарльз.

О л и в и я. Неужели вы думаете, что мы бы пошли на такую сделку — сдать собственный фамильный дом в аренду, — будь у нас хоть какой-то мало-мальски стоящий выход?

У и к с. Зачем спрашивать? Я прекрасно знаю, что не пошли бы.

О л и в и я. Наш бедный, несчастный отец… борется со смертью. Какой помощи можно ждать от него? А мы… мы все буквально загнаны в угол. *(Идет в угол, видит на стуле фартук, который оставила Аманда, берет его и начинает внимательно разглядывать.)*

У и к с *(со своего места).* Разве я не понимаю, Оливия? Именно поэтому я так и взвинтил цену за аренду дома. Честное слово, я сам себе кажусь

бандитом с большой дороги. Знаю-знаю, агенты, занимающиеся недвижимостью, должны быть хищниками, наподобие акул. Но помилуйте! Всему есть разумный предел! 5000 долларов за шесть недель! За подобные сделки могут привлечь к судебной ответственности.

Пол *(мрачно).* Не волнуйтесь, Ранди! Сейчас тюрьма вам точно не грозит.

Уикс. Право же, мне очень жаль! Честное слово!

Пол. Спасибо, старина! Вы сделали все что могли.

Пауза.

Оливия *(делает шаг вперед, все еще держа фартук в руках).* Послушайте, Ранди! Вы ведь, кажется, говорили о четырех слугах, не так ли?

Элизабет подходит к ней.

Уикс. Да, слуг должно быть четверо.

Оливия. И кто именно? *(Чарльз тоже подходит к сестре.)*

Уикс *(стоя за столом).* Дворецкий, горничная, посыльный и кухарка.

Оливия *(надевает на себя фартук).* Что прикажете подавать на ужин, мистер? *(Все весело смеются, одна Оливия сохраняет полную серьезность.)*

Пол *(подходит к ней).* Оставь свои шутки, Оливия! Сейчас не время дурачиться.

Оливия. Я сейчас похожа на кухарку? Или нет?

Пол, Элизабет, Чарльз хором.

Пол. Ливи!

Элизабет. Ради бога!

Чарльз. Ты это серьезно, Ливи?

Уикс *(со своего места).* Минуточку! Минуточку! Оливия совсем не шутит! Она, кажется, что-то опять придумала.

Оливия. Вот я и говорю! Чем Чарльз не посыльный?

Элизабет. А кто же, по-твоему, я?

Оливия. Ты — вылитая горничная.

Элизабет. Я??? Горничная? Ну, знаете ли…

Оливия. А из Пола получится отличный дворецкий.

Пол. Из меня — дворецкий???

Оливия. Да. А я буду кухаркой.

Уикс, все это время остававшийся на своем месте, идет к камину.

Пол. Чепуха! Полная чушь!

Элизабет *(в изнеможении падает на стул).* Разве можно представить, чтобы я…

Пол *(выходит из-за стола).* Ливи, ты же несерьезно, правда?

Чарльз *(выходит вперед и становится рядом с Оливией).* Говори, Оливия!

Оливия. Пожалуйста, прошу вас! Не называйте меня больше Оливией! Мне не нравится это имя. Оно напоминает мне про итальянские маслины.

Чарльз *(садится на стул слева).* Нет, Ливи! В самом деле, ты должна объясниться!

Оливия *(стоя в центре).* Когда мама с папой уехали за границу, они взяли с собой 6000 долларов, не так ли? Почти все уже истрачено. Нам они

оставили 5000 долларов. После того как мы рассчитаемся по страховому полису, у нас останется 215 долларов и целая куча неоплаченных счетов. Все в этом доме уже заложено и перезаложено сотни раз. Все-все! Каждое бревнышко, каждая половица. Лошади, куры, свиньи, вся живность, за исключением собаки. Но собак, как известно, под залог не берут. Что нам еще заложить? Самих себя? Или собственные души?

П о л *(подходит к Оливии).* Но, Ливи, погоди! Ведь есть же какой-то выход из всего этого!

О л и в и я. Ах, Поль! Я не жалуюсь! Но что мы умеем? Нас же ничему не учили. Бесс и я — просто две барышни, которые совершенно не приспособлены к реальной жизни. Чарли только что закончил школу... *(Чарльз издает восклицание, Элизабет подходит к камину и становится рядом с Уиксом.)* А ты, Пол... Да, я знаю. Ты способен на многое. И многого добьешься, правда. Но для этого тебе еще надо закончить свой юридический факультет. А пока... пока вот вам шанс заработать хоть немного денег.

Ч а р л ь з. Ничего себе! Заработать денег! *(Обходит стол и становится перед ним.)*

Э л и з а б е т *(подходит к нему).* Заработать что?!

П о л. Все это очень хорошо, Ливи! Но я вот как-то с трудом представляю себя в облике дворецкого.

О л и в и я. Почему бы и нет? Ты будешь отлично смотреться в костюме дворецкого. Просто картинка будешь, а не дворецкий! *(Все смеются. Она перебрасывает полотенце ему через руку.)* Послушайте меня! Бесс, Чарли. И ты, Пол! Нравится вам это или не нравится, но другого выхода у нас просто нет! Это хоть как-то решит наши проблемы. И мы сумеем помочь нашему дорогому папе. Подумайте о нем! Один, больной, среди всех этих иностранцев! А вы еще сомневаетесь!

У и к с *(после некоторого молчания идет от камина вправо).* Ливи! Вы просто великолепны! Но честное слово, я не совсем понимаю, как...

П о л. Вот-вот! И я о том же... Слабо представляю себе, как все это можно проделать на практике.

О л и в и я. Очень просто!

Э л и з а б е т. Да нас же разоблачат в два счета!

Ч а р л ь з. Да! К примеру, соседи! Приедут к нему в гости... *(Садится на стол.)*

П о л. И тут же нас выдадут.

Э л и з а б е т. О Боже! И что они при этом подумают!

У и к с. Увы, Ливи! Идея хороша! Но боюсь, ничего не получится. Чересчур много непредвиденных обстоятельств в процессе ее реализации.

О л и в и я *(подходит к Уиксу).* Еще как получится! Никто же из нас не видел мистера, мистера... Как его зовут?

У и к с. Крейн. Бертон Крейн.

О л и в и я. Бертона Крейна, так? И он нас в глаза не видел.

П о л. Зато другие видели нас! Соседи! Опомнись, Ливи! Мы же здесь выросли. Они знают нас с раннего...

О л и в и я. Подожди минутку! Сегодня четверг, да?

У и к с. Да.

О л и в и я. Послушайте, Ранди! Вы сможете организовать, чтобы к понедельнику сюда приехала новая партия белых слуг из Вашингтона?

У и к с. Постараюсь!

О л и в и я. Постарайтесь, пожалуйста! Очень вас прошу! Звоните им, телеграфируйте, сами отправляйтесь в Вашингтон. Удвойте оклады, в конце концов! Делайте что хотите, но к понедельнику слуги должны быть здесь.

Уикс. Хорошо! Сделаю все, что в моих силах.

Оливия. Таким образом, наш небольшой маскарад затевается всего лишь на три дня, а потому нам ничто не грозит. Не вздумает же этот янки устраивать вечеринку для соседей на следующий день после приезда.

Уикс. Да он вообще говорил, что хотел бы отдохнуть от светской суеты и все такое прочее…

Оливия *(становится между Элизабет и Полом).* Тем более! Пол! Чарли! Бесс! Всего лишь три дня! Все будет хорошо, я уверена.

Элизабет. Боюсь, у меня ничего не получится. *(Садится перед столом.)*

Оливия. Но я прошу вас всех! Бесс! Мальчики! Пожалуйста! Ради папы! *(Все молчат. Оливия подходит к Полу.)* Пол! Ты сможешь, я знаю. Ты ведь такая умница!

Пол. Подожди, сестричка! Не напирай с такой силой! Я ведь еще не сказал «да»!

Оливия. Так скажи, и побыстрее! *(Возвращается в центр.)* А я иду на кухню. Слава богу, стряпать я могу. Это единственное, что я умею делать хорошо. Ранди! Посмотрите в окно!

Уикс подходит к левому окну. Оливия идет за ним.

Пол. Интересно, а что делает дворецкий?

Оливия. О, ничего особенного! Открывает двери, подходит к телефону, прислуживает за столом, ходит во фраке даже днем. В отличие от настоящих джентльменов, которые надевают фрак только вечером. Вот, пожалуй, и все обязанности дворецкого.

Элизабет. А мои? Я понятия не имею, чем занимается горничная.

Оливия. О, с тобой вообще все очень просто. Ты, моя дорогая Бесс, будешь прибирать в комнатах и застилать кровати.

Элизабет. Да, но я никогда в жизни не застилала кровати.

Оливия *(со смехом).* Несчастный янки! Чувствую, ему у нас достанется сполна от имени всего побежденного Юга!

Все смеются, за исключением Бесс. Слышится сигнал автомобиля.

Элизабет. Ужас! Это он!

Оливия. Быстро все наверх! *(Все бросаются разбирать свои вещи. Чарльз хватает клюшки для гольфа, Элизабет бежит за саквояжем и чуть не сбивает с ног Пола, который торопится к полке с книгами. Затем все скрываются за дверью. Оливия кричит им в вдогонку.)* Наверху в чулане полно старых вещей. Пол, подбери там себе подходящий фрак. И ты, Чарли, поищи что-нибудь.

Слышатся громкие восклицания и топот ног по лестнице.

Чарльз *(за сценой).* Я знаю, что мне нужно! Вот, посмотри! То, что надо!

Элизабет *(за сценой).* Здесь для меня ничего нет!

Уикс. Посмотрите в окно, Ливи!

Оливия. Что, приехал?

Уикс. Да, уже вылезает из своего лимузина.

Оба смотрят в окно.

Оливия *(пытается рассмотреть постояльца из-за спины Уикса).* А он очень даже ничего! Во всяком случае, на расстоянии. Ступайте,

Ранди, и проводите его сюда. Займите его хотя бы на несколько минут каким-нибудь разговором. Пойду переоденусь в кухарку.

Слышится стук в дверь.

У и к с. Но я… но мне не хотелось бы участвовать в этой комедии.

О л и в и я. Что за глупости, Ранди! Вы же не бросите нас в беде одних!

У и к с. Но Ливи! Что мне ему сказать?

О л и в и я. Что сказать? Да что угодно! *(Весело смеется.)* Бедный-бедный янки! Одно ему утешение, кормить буду хорошо. *(Оливия со смехом взбегает по лестнице наверх.)*

Снова стучат в дверь. У и к с смотрит умоляюще вслед О л и в и и, словно надеясь, что та передумает и вернется к нему на помощь, но этого не происходит, и У и к с неохотно идет к парадной двери. В дверь уже не стучат, а неистово барабанят. Пауза.

У и к с возвращается вместе с К р е й н о м. Это высокий молодой человек лет 30, красивый, темноволосый. На нем кожаное пальто и водительский шлем-кепи. Раздевается, небрежно бросает вещи на вешалку возле двери и заходит в комнату вслед за У и к с о м.)

К р е й н. Как мило с вашей стороны, мистер Уикс, что вы решили лично встретить меня.

У и к с. О, сущие пустяки!

К р е й н. Так-так… Судя по всему, это гостиная. *(Обходит вокруг стола, оглядываясь по сторонам.)*

У и к с по-прежнему стоит у дверей, К р е й н берет миниатюру. У и к с прикрывает двери.

К р е й н *(рассматривает миниатюру, потом еще раз окидывает комнату взглядом).* Красиво. И мебель хорошая.

У и к с *(подходит к столу справа).* Да, мебель старинная.

К р е й н. Вот как? А садится на нее можно без риска для жизни?

У и к с. О, разумеется!

К р е й н. Что ж, давайте рискнем. *(Оба садятся.)* Вы говорили мне, что этот дом никогда раньше не сдавался в аренду?

У и к с. Да, сэр.

К р е й н *(насмешливо разглядывая убранство комнаты).* Похоже, что так.

У и к с *(профессионально поставленным голосом).* Уверен, сэр, дом понравится вам, это старинный особняк в колониальном стиле…

К р е й н. Ныне пришедший в полнейший упадок…

У и к с. С прекрасной самшитовой рощей, лужайками, конюшнями, рассчитанными на 25 лошадей.

К р е й н *(улыбаясь).* Да-да, я вижу… Однако мне кажется, дом нуждается в основательном ремонте. Впрочем, мы ведь ненадолго. Кстати, а что насчет прислуги? Я еще не видел ни одного слуги. *(Смотрит на Уикса, который растерянно молчит, не зная, с чего начать. Встает со своего места.)* Мистер Уикс, надеюсь, вы ведь не забыли тот пункт нашего контракта, в котором оговорены все условия относительно прислуги?

У и к с *(быстро подхватывается со своего стула).* О, нет! Как можно, сэр?

К р е й н *(идет к центру сцены).* Прекрасно! Так где же прислуга?

У и к с *(запинаясь).* Видите ли… да… я… не совсем… я… не знаю…

К р е й н. Не знаете что?

Уикс. Возможно, они наверху… видите ли, сэр… Они только что приехали. Наверное, переодеваются у себя в комнатах… готовятся, так сказать, к своим новым… то есть, я хотел сказать, к своим обязанностям…

Крейн. Хорошо! Но вы уверены, что это именно то, что нам надо?

Уикс. Да, сэр. Именно то. Я ведь их знаю не один год.

Крейн *(подходит к камину, со смешком).* Так они ваши личные друзья?

Уикс. Видите ли… в какой-то степени… да.

Крейн. Понимаю-понимаю. Я сам в очень приятельских отношениях со своим лакеем. Сейчас бедняга приходит в себя после тяжелейшего гриппа. Поэтому и не приехал со мной. *(Понимает, что немного разоткровенничался, и обрывает разговор с несколько нервным смешком.)*

Уикс. Глубоко сочувствую, сэр. *(Идет к центру.)* Что ж, мистер Крейн, мне пора…

Крейн *(останавливая его).* Прошу вас, разделите со мной первую трапезу в этом доме.

Уикс. Боюсь, я... *(Продвигается к двери.)*

Крейн. И пожалуйста, без церемоний! Будьте как дома! Я жду гостей. Мой адвокат мистер Такер и его сестра миссис Фолкнер с дочерью, но они приедут только к вечеру. А я, признаться, терпеть не могу обедать в одиночестве. К тому же, это вы нанимали кухарку. *(Прохаживается туда-сюда, потом снова поворачивается к Уиксу.)* Так что, если она скверная повариха, то, по крайней мере, разделите мои мучения вместе со мной.

Уикс. Право же, мистер Крейн! Я… э-э-э…

На заднем плане появляется Оливия в костюме кухарки, она пытается забрать свой саквояж со стула, стараясь остаться при этом незамеченной.

Крейн. Так вы согласны?

Уикс. Благодарю вас. Да.

Крейн. Вот и отлично! *(Отворачивается и видит Оливию, которая торопится выскользнуть из комнаты.)* А это еще кто? *(Оливия замирает на месте.)* Ты кто такая? *(Повышает голос.)* Ты кто, я спрашиваю?

Оливия *(поворачивается к нему и начинает говорить на просторечии).* Я кто? Да кухарка я ваша буду!

Крейн *(в восхищении от ее красоты)*. Неужели правда?

Оливия. Чистая правда, ваша честь.

Крейн. А что ты здесь делаешь?

Оливия. Да вот пришла забрать свои вещи, сэр.

Крейн. Вещи? Какие вещи?

Уикс делает предупреждающий знак Оливии, что на саквояже ее инициалы. Крейн замечает это.

Оливия. Вот, забыла свою сумку, ваша честь. *(Подходит к саквояжу, видит инициалы «О. Д», поворачивает его так, чтобы букв не было видно.)*

Крейн. Понятно. Что ж, ступай.

Оливия. Слушаюсь, сэр. *(Идет к двери.)*

Крейн *(явно под впечатлением от ее красоты, хочет задержать девушку и делает шаг за ней).* Нет, постой, то есть, я хотел сказать постойте! Скажите нам, вы хорошая повариха?

Оливия *(стоя в дверях).* Еще какая хорошая! Да на мою стряпню еще никто, поди, не жаловался!

Крейн. И какое же ваше коронное блюдо?

О л и в и я *(делает вид, что не понимает).* У меня… что?

К р е й н. Я спрашиваю, что вы готовите лучше всего?

О л и в и я. А мне все одно, сэр! Люди говорят, что я и из топора такой суп сварганю, что пальчики оближешь!

К р е й н *(со смехом).* Вот этого как раз не надо! Давайте договоримся, обойдемся без топоров.

О л и в и я. Как можно, сэр? Да у меня и в мыслях такого не было! Это я просто так сказала, к слову! Вот и мистер Уикс… Уж он-то преотлично знает, какая я стряпуха… Да сами у него спросите.

К р е й н. Что скажете, мистер Уикс?

У и к с *(весьма сдержанно).* Девушка умеет готовить.

О л и в и я *(явно раздосадованная такой скромной оценкой ее талантов).* Ха! Умеет! Ясное дело, что умею! Еще как умею! Пусть кто-нибудь скажет, что нет, так я этому обманщику…

К р е й н *(прерывая ее).* Верю-верю! А сейчас ступайте.

О л и в и я. Слушаюсь, сэр. *(Идет, потом поворачивается к нему.)* Может, желаете чего-нибудь вкусненького на ужин? Так я мигом управлюсь, ваша честь!

К р е й н. Отлично! Если вместо топора найдете в этом доме метлу, стушите ее в соусе. А мы представим себе, что едим черепашье мясо «а-ля Балтимор».

О л и в и я. Да я-то запросто! Вот только человек я здесь новый, не знаю, что где лежит. Могу и не найти метлу. *(Она нерешительно топчется в дверях, потом уходит. Некоторое время ее фигурка еще видна в дверном проеме.)*

К р е й н *(восхищенно).* Вот это да! Я ослеплен! Ничего себе кухарка! Назвать такую красавицу поварихой! Да она же похожа на статуэтку из дрезденского фарфора! Пастушка! Нимфа! Греческая богиня! Послушайте, Уикс! А что если мы поужинаем прямо в кухне?

У и к с. Но сэр!

Занавес.

Четырьмя часами позже. Маленький кофейный столик в правом углу сервирован на две персоны. Горит настольная лампа. Когда поднимается занавес, на сцене м и с с и с Ф о л к н е р и ее дочь. М и с с и с Ф о л к н е р пьет кофе. Обе дамы в вечерних туалетах. М и с с и с Ф о л к н е р, дородная дама лет 50, глупа и самоуверенна, любит высказаться по любому поводу и без. Ее дочь, красивая молодая девушка лет 25, высокая, пышущая здоровьем амазонка, при этом явно умна и весьма наблюдательна.

М и с с и с Ф о л к н е р *(сидя в кресле в правом углу с чашечкой кофе в руке).* И все же, Кора, согласись, в моих словах есть смысл.

К о р а *(сидит за журнальным столиком и листает журнал мод).* Согласна, мама.

М и с с и с Ф о л к н е р. Бертон Крейн представляется мне замечательным во всех отношениях молодым человеком.

К о р а. Да! Да! Да!

М и с с и с Ф о л к н е р. А если учесть, что и ты очень красивая девушка…

К о р а. Мама, прошу тебя.

М и с с и с Ф о л к н е р. Боже, какая же ты у меня скромница. Конечно, скромность украшает человека, но только в умеренных дозах. Весьма умеренных. Итак, Крейн — привлекательный молодой человек, ты — красавица. Не вижу никаких препятствий вашему совместному счастью. А ты видишь?

Кора. Тише, мама! Нас могут услышать! *(Опасливо озирается на закрытую дверь.)*

Миссис Фолкнер. Что за глупости! Это тебе не Нью-Йорк, где все всё слышат. И потом, тебе пора устраивать свою личную жизнь. Не забывай! Признаюсь как на духу, я вздохну с огромным облегчением, когда ты, наконец, выйдешь замуж.

Кора. Но мама!

Миссис Фолкнер. Что мама? Ты уже не ребенок, Кора! Должна понимать, что денег, которые оставил после себя твой бедный отец, явно не хватает на содержание двух взрослых женщин, воспитанных в роскоши и привыкших жить на широкую ногу. Поговори с дядей, он тебе расскажет про наши банковские счета. А потому, если ты разумная девушка, а у меня нет оснований сомневаться в этом, то прошу тебя, сделай так, чтобы твой поход к алтарю состоялся в максимально короткие сроки.

Кора. Мама, тебя послушать, так Бертон Крейн только и мечтает, как бы сделать мне предложение. Между прочим, возможностей для этого у него было более чем достаточно.

Миссис Фолкнер. Для предложений не нужны возможности. Нужен расчет. И потом, он ждет, чтобы кто-то подтолкнул его. Пожалуйста, не смотри на меня такими глазами! Я знаю, что говорю. Я отказываюсь понимать тебя, Кора. Крейн из хорошей семьи, красив, богат, как Крез! Нужно как можно быстрее заключить с ним союз, моя дорогая, и не медли с…

Кора *(со вздохом)*. Хорошо, мама. *(Встает, откладывает журнал в сторону.)*

Миссис Фолкнер *(с подозрением в голосе)*. Кора!

Кора. Да, мама.

Миссис Фолкнер. Поди сюда!

Кора. Сейчас, мама. *(Подходит к матери.)*

Миссис Фолкнер. Скажи мне правду, ты все еще продолжаешь думать об этом… об этом человеке?

Кора. О каком человеке, мама?

Миссис Фолкнер. Ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду! Конечно же, о Томе Леффертсе.

Кора. С чего ты взяла, мама?

Миссис Фолкнер. Я раз и навсегда запрещаю тебе даже думать о нем! У этого субъекта один ветер в голове! К тому же, он нищий! И попрошу не спорить со мной!

Кора. Мамочка, я и не собираюсь спорить с тобой. *(Идет в левый угол сцены.)*

Миссис Фолкнер. А еще называет себя поэтом!

Кора. Но мама! Поэтом его называют другие люди.

Миссис Фолкнер. Пусть так! Но он же не спорит! Когда порядочного человека называют вором, он что, по-твоему, сразу должен соглашаться с таким определением? Нет, порядочный человек всячески сопротивляется и все отрицает. Или я не права?

Кора. Мама, прошу тебя! Не начинай сначала.

Миссис Фолкнер. Кто, скажи на милость, даст хотя бы доллар за его стишки? Повторяю, слышать о нем больше не желаю!

Кора *(стоя у окна)*. Хорошо, мама!

Миссис Фолкнер. Что-то ты уж больно сговорчива нынче! Ну-ка, посмотри мне в глаза, Кора! Ты продолжаешь встречаться с ним, да?

Кора. С чего ты взяла, мама? Конечно же, нет!

Входят Такер и Уикс. Уикс в своем прежнем костюме. Он подходит к Коре. Такер в смокинге. Преуспевающий адвокат средних лет, опытный, изворотливый, хитрый, преисполненный важности. Оба курят.

Такер *(обращаясь к миссис Фолкнер).* Дорогая, ты не возражаешь, если мы докурим наши сигары прямо здесь?

Миссис Фолкнер. По правде говоря, мне и самой страшно хочется закурить.

Такер. Прошу! *(Протягивает ей портсигар, затем поворачивается к Коре.)* А ты, моя девочка?

Кора. Нет, благодарю вас.

Миссис Фолкнер. Но почему, Кора? В наши дни некурящая женщина вызывает подозрение.

Кора. Нет, мама, я не хочу.

Такер подает миссис Фолкнер настольную лампу, от которой она прикуривает, потом он снова ставит лампу на стол.

Такер. А здесь красиво! Пахнет стариной.

Кора берет со стола миниатюру.

Миссис Фолкнер. О, да! Атмосфера старины ощущается во всем.

Кора. Мамочка, взгляни! Какая красавица! Посмотрите, дядя Солон!

Миссис Фолкнер. Да, очень мила!

Такер. Вся в оборочках и кружевах…

Уикс. Это бабушка нынешних хозяев дома.

Такер. Вот как?

Кора. Какой прелестный наряд!

Миссис Фолкнер. Да, миленькое платьице... *(Встает.)* Слава богу, сегодня такое уже не носят! Однажды я появилась в подобном туалете… на костюмированном балу. Признаться, я была неотразима!

Кора ставит миниатюру на столик и садится в кресло слева. Входит Бертон Крейн.

Крейн. По-моему, миссис Фолкнер, у нас просто отменная кухарка. Вы не находите?

Миссис Фолкнер. Посмотрим, насколько ее хватит.

Кора. Да, ужин был замечательный. Правда, дядя?

Такер *(прохаживаясь по сцене).* Еще рано говорить об этом. По собственному опыту знаю, что о качестве съеденного можно судить лишь спустя пару часов после трапезы.

Крейн. Вот вам истинный адвокат! Как всегда, сама осторожность и предусмотрительность.

Все смеются.

Такер. Отнюдь! Просто я исхожу из того, что если ужин был вкусным, так это еще не основание для вынесения окончательного вердикта. Слишком мало фактических доказательств.

Кора. Тогда тебе, дядя, придется допросить кухарку в качестве свидетеля.

Миссис Фолкнер стряхивает пепел с сигареты. Все смеются.

Миссис Фолкнер. Беда с моим братом! Он даже за обеденным столом остается юристом, который и свой пищеварительный тракт склонен рассматривать исключительно в аспекте действующего законодательства. Где ему понять гурманов! Кстати *(снова усаживается в кресло),* как мило с вашей стороны, дорогой Бертон, попросить меня взять под свой личный контроль все хозяйство в этом доме.

Крейн *(стоя в центре сцены).* А я уже попросил?

Миссис Фолкнер. Начну прямо сейчас. Будьте любезны, пригласите сюда слуг!

Крейн. Одну минутку! *(Подходит к камину, над которым висит шнур для звонка, и дергает за него.)* Право, не понимаю, зачем они нужны?

Миссис Фолкнер. Хочу немедленно проинспектировать всю прислугу.

Крейн *(стоит, опершись на каминную полку, с сигаретой в руке).* Но стоит ли это делать прямо сейчас, миссис Фолкнер?

Миссис Фолкнер. Желательно!

Кора *(сидя в левом углу).* Мама, ради бога! Твоя проверка вполне может подождать до утра.

Такер *(идет к центру сцены).* А я думаю, тянуть не стоит. Чем скорее, тем лучше. Пусть видят, что мы не потерпим никакого разгильдяйства! *(Поворачивается к Крейну.)* Знаю я эту прислугу! Очередная куча бездельников.

Уикс *(с негодованием).* Мистер Такер! Как вы можете!

Такер *(смотрит на Уикса с нескрываемым подозрением).* Понимаю вас, мистер Уикс! Это вы их нанимали. Тем лучше! Будут знать, что вы их по-прежнему держите на контроле.

Входит Смитфилд, он же Пол. На нем стандартный костюм дворецкого, но на ногах щеголеватые туфли из первоклассной кожи. Волосы прилизаны на прямой пробор. Всем своим видом Пол старается показать, что он опытный дворецкий, которому не привыкать обслуживать аристократов.

Смитфилд *(оставляя за собой открытую дверь).* Вызывали, сэр?

Крейн. Видите ли, миссис Фолкнер…

Миссис Фолкнер. Подойди сюда, любезнейший! Как тебя зовут?

Смитфилд *(подходит к ней).* Смитфилд, миледи.

Миссис Фолкнер. Хорошо. Я буду звать тебя Джоунс.

Смитфилд. Да, мэм.

Миссис Фолкнер. Пригласи в гостиную всех слуг. Немедленно.

Смитфилд. Слушаюсь, миледи. *(Поворачивается, чтобы уйти.)*

Миссис Фолкнер. И не называй меня «миледи». Я отношусь к титулам без особого доверия.

Смитфилд *(подходит к миссис Фолкнер).* Слушаюсь, миледи… О, прошу извинить меня! То есть, я хотел сказать… я столько лет служил в одном аристократическом доме… и мадам… ничуть не… То есть вы понимаете, что я хочу сказать.

Миссис Фолкнер явно польщена. Другие улыбаются.

Миссис Фолкнер *(самым любезным тоном).* Да, конечно… ступай! Ах, нет! *(Смитфилд оборачивается.)* Впрочем, иди.

Смитфилд. Слушаюсь, миледи! О, черт…

Миссис Фолкнер. Что ты сказал?

Смитфилд *(снова подходит к ней).* Слушаюсь, мэм. *(Поворачивается и важно шествует к двери, по пути строит рожицу Уиксу, выходит и закрывает за собой дверь.)*

Миссис Фолкнер. У этого парня превосходные манеры! Так вы говорите, мистер Уикс, что нашли его…

Уикс *(запинаясь, явно не готов к такому пристрастному допросу).* Я… видите ли… У Биллингтонов… Кросслет-Биллингтоны. Вы, конечно же, слышали о них.

Миссис Фолкнер. Биллингтоны? Понятия не имею. А вы, Бертон, знаете их?

Крейн. Первый раз слышу. Но мистер Уикс, наверное, их хорошо знает.

Уикс. Как самого себя! И не я один. Семья, известная на всем Юге. Премилые люди, уверяю вас.

Миссис Фолкнер. И как же эти Биллет-Кросслингтоны…

Уикс. Прошу прощения, мадам. Кросслет-Биллингтоны.

Миссис Фолкнер. Вот-вот! Я и говорю, как же эти Кросслет-Биллингтоны смогли расстаться с таким образцовым дворецким?

Уикс. Все дело в том… понимаете… семейство сейчас за границей… смею вас заверить, мне стоило большого труда все устроить. Практически до последнего момента сохранялась неопределенность. Однако, слава богу, все разрешилось, в конце концов, и надеюсь, к всеобщему благу.

Смитфилд возвращается в гостиную в сопровождении Араминты, она же Элизабет, и Бриндлбери, он же Чарльз. Араминта в костюме горничной. Она напугана и сердита одновременно. На Бриндлбери красный шейный платок, фартук из зеленого сукна, на ногах зеленые гетры, волосы топорщатся во все стороны. Похож скорее на мальчишку из конюшни, как их описывает в своих романах Чарльз Диккенс. Смитфилд заходит в комнату, двое остаются стоять в дверях.

Смитфилд *(подходит к миссис Фолкнер).* Прошу прощения, мэм. Кухарка сейчас подойдет.

Миссис Фолкнер. Ты, наверное, недавно служишь в деревне.

Смитфилд. Да, мэм.

Миссис Фолкнер. Это сразу бросается в глаза. У тебя еще такой неиспорченный вид. *(Чарльз издает короткий смешок, Элизабет толкает его в бок, призывая к порядку. Он перехватывает гневный взгляд миссис Фолкнер и пытается скрыть смех за кашлем.)* Надеюсь, тебе ясно, что именно ты отвечаешь за дисциплину среди слуг?

Смитфилд. Да, мэм. Не извольте беспокоиться. По части дисциплины у меня всегда был порядок.

Миссис Фолкнер *(удовлетворенно).* Бертон, думаю, Смитфилд нам подходит.

Крейн. Очень рад.

Смитфилд отходит к дверям.

Миссис Фолкнер. Посмотрим теперь на служанок. *(Пол подталкивает Элизабет вперед. Она подходит к миссис Фолкнер. Чарльз шутливо подначивает ее, она шлепает его в ответ.)* Как тебя зовут, милочка?

Араминта *(вначале бросает взгляд на Уикса, потом отвечает в высшей степени раздраженно).* Араминта! *(Уикс и Смитфилд вздрагивают, услышав такое имя, а Чарльз отворачивается и смеется украдкой.)*

Миссис Фолкнер. Араминта? Что за нелепое имя!

Крейн. Разве?

Миссис Фолкнер. Я буду звать тебя Гвенделон. Неужели нельзя было как-то повлиять на своих неразумных родителей с тем, чтобы заставить их отказаться от своего глупого выбора? Меня и мою дочь будить в

восемь. Ванны должны быть уже готовы. Завтрак подавать наверх в половине девятого. *(Араминта уже собирается уходить, но миссис Фолкнер продолжает свои наставления.)* И смотри у меня! Чтобы и близко не подходила к моим шелковым чулкам! Ясно? *(Араминта идет к двери, Чарльз давится от смеха, Пол пытается призвать его к порядку.)* Не знаю, известна ли вам, Бертон, такая общая странность, присущая всем служанкам? Они просто обожают шелковые чулки! Все как одна! *(Презрительно.)* А теперь мальчишка! Поди сюда.

Чарльз, не привыкший к такому обращению, пропускает реплику мимо ушей. Уикс и Пол одновременно делают ему знаки, что миссис Фолкнер обращается именно к нему.

Бриндлбери *(внезапно подхватываясь).* Да, мэм… Конечно, мэм. *(Подходит к миссис Фолкнер. Слева от него стоит Пол.)*

Миссис Фолкнер *(важно*). Как тебя зовут?

Бриндлбери. Я, мэм, я… мальчик на побегушках… куда пошлют…

Смитфилд. Всегда на подхвате, миледи, то есть, мэм… по первому же зову…

Бриндлбери *(весело).* Да, мэм. По первому зову... *(Насвистывает и размахивает полотенцем.)*

Миссис Фолкнер *(остужает его энтузиазм).* Милейший! Я спрашиваю, как тебя зовут? Отвечай, когда спрашивают!

Бриндлбери *(смотрит вопросительно на Уикса, тот подсказывает).* Меня? Как меня зовут? Меня зовут Б-Р-И-Н-Д-Л-Б-Е-Р-И. *(Все улыбаются.)*

Миссис Фолкнер. Бриндлбери?!

Бриндлбери. Зовите просто Бринби, мэм, если вам угодно. Старинное английское имя, вы его еще, наверное, в школе на уроках истории слы…

Миссис Фолкнер *(прерывает его с возмущением).* С этим мальчишкой у вас, Бертон, будут проблемы.

Крейн *(с улыбкой смотрит на юношу, не скрывая своей симпатии).* Напротив, он мне нравится.

Миссис Фолкнер. Бринби! Надо же такое выдумать! Я буду звать тебя просто «мальчик».

Бриндлбери *(собираясь уходить).* Спасибо, мэм.

Миссис Фолкнер. Так вот, мальчик! *(Бриндлбери останавливается.)* Попрошу без глупостей! Я не потерплю своеволия! Ступай!

Бриндлбери. Да, мэм… Спасибо, мэм… *(Уходит вместе с Араминтой. Исподтишка смеется.)*

Миссис Фолкнер. А теперь, Смитфилд, немедленно, пришли ко мне кухарку.

Смитфилд *(идет к двери величавой походкой).* А вот и она, мэм.

Входит Оливия в костюме кухарки, который вовсе ее не портит. Скорее даже наоборот. Смитфилд уходит. Такер проявляет живейший интерес к девушке и тотчас же устремляется к ней.

Миссис Фолкнер *(выпрямляется в кресле и начинает внимательно лорнировать девушку).* Ты и есть кухарка?

Оливия *(изо всех сил стараясь сохранить деревенский акцент).* Так, мэм.

Миссис Фолкнер *(с крайним удивлением).* Поразительно! *(Оливия бросает взгляд на Крейна и опускает глаза. Уикс явно нервнича-*

ет.) Как тебя зовут? *(Оливия мнется в нерешительности.)* Я спрашиваю, как тебя зовут?

О л и в и я. Джейн…

У и к с *(одновременно с Оливией).* Элен.

М и с с и с Ф о л к н е р *(холодно).* Мне кажется, вы двое слегка расходитесь во мнениях.

О л и в и я *(воркующим голоском).* Меня зовут Джейн Элен, мэм.

М и с с и с Ф о л к н е р. Хорошо, Джейн Элен. Надеюсь, у тебя имеются рекомендации?

У и к с *(поспешно).* Самые лучшие, мадам. Смею заверить вас.

М и с с и с Ф о л к н е р *(недовольная, что ее прервали).* Мистер Уикс, я бы попросила вас…

У и к с. От Кросслет-Биллингтонов, миссис Фолкнер. Но, к несчастью, я оставил бумаги у себя в конторе. Завтра же представлю вам все рекомендации, как положено.

О л и в и я *(достает бумагу из кармана своего передника и робко протягивает ее миссис Фолкнер).* Вот еще одна рекомендация.

Т а к е р забирает бумагу у О л и в и и и начинает внимательно ее изучать. Потом передает ее м и с с и с Ф о л к н е р.

М и с с и с Ф о л к н е р *(читает).* «Рекомендация. Сим подтверждаю, что предъявитель данной рекомендации Джейн МакСорли является порядочной, воспитанной девушкой и опытной кухаркой. Знаю ее с самого рождения. Она уходит от меня по собственному желанию, но свидетельствую, что это лучшая кухарка из всех, что работали в нашем доме. Оливия Дейнджерфилд». Весьма лестная рекомендация, не так ли? Кстати, а кто это такая — Оливия Дейнджерфилд? Замужняя дама, я надеюсь? *(Отдает рекомендацию Такеру, который вручает ее Оливии.)*

У и к с. Гм… гм… Полковник Дейнджерфилд с супругой сейчас в Европе, насколько мне известно.

М и с с и с Ф о л к н е р. У меня складывается впечатление, что все ваши знакомые большие любители путешествий.

У и к с. Мисс Оливия Дейнджерфилд — одна из дочерей полковника.

М и с с и с Ф о л к н е р. Ах, вот как? *(К Оливии.)* А что значит «уходит по собственному желанию», милочка?

О л и в и я. Что, мэм?

М и с с и с Ф о л к н е р. Я спрашиваю, почему ты ушла от мисс Дейнджерфилд?

О л и в и я. Честно, мэм?

М и с с и с Ф о л к н е р. Разумеется.

О л и в и я. Да она мне просто надоела! Видеть не могла, как она шныряет по дому.

М и с с и с Ф о л к н е р. Даже так? Ну-ка, покажи мне свои руки, милочка! *(Оливия подходит ближе, какое-то время мнется в нерешительности, потом протягивает руки для осмотра, вначале ладонями вверх, потом вниз. Миссис Фолкнер придирчиво рассматривает их.)* Подумать только! Маникюр! Так говоришь, видеть ее не могла?

О л и в и я. Ну да! Она такая вредная… Знаете, из тех барышень, которые любят совать нос не в свои дела.

М и с с и с Ф о л к н е р растерянно моргает. К р е й н и Т а к е р в восторге от подпущенной шпильки.

М и с с и с Ф о л к н е р. Да? Вот как? А от нее ты ушла к Кросслет-Биллингтонам?

О л и в и я. К кому-кому, мэм?

М и с с и с Ф о л к н е р. Мистер Уикс, я правильно назвала фамилию этих господ?

У и к с *(подобострастно).* Абсолютно правильно, мэм. От Дейнджерфилдов она перешла на работу к Кросслет-Биллингтонам. Ведь правда, Джейн Элен?

О л и в и я. Может, и так, мистер. Откуда мне упомнить всех этих господ? Стану я забивать себе голову ихними именами.

М и с с и с Ф о л к н е р *(прямо в лоб).* Ты была замужем?

О л и в и я. Боже сохрани, мэм!

М и с с и с Ф о л к н е р *(оставляя без внимания ее реплику).* Помолвлена?

О л и в и я. Нет, честное слово, чудные вопросы вы задаете! Это что, имеет отношение к моим кастрюлям?

М и с с и с Ф о л к н е р. Не груби, Джейн Элен!

О л и в и я. Как можно, мэм! Грех-то какой. Нам всем надо молиться, чтобы Бог посылал нам побольше терпения.

М и с с и с Ф о л к н е р в растерянности, К р е й н и Т а к е р улыбаются.

М и с с и с Ф о л к н е р *(в явном раздражении).* Отвечай на мой вопрос, Джейн Элен!

У и к с. Простите, миссис Фолкнер, но я считаю…

М и с с и с Ф о л к н е р. Послушайте, мистер Уикс. Я всего лишь…

О л и в и я *(после короткой паузы).* Мне скрывать нечего, мэм! Была я помолвлена с одним человеком, была. С Патом Колоном, он из Ирландии. Хороший парень, да. Только ветер в голове. Уже и свадьбу должны были в июне сыграть, а потом… Ой, даже говорить не могу! Слезы так и душат… Поругались мы, вот что! *(Со всхлипом.)* И кончилась промеж нас вся любовь! (*Достает носовой платок и начинает утирать слезы. Уикс и Такер начинают ее утешать. Кора тоже встает со своего места.)*

К р е й н *(хором).* Джейн Элен, не надо плакать! Никто не хочет обидеть вас.

У и к с *(хором).* Джейн Элен, пожалуйста!

Т а к е р *(хором).* Ну же, дитя мое! Утри слезки! *(Подходит к Оливии. Оливия что-то неразборчиво бормочет сквозь слезы.)*

М и с с и с Ф о л к н е р *(встает).* Все, хватит! С меня достаточно!

К р е й н *(довольно сухо).* Я думаю, на сегодня действительно хватит, миссис Фолкнер.

М и с с и с Ф о л к н е р *(разгневанно).* Ах, вот как? *(Такер открывает ей дверь. Крейн с недовольным видом стоит у стола.)* Тогда я ухожу! Спокойной ночи! Кора, ступай за мной! *(Уходит, разобиженная на всех.)*

К о р а *(подходит к Оливии).* Джейн Элен, не плачьте, голубушка. Мама не хотела вас обидеть! Ей вообще не стоило… *(Гладит Оливию по плечу. В ответ из-под носового платка слышится новый взрыв рыданий.)* Пожалуй, я лучше пойду. Спокойной ночи. *(Уходит.)*

Т а к е р *(поспешно возвращается от двери, чтобы успеть поучаствовать в утешении Оливии).* Послушай, Джейн Элен, я хорошо знаю свою сестру. Клянусь, она обидела тебя непреднамеренно. Будет же, детка… Хватит! *(Треплет ее по плечу. На пороге появляется миссис Фолкнер.)*

М и с с и с Ф о л к н е р *(нетерпеливо)*. Солон!

Т а к е р. Да, моя дорогая! Иду! *(Неохотно уходит вслед за миссис Фолкнер. Уикс подходит к Оливии, намереваясь что-то сказать, но Крейн протягивает ему руку для прощания.)*

К р е й н. Всего хорошего, мистер Уикс!

У и к с уходит. Через некоторое время слышно, как хлопает парадная дверь.

К р е й н. Пожалуйста, Джейн Элен, перестаньте плакать. Прошу вас… хотя бы ради меня. Миссис Фолкнер уже ушла.

О л и в и я. Правда? *(Открывает заплаканное личико.)* То-то мне сразу стало лучше.

К р е й н. Джейн! Какое прекрасное имя!

О л и в и я. Ведьма! Так бы везде свой нос и совала! И все ей надо знать! Пьет ли мой папаша, какие цветы люблю и свои ли волосы у меня на голове. А вдруг накладные!

К р е й н. Не дай бог!

О л и в и я. Бог точно не даст! Что угодно господину?

К р е й н. Спасибо, ничего. *(Оливия поворачивается, чтобы уйти.)* Одну минутку, Джейн Элен! *(Оливия останавливается и поворачивается к нему.)* Я бы очень хотел, чтобы вам здесь было хорошо.

О л и в и я. Да я и сама хочу того же, и не меньше вашего.

К р е й н. Обещайте мне… обещайте, что скажете… И я сделаю все, что в моих силах, чтобы сделать вас хоть капельку счастливее.

О л и в и я. Все-все, сэр?

К р е й н. Да, Джейн Элен. Для вас я готов сделать все, что в моих силах.

О л и в и я. Вот здорово, сэр.

К р е й н. У меня такое чувство, Джейн Элен, что мы с вами поладим.

О л и в и я. Почем знать, сэр. Почем знать. *(Идет к двери.)*

К р е й н. Да, вот еще что!

О л и в и я. Что, сэр?

К р е й н. Насчет завтрака…

О л и в и я. Насчет завтрака, который завтра?

К р е й н. Он самый.

О л и в и я. Изволите фрукты, кофе, тосты, яйца?

К р е й н. Да, яиц побольше.

О л и в и я. Всмятку, сэр?

К р е й н. Обязательно.

О л и в и я. А как насчет бекона, сэр?

К р е й н. Отлично!

О л и в и я. С хрустящей корочкой, сэр?

К р е й н. Мой любимый.

О л и в и я. Так вы сказали, яйца вкрутую…

К р е й н. Да, то есть... *(Оливия быстро уходит и захлопывает за собой дверь.)* Нет… нет… всмятку! *(Крейн приоткрывает дверь, с другой стороны за ручку держится Оливия.)*

О л и в и я. Всмятку так всмятку. Могу и вкрутую, мне без разницы. Кипеть вода будет, а не я. *(Уходит, оставляя на сей раз дверь открытой.)*

К р е й н *(вдогонку)*. Спокойной ночи, Джейн Элен.

О л и в и я *(за сценой)*. Спокойной ночи, сэр! И доброго утра!

К р е й н *(поворачивается лицом к публике, смеется)*. Вот так дела, черт меня побери!

Занавес.

АКТ 2

Спустя два дня.

Кухня, большое светлое помещение с одним окном, выходящим в сад. В центре дверь, тоже в сад. Она открыта на протяжении всего акта. У стены — огромный буфет, рядом раковина для мытья посуды, далее дверь в кладовку, справа двустворчатая вращающаяся дверь, над ней звонок-колокольчик с фиксированным количеством звонков от 1 до 6. В проеме между центральной дверью и левым углом на стене развешана кухонная утварь: сковороды, кастрюли, прочее, здесь же большой кухонный стол с несколькими стульями вокруг, слева — плита, над плитой висит полка, на которой размещаются соль и прочие специи в банках.

Когда поднимается занавес, на сцене Бриндлбери. Он моет посуду в раковине, Пол стоит рядом и вытирает полотенцем блюдо, затем он берет поднос и составляет на него со стола всю вымытую посуду. Джейн Элен стоит возле стола и нарезает сырой картофель на сковороду. Пол, сгрузив всю посуду со стола, уже готовится уйти, но в этот момент его останавливает Бриндлбери.

Бриндлбери. Минуточку, господин дворецкий! Соблаговолите взять еще одну чашечку!

Смитфилд подходит к нему с подносом в руках, и Бриндлбери ставит на поднос чашку.

Смитфилд. Осторожнее! Не грузи через край. Я же тебе не жонглер, чтобы, если что, ловить эти чашки на ходу.

Бриндлбери. А ты ступай осторожно и не глазей по сторонам.

Смитфилд. Тебя послушать, так все проще простого. *(Идет к вращающимся дверям.)* Мы и так переколотили за эти дни кучу посуды. *(Бриндлбери роняет тарелку в раковину.)* О! Еще одна! Мир праху ее! *(Уходит.)*

Джейн *(стоя у стола)*. Чарли, милый! Это же самый любимый мамин сервиз! Будь поаккуратнее!

Бриндлбери. Джи! Честное слово, я не виноват! Эти противные тарелки сами так и норовят выпасть из рук! *(Некоторое время оба молчат, занятые каждый своей работой.)* Ранди не звонил?

Джейн *(подходит к плите и помешивает суп в кастрюле)*. Нет, хотя пора бы. Прошло уже два дня.

Бриндлбери. Он, наверное, просто боится звонить.

Джейн *(снова возвращаясь к столу)*. Мог бы сам прийти, посмотреть, как мы тут... *(Кладет на сковородку масло.)*

Бриндлбери. Да уж! Мог бы поторопиться. Чувствую, мне позарез нужен дублер.

Джейн. Тебе? Да с тобой-то все в порядке! Больше всего меня беспокоит Бесс.

Бриндлбери. А что Бесс? Бесс как всегда в своем... *(Роняет очередную тарелку, слышится звон разбиваемой посуды.)*

Джейн. Чарли! Я тебя умоляю!

Бриндлбери. Прости, Джи! И еще раз прости!

Джейн. Не прости, а будь аккуратнее! Слава богу, что тебе не придется зарабатывать на жизнь мытьем посуды. Не много бы ты заработал с такой сноровкой.

Бриндлбери. Говоришь, не придется? А чем я сейчас, по-твоему, занимаюсь?

Джейн. Уничтожаешь домашнее имущество.

Входит Араминта, у нее разъяренный вид. Она достает из шкафа гладильную доску и швыряет ее что есть сил на стол. Затем берет с плиты чугунный утюг, а с полки достает подставку для него. Подходит к столу и начинает гладить кружевные воротники. Короткая пауза.

Д ж е й н. Привет, сестричка! *(Пауза.)* В чем дело, моя хорошая? *(Пауза.)* Опять эта ведьма допекла?

А р а м и н т а *(яростно орудуя утюгом).* Я бы задушила ее этим воротником! (*Швыряет утюг на подставку.)*

Б р и н д л б е р и. Ах, какие мы сердитые!

А р а м и н т а *(бросает на него испепеляющий взгляд).* А ты заткнись, когда тебя не спрашивают! *(Грубая реплика застает Бриндлбери врасплох, и он роняет еще одну тарелку.)* Хотела бы я посмотреть, как бы ты день и ночь покрутился вокруг этой старой курицы. И то ей не так, и это не по нраву. Никак не угодишь! Проклятые воротники я утюжу уже в третий раз. Чтоб они ее задавили!

Д ж е й н поливает соусом картофель, появляется С м и т ф и л д с пустым подносом и начинает составлять чистую посуду.

Д ж е й н. Но Бесс, будь умницей!

А р а м и н т а *(передразнивая миссис Фолкнер).* Милочка, подай то, милочка, принеси это! Если там, на Севере, таких называют дамами, то я предпочитаю быть кем угодно, только не дамой! *(К Джейн, которая занята тем, что посыпает картофель мускатным орехом.)* А все ты! Ты втянула нас в эту авантюру! Но предупреждаю самым серьезным образом. Если Ранди Уикс не появится здесь в ближайшее же время со своими проклятыми слугами, то я выхожу из игры! С меня довольно! Еще сутки я кое-как вытерплю эту каргу, но ни одной минуты больше! Все, хватит!

С м и т ф и л д *(подходит к ней).* Послушай, Бесс! Мне кажется, ты не вполне понимаешь…

А р а м и н т а. А ты лучше помолчи! Тебе хорошо! Сам прислуживаешь ей только за столом! Попробовал бы ты хоть раз затянуть эту лошадь в корсет!

Ч а р л и смеется. Д ж е й н наливает в чашку воду из чайника и поливает ею картофель.

Д ж е й н. Я тебя отлично понимаю, дорогая… Тебе несладко. Но потерпи еще немножко. И потом, если честно, Бесс, ты тоже не очень… Вечно забываешь чайное ситечко, когда подаешь ей утренний чай… Не успеваешь разбудить ее ровно в восемь и так далее. Словом, не обижайся, но ты не вполне компетентна. *(Идет к раковине, где висят полотенца, и вытирает руки.)*

А р а м и н т а. Что значит «не вполне компетентна»? Пусть даже и так! А с какой такой стати мне надо быть компетентной?

Д ж е й н. Разумеется, не надо. Вот только старухе об этом ничего не известно. А потому повторюсь еще раз: пожалуйста, не забывай о ситечке.

А р а м и н т а. Ничего страшного, если и забуду. В конце концов, не старуха же за ним побежит. Надо же! «Не вполне компетентна»! Подали бы мне сейчас эту старую швабру сюда, я бы ее так разутюжила! *(Со всего размаху швыряет утюг на стол.)*

Д ж е й н. Как ты можешь, Бесс! Зная, что поставлено на карту! Только подумай об отце. Бедный папочка! Быть может, в эту самую минуту он... *(Слезы душат ее, она отрывает на стене бумажное полотенце и протирает им глаза.)*

С м и т ф и л д. Между прочим, хочу заметить, что это полотенце, а не носовой платок.

Д ж е й н *(идет к плите и говорит, не оборачиваясь).* Прикуси язык!

А р а м и н т а. Ах, Ливи, прости меня! Я виновата! Понимаю, я веду себя по-свински. Но если я свинья, то тогда она…

Б р и н д л б е р и. Змея подколодная и драная курица вместе взятые. А еще ведьма и мегера!

Раздается звонок.

С м и т ф и л д *(смотрит на индикатор).* Это тебя, Бесс!

А р а м и н т а *(отставляет утюг в сторону).* Уже, разрывается! Не понимаю, как только звонок выдерживает. *(Берет воротнички со стола и направляется к двери.)* Кончится тем, что я все-таки сопру ее шелковые чулки! *(Уходит злая.)*

Д ж е й н снова возвращается к столу.

С м и т ф и л д. Если честно, то Бесс действительно не повезло. Вредная старуха!

Б р и н д л б е р и. Под стать своему братцу, мистеру Такеру! Тот ничуть не лучше, доложу я вам.

Д ж е й н *(забирает со стола гладильную доску).* Что ж тут удивительного? Одна семейка! Вот возьми, к примеру, нас, мы все такие добродушные, веселые, а все потому, что родня. *(Звонок.)* На сей раз тебя, Пол. *(Забирает у него поднос.)*

С м и т ф и л д *(мгновенно преображаясь в слугу).* Да, сэр! Хорошо, сэр! Вы сказали: «Ступай ко всем чертям»! Слушаюсь, сэр! Но только после вас, сэр! *(Уходит.)*

Д ж е й н. Чарли, отнеси поднос в дворецкую! И ради всего святого, не разбей ничего по дороге! Осторожно. Вот дверь! *(Чарли балансирует с подносом в руке подобно канатоходцу, спотыкается и едва не роняет поднос на пол.)* Пожалуйста, прошу, без фокусов. *(Чарли уходит, за сценой слышен перезвон посуды.)*

Д ж е й н *(ставит утюг снова на плиту. Убирает в шкаф гладильную доску. Ранди Уикс энергично открывает дверь в кухню. Джейн оборачивается.)* Ранди! Наконец-то!

У и к с. Здравствуйте, Ливи.

Д ж е й н *(нетерпеливо).* Какие новости? Нашли слуг? Когда они приезжают? Пожалуйста, не тяните же, Ранди! Так они приедут или нет?

У и к с. Надеюсь, да.

Д ж е й н. Ранди, вы просто прелесть! *(На какое-то время исчезает в кладовке.)*

У и к с *(подходит к столу).* Но раньше вторника они здесь не появятся.

Д ж е й н. Вторника? То есть, нам терпеть еще целых три дня! *(Возвращается в кухню, держа в руке цыпленка, кладет его на стол.)*

У и к с. Раньше они никак не могут. Вам и так крупно повезло. Сегодня найти прислугу для работы в деревне — большая проблема. Ну, а вы как справляетесь?

Д ж е й н. Как-то справляемся, если только Бесс не выкинет какой-нибудь номер. Особого желания прислуживать этой даме у нее нет. *(Снимает сковороду с крючка над плитой. Ставит на стол.)*

У и к с *(со смехом).* И я ее прекрасно понимаю! Дама такого высокого мнения о себе. Ливи, вы рады меня видеть?

Д ж е й н *(укладывая цыпленка на сковороду).* Ужасно рада, Ранди!

У и к с. Тогда докажите это!

Д ж е й н. Хорошо. В знак моего особого расположения к вам разрешаю…

У и к с. Что?

Д ж е й н. Приготовить мороженое. *(Достает из ящика буфета мороженицу и ставит ее на стол.)*

У и к с *(саркастически).* Как это мило с вашей стороны, Ливи! *(Берет мороженицу.)*

Д ж е й н. Не ворчите, Ранди, а приступайте к делу. *(Достает с полки над плитой перец и соль.)*

У и к с. Делать мне больше нечего, как взбивать мороженое для Крейна! *(Садится на стул, достает из кармана носовой платок, чтобы придержать им ручку мороженицы.)*

Д ж е й н. И для мистера Такера тоже! Не забывайте о нем.

У и к с *(начинает вращать ручку).* Вот-вот! Еще и Такер!

Д ж е й н *(переходит на просторечье, желая подразнить Уикса).* Этот-то уж как мне по сердцу, так и слов нет! *(Уикс с удивлением смотрит на нее. Джейн переходит на обычную речь.)* Такер — человек с сильным характером. Привык всеми командовать. *(Натирает цыпленка перцем и солью, потом смазывает сливочным маслом.)*

У и к с. В самом деле? *(Резко поворачивает ручку мороженицы.)*

Д ж е й н. О, нет! Так дело не пойдет! *(Уикс выжидательно смотрит.)* Пожалуйста, не так быстро! Иначе вы мне загубите весь десерт!

У и к с. Ливи, а Такер заглядывает в кухню?

Д ж е й н. Пока еще не приходил. *(Набирает в кружку муку из ящика.)*

У и к с *(подпрыгивает на стуле).* Что значит пока?

Д ж е й н. Пока значит пока. Он, мой милый Ранди, человек непредсказуемый. Кто знает, что ему взбредет в голову? *(Обваливает цыпленка в муке.)* Типичный муж-деспот из классической комедии нравов.

У и к с *(отставляет мороженицу в сторону и идет к Ливи).* Ливи, уж не хотите ли вы сказать, что позволите этому деспоту ухаживать за вами?

Д ж е й н. А почему бы и нет? *(На просторечии.)* Уж эти господа такие прыткие, такие прыткие… Трудно с ними справиться. *(Наливает в чашку горячей воды из чайника.)*

У и к с. Со мной вы всегда легко справлялись.

Д ж е й н *(на просторечии*). Вы, сэр, не такой хваткий!

У и к с. Ливи, прошу вас, перестаньте ломать язык! *(Делает шаг к ней.)*

Д ж е й н *(на просторечии).* Во всяком деле поднатореть нужно, вам хоть кто это же скажет. Ступайте-ка, сэр, лучше к своей мороженице... *(Наливает воды на сковороду. Уикс возвращается на прежнее место.)* Если этой старой ведьме не угодишь с обедом, нам всем мало не покажется!

У и к с *(медленно вращает ручку).* Говорят, будто бы Крейн собирается объявить о своей помолвке с ее дочерью.

Д ж е й н *(идет к духовке и ставит туда цыпленка).* Хорошего ему будет мало. С такой тещей бедняге не позавидуешь. *(Закрывает духовку с громким стуком.)*

У и к с. Ливи, а как вам сам Крейн?

Д ж е й н достает из буфета поднос и графин для вина. Пауза. У и к с перестает вращать мороженицу и поворачивается к Д ж е й н.

У и к с. Ливи, я спрашиваю, что вы думаете о Крейне? *(Облокачивается на край стола.)*

Д ж е й н *(возится с блюдом в раковине).* По-моему, он очень даже ничего.

У и к с. Занятная характеристика! Оливия, мне всегда казалось... *(Поднимается с места.)*

Д ж е й н. Ранди, прошу вас, не отвлекайтесь! Работайте, работайте!

Уикс *(снова садится).* Вы прекрасно знаете, что ради вас я готов на все. *(Усердно крутит мороженицу.)*

Джейн наливает вино в графин, стоя возле буфета.

Джейн. Не так, Ранди! Не так! Не надо рывками! Вращайте плавно. Дайте-ка я вам покажу! *(Подходит к нему со спины, наклоняется над столом и начинает вращать мороженицу.)* Вот так… медленно… плавно... *(Уикс привстает и целует ее. Джейн отскакивает к плите и хватает черпак.)* Ранди Уикс! Шагом марш из кухни! И больше сюда ни ногой!

Уикс. Но дорогая! Я только…

Джейн. Вон из кухни, я сказала!

Уикс встает с места и роняет платок на пол.

Уикс. Ливи, неужели вы в самом деле… хотите, чтобы я ушел?

Джейн. Да! Да! Да!

Уикс уже готов уйти. Такер, прогуливаясь в саду, останавливается возле раскрытых дверей, привлеченный громкими голосами на кухне. Он подходит ближе, снедаемый любопытством: что там происходит. Но увидеть Уикса со своего места не может.

Уикс *(стоя лицом к Джейн).* Все дело в том, что вы холодная бездушная кокетка, которая думает только о себе. Вам дела нет до страданий других людей. Да уж если на то пошло, то Бесс в сто раз лучше вас!

Джейн. Вот и целуйтесь с ней на здоровье!

Уикс. Она не такая! Она не потерпит!

Джейн *(подбегает к нему в ярости).* А я, значит, по-вашему, такая? Вот как вы заговорили, Ранди Уикс! Ненавижу вас! Я готова задушить вас собственными руками!

Уикс *(из-под стола, ищет свой платок, сердито).* Сами виноваты! Вы сами меня спровоцировали!

Джейн. Я?!

Уикс. Да, вы! И прекрасно понимаете это!

Джейн. Откуда мне было знать, что вы способны на подобное вероломство?

Уикс. Вы всегда притворялись, что я вам нравлюсь!

Джейн. Вот именно! Притворялась!

Уикс *(собирается уходить).* Вы еще горько пожалеете о своих словах.

Джейн. Ни капельки не пожалею!

Уикс. Еще как пожалеете!

Джейн. Нет, не пожалею!

Уикс. Да! Да! Да!

Джейн. Нет! Нет! Нет!

Уикс. Пожалеете, да поздно будет! И вообще, мне искренне жаль того парня, который женится на вас!

Джейн. Будь ваша воля, вы бы на мне хоть завтра женились!

Уикс. Ни за что!

Джейн. Нет, женились бы!

Уикс. Не женился!

Джейн. Женился!

Уикс. Ни за что не женился бы! Даже будь вы единственной женщиной на свете!

Джейн. Ранди Уикс! Прочь с моих глаз!

У и к с. Всего хорошего!

Д ж е й н. Попрошу закрыть дверь с обратной стороны!

У и к с уходит, громко хлопая дверью. Д ж е й н заливается смехом, подбирает с пола платок, который уронил У и к с, рассматривает его, а потом швыряет на стул. Убирает мороженицу в стол. Т а к е р, услышав, как хлопнула дверь, наконец решается зайти в кухню. Он озирается по сторонам, боясь посторонних глаз, но в этот момент тут появляется Ч а р л и с парой ботинок в руках. Т а к е р снова отступает вглубь сада.

Ч а р л и. Совсем забыл про ботинки этого придурковатого старикашки.

Т а к е р с негодованием взирает на него через приоткрытую дверь, а потом уходит вправо. Проходя мимо окна, бросает еще один укоризненный взгляд на Чарльза, который яростно орудует щеткой и гуталином, весело насвистывая популярный мотивчик. Д ж е й н снова идет в кладовку и возвращается с миской кукурузных хлопьев и яйцами, потом приносит кувшин молока. Все продукты выгружаются на стол.

Д ж е й н. Господи, неужели, наконец, все?

Раздается очередной звонок. Ч а р л и поспешно прячет принадлежности для чистки обуви и уходит, наводя глянец на ботинок на ходу с помощью калошины собственных брюк. Д ж е й н убирает ненужное со стола в ящики буфета. Т а к е р, убедившись через окно, что она одна, заходит на кухню. Д ж е й н напевает тот же мотивчик, что насвистывал ее брат, но заметив Т а к е р а, начинает напевать «Мой миленький дружок, любезный пастушок…», потом поворачивается с улыбкой навстречу Т а к е р у.

Т а к е р. Здравствуй, Джейн Элен.

Д ж е й н. И вам доброго здоровьечка, сэр. *(Идет к столу с маленькой кастрюлькой в руке.)*

Т а к е р *(делает шаг вперед).* Надеюсь, не помешал?

Д ж е й н. Смотря как посмотреть, сэр. *(Берет со стола деревянную ложку и начинает помешивать ею в кастрюле.)* Вы точно — оптимист.

Т а к е р *(снисходительно улыбаясь).* А что ты знаешь об оптимистах, моя крошка?

Д ж е й н. Очень даже знаю, сэр. Оптимист — это такой человек, который любит заботиться о других.

Т а к е р *(смеясь).* Смешная ты, Джейн Элен!

Д ж е й н. Правду говорю, сэр. Своими ушами слышала. А еще говорят, что оптимисты легко обманываются сами. Зато других им не провести. *(Идет к плите с кастрюлькой, непрерывно помешивая в ней.)*

Т а к е р *(подходит сзади, пытаясь полуобнять ее).* Ты очень легкомысленная, Джейн Элен!

Д ж е й н. Вовсе нет! *(Перестает помешивать и ударяет горячей ложкой по руке Такера.)*

Т а к е р *(подпрыгивая от боли).* Ой-е-ей!

Д ж е й н. Больно, сэр? Сами виноваты. *(Снова начинает помешивать в кастрюле.)*

Т а к е р *(сама любезность).* Пустяки! Пустяки! Я просто хотел заметить, что несмотря на… э-э-э… никоторую фривольность, которую я порой замечаю в твоем характере… Все же, как-никак, я постарше твоего хозяина… *(Обходит вокруг стола.)*

Д ж е й н. Много старше, сэр. Даже очень много.

Т а к е р. Неужели? Да, так вот… я старше… И уж во всяком случае... *(Пытается снова приблизиться к Джейн, которая все еще хлопочет у плиты.)* Я знаю, что такое жизнь. А потому неплохо представляю себе,

какие трудности подстерегают молоденькую и, я бы заметил, весьма хорошенькую девушку на этом тернистом пути.

Д ж е й н *(поворачивается к нему).* А вам-то что за беда, сэр?

Т а к е р. Мое дорогое дитя, я говорю истинную правду. Если бы ты только... *(Делает еще шаг вперед, но Джейн хватает с плиты чайник и вручает его Такеру.)* Ах, чайник… Я постараюсь…

Д ж е й н. Подержите, пожалуйста. А то на плите места нет. *(Такер перебрасывает горячий чайник с руки на руку и испуганно озирается по сторонам. Он боится, что его могут застать в таком смешном положении. Джейн целиком поглощена плитой.)* Так что вы там говорили?

Т а к е р. Так вот! *(Возвращается к столу.)* Я просто хотел сказать, что если у тебя возникнут проблемы в этом доме, какие неприятности… и все такое, то ты вполне можешь положиться на меня как на своего доброго друга…

Д ж е й н. Правда?

Т а к е р. Истинная правда! Буду рад оказать тебе услугу.

Д ж е й н. Вот и отлично! Окажите ее прямо сейчас!

Т а к е р *(лучезарно улыбаясь).* Мое дорогое дитя! Только скажи, что надо делать!

Д ж е й н. Закрыть за собою дверь!

Т а к е р. Как? Ты… ты хочешь, чтобы я ушел?

Д ж е й н. В самую точку, сэр! Кухня — не то место, где пристало любезничать с господами.

Т а к е р *(смотрит на дверь, через которую вышел Уикс).* По-моему, минут десять тому назад ты говорила то же самое.

Д ж е й н *(бросает на него быстрый взгляд и снова поворачивается к плите).* Ну вот, соус побежал! Беда с этой плитой, сэр! Стоит только отвернуться, и — готово!

Т а к е р. Моя дорогая Джейн Элен!

Д ж е й н *(вручает ему кастрюлю с соусом).* Пожалуйста, подержите вот это!

Т а к е р *(демонстрирует зрителю, что кастрюля очень горячая).* С удовольствием!

Д ж е й н *(пробует соус*). По-моему, маловато соли. *(Берет со стола соль. Такер понимает всю нелепость ситуации. Он снова опасливо озирается по сторонам, прислушивается к шагам за дверью. Джейн подсаливает соус, помешивая прямо в кастрюле, которую продолжает держать Такер. Такер все время крутит головой по сторонам, и Джейн нечаянно просыпает немного соли ему на рукав. Джейн с улыбкой смотрит на Такера, тот игриво улыбается ей в ответ.)* Ах, сэр! Да у вас все лицо в саже! Где ж это вы умудрились так испачкаться? Подождите, сейчас возьму тряпку… По-моему, это даже не сажа, а... *(Такер взволнован, он снова бросает встревоженные взгляды на дверь. Джейн извлекает из-за пояса тряпку, быстро вымазывает ее сажей на плите, потом возвращается к Такеру и начинает тереть ему лицо.)* Вот так… вот хорошо… Негоже такому важному господину разгуливать по дому с чумазым лицом. Ума не приложу, где можно так извозиться! Ой, постойте! Еще пятнышко осталось на подбородке! *(Натирает сажей подбородок.)*

Т а к е р. Спасибо. Большое спасибо, Джейн Элен.

Д ж е й н. Не за что, мой господин. А то стали бы все приставать к вам с расспросами, где да что... *(Возвращается к столу и собирает миски.)*

Т а к е р *(по-прежнему держит в руках кастрюлю. Слова Джейн Элен напоминают ему, что в любой момент в кухню могут зайти посторонние и увидеть его в такой нелепой позе).* Да, Джейн Элен, ты абсолютно права! По-моему, тебе лучше забрать у меня…

Д ж е й н. Сию минутку, сэр! Только миски поставлю в буфет.

Появляется Б р и н д л б е р и, идет к раковине, отворачивается.

Б р и н д л б е р и. Ливи, ты где? *(Такер, услышав его голос, поворачивается к нему, и Бриндлбери разражается хохотом при виде его чумазой физиономии.)*

Т а к е р *(величественно).* Послушай, милейший! Могу я поинтересоваться, что вызвало у тебя такой взрыв веселья?

Б р и н д л б е р и *(чуть не падая от смеха).* Ой, я не могу! Конечно, можете, сэр. Мистер Крейн только что вернулся с автомобильной прогулки по окрестностям.

Т а к е р. Не понимаю, какая тут связь. *(Однако при мысли о том, что Крейн может в любую минуту появиться вкухне, он начинает нервничать. Подходит к столу и ставит чайник и кастрюлю.)* Пожалуй, пойду встречу его. *(Идет к двери.)*

Б р и н д л б е р и *(в сторону).* Иди-иди! Вот умора будет! Однако, мне кажется, в кухне вертится чересчур много мужчин.

Т а к е р *(поворачиваясь у самой двери, с достоинством).* Ты что-то сказал, милейший?

Д ж е й н возвращается к столу с маленькой кастрюлькой в руке.

Б р и н д л б е р и. Да, сэр. *(Идет с угрожающим видом к Такеру.)* Я сказал, что Джейн Элен — моя сестра.

Т а к е р. Ну и что? Меня совсем не интересуют твои родственные связи, Бринби.

Б р и н д л б е р и *(сжимая кулаки).* Зато вас очень интересуют мои родственники. Во всяком случае, некоторые из них. Иначе с чего бы это вам торчать здесь и любезничать напропалую с моей сестрой? Предупреждаю, сэр! Я не потерплю впредь подобных амуров!

Д ж е й н. Бринби, успокойся! Прошу тебя!

Т а к е р *(делает шаг вперед).* Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне!

Б р и н д л б е р и. Прочь из кухни! Или я за себя не ручаюсь. *(Готовится ударить Такера.)*

Д ж е й н *(подбегает к брату и оттаскивает его в сторону).* Бринби! Не смей! Что ты делаешь?

Б р и н д л б е р и *(явно недовольный тем, что ему помешали).* Я прекрасно знаю, что делаю!

Д ж е й н *(поворачиваясь к Такеру).* Ваша честь! Сэр! Не знаю, что на него нашло… Прошу вас… Он ведь еще совсем мальчишка…

Т а к е р. Он уже достаточно взрослый парень, чтобы знать свое место.

Б р и н д л б е р и. А ты свое место знаешь, старый шимпанзе?

Т а к е р. Что ты сказал?

Д ж е й н. Замолчи немедленно! *(Такеру.)* Прошу вас, сэр! Простите его… Он не со зла… Просто устал… он так много работает… он сожалеет…

Т а к е р. На его физиономии я не вижу особого сожаления!

Б р и н д л б е р и. А я и не сожалею! Ни капельки!

Т а к е р *(к Джейн Элен).* Вот! Что я говорил! *(Идет к двери.)* Немедленно доложу о его безобразном поведении Крейну! Я тебе покажу, мальчишка!

Д ж е й н. Что ты натворил!

Б р и н д л б е р и. Ничего я не натворил! Пусть жалуется! Буду только рад!

Д ж е й н. Рад?

Б р и н д л б е р и. Да, рад! Плевать я на него хотел! А ты что думаешь, я буду терпеть, как эта старая обезьяна будет волочиться за тобой?

Д ж е й н. Успокойся, прошу тебя! Ты сейчас, чего доброго, и в самого мистера Крейна запустишь утюг. Между прочим, я прекрасно могу за себя постоять. Или я, по-твоему, никогда не флиртовала с мужчинами?

Б р и н д л б е р и. Думаю, кое-какой опыт по этой части у тебя имеется, сестричка.

К р е й н *(за сценой).* Привет, Такер!

Б р и н д л б е р и. Ой, умираю! Хочу увидеть эту комедию собственными глазами! *(Выбегает за дверь.)*

Д ж е й н скрывается за левой дверью. Входит Т а к е р, за ним К р е й н и К о р а.

К р е й н *(стоя в дверях).* А мы с ног сбились, разыскивая вас. Можно сказать, перевернули дом вверх дном.

Т а к е р идет к столу и поворачивается лицом к публике. К р е й н кладет шляпу на стул возле двери, идет к Т а к е р у.

Т а к е р. Так уж и сбились. Это я вас разыскивал по всему дому.

К р е й н. Вижу-вижу. Даже до кухни добрались.

Т а к е р *(поворачивается лицом к Крейну и Коре, и те, увидев его испачканное сажей лицо, начинают смеяться*). В чем дело? Не понимаю…

К р е й н. Бог мой, Такер! Что у вас с лицом?

Т а к е р. А что у меня с лицом, черт подери?

К о р а. Дядя! У вас такой вид, будто вы только что из шахты вылезли.

Т а к е р *(очень зол).* Какая шахта? Что за чушь!

К р е й н. Он, наверное, целовался с плитой.

Т а к е р. Я попрошу вас, Бертон, выбирать… *(Делает решительный шаг в сторону Крейна, но его останавливает Кора.)*

К о р а. Дядя, вы весь в саже. Дайте-ка я вытру вам лицо. *(Еще больше размазывает грязь носовым платком, который она извлекает из его кармана.)* О господи! Ничего не понимаю! Вы только взгляните на свой платок!

Т а к е р. Ужас!

К о р а. Сейчас немного лучше. *(Такер думает, что Кора привела его лицо в порядок, а потому к нему немедленно возвращается его обычная важность.)*

К р е й н. В самом деле, Такер, где вы умудрились так испачкаться?

Т а к е р. Сам не пойму! *(Обращаясь к Коре.)* Очень признателен тебе, моя дорогая девочка. *(Идет влево, но тут, видимо, вспоминает о стычке с Бриндлбери и снова обращается к Коре.)* Кора, дитя мое, я должен перекинуться с Бертоном парой слов… Тебе их лучше не слышать.

К о р а. Ой, как интересно! Что ж, пойду прогуляюсь. Я обещала маме регулярно совершать променад. *(Идет к двери.)*

К р е й н. Я к вам скоро присоединюсь, Кора.

К о р а. Тогда не затягивайте разговор с дядей, Бертон.

К р е й н. Ни в коем случае! (*Кора выходит в сад и проходит мимо окна. Крейн нетерпеливо подходит к Такеру.)* Так в чем дело, дружище?

Т а к е р. Прошу вас немедленно выгнать вон этого мальчишку.

К р е й н. Кого? Бринби?

Т а к е р. Именно!

К р е й н. С какой стати?

Т а к е р. Он вел себя возмутительно по отношению ко мне! Говорил всякие гадости…

К р е й н. В самом деле?

Т а к е р. И даже пытался ударить меня.

К р е й н. Вы шутите, Такер! Не может быть!

Т а к е р. К моему большому сожалению, не шучу.

К р е й н. Мой дорогой Такер! Безусловно, в этом случае парня нужно гнать в шею. Но что случилось?

Т а к е р. Видите ли... *(Подходит поближе к Крейну.)* Я… я был в кухне… а этот негодяй… он вообразил, что я ухаживаю за кухаркой!

К р е й н. Что за чепуха!

Т а к е р. И я такого же мнения!

К р е й н. Человек в вашем возрасте и…

Т а к е р *(отнюдь не в восторге от подобного замечания).* Между прочим, вам, наверное, будет небезынтересно узнать, что мальчишка заявил, будто бы кухарка — его сестра.

К р е й н. Глупости! *(Делает несколько шагов по сцене.)* Никакая она ему не сестра. Она же из Ирландии.

Т а к е р *(тоже прогуливается по сцене, потом заглядывает за левую дверь).* Может, из Ирландии, а может, и нет… (*Возвращается к столу.)*

К р е й н. Кстати, Такер, а вы что делали в кухне?

Т а к е р *(в некотором замешательстве).* Гм… гм… дело в том… я проходил мимо… услышал громкие голоса… *(Обретает уверенность.)* Джейн Элен и какой-то молодой человек… они тут любезничали и все такое… Мне даже показалось, что они целуются.

К р е й н. Черт! Повезло же парню!

Т а к е р *(строгим тоном).* Крейн, не будьте столь легкомысленны! Вы должны принять меры!

К р е й н. Да? И что же вы предлагаете?

Т а к е р. Девчонку тоже нужно уволить.

К р е й н. Вы так полагаете?

Т а к е р. Да, полагаю!

К р е й н. Понятно.

Входит С м и т ф и л д и направляется к раковине.

К р е й н. Смитфилд, мистер Такер только что сообщил мне, что Бринби пытался ударить его и при этом обзывал всякими нехорошими словами. К слову говоря, дружище, а как конкретно он вас обзывал?

Т а к е р *(после некоторых раздумий).* По-моему, он обозвал меня старым шимпанзе.

С м и т ф и л д смеется и отворачивается к раковине.

К р е й н *(пытаясь сохранить серьезный вид).* Вот видите, Смитфилд!

С м и т ф и л д *(с трудом сдерживая смех, поворачивается к Крейну).* Да, сэр! Никак не могу отучить сорванца от этой страсти к преувеличениям.

Т а к е р бросает испепеляющий взгляд на С м и т ф и л д а и, не скрывая своего негодования, идет к правой двери в углу.

К р е й н. Мальчишку немедленно рассчитать. *(Смитфилд мимикой показывает, что он против.)* Проследите за тем, чтобы он собрал свои

вещи, и через час чтоб его и духу не было! А сейчас я хочу сам поговорить с кухаркой. *(Идет к кухонному буфету.)*

Смитфилд. Слушаюсь, сэр. *(Делает несколько шагов вслед за хозяином.)* Вот только…

Крейн *(увидев через дверь Джейн).* Что «вот только»?

Смитфилд *(начинает торопливо объяснять).* Все дело в том, сэр… видите ли… кухарка сейчас прилегла отдохнуть, сэр.

Крейн. Где, прямо в кладовке? *(Входит Джейн.)*

Смитфилд. Тысяча извинений, сэр. Я ошибся, сэр.

Джейн начинает снова колдовать над своим соусом возле плиты.

Крейн. Ступайте, Смитфилд, ступайте.

Смитфилд. Слушаюсь, сэр. *(Скрывается за дверью, видно, как он стоит и прислушивается к разговору.)*

Такер. Мне помочь вам, Бертон?

Крейн. Нет, благодарю вас. Я вполне справлюсь один.

Такер. Прекрасно-прекрасно! *(Снова направляется к двери.)*

Крейн *(поднимает носовой платок и внимательно рассматривает его).* Постойте, Такер! *(Такер идет назад. Крейн делает шаг ему навстречу.)* Это ваш платок?

Такер. Мой? Почему обязательно мой? *(Рассматривает инициалы.)* Вот посмотрите! Здесь же даже инициалы не мои — Р. У. *(Уходит.)*

Крейн внимательно рассматривает инициалы и вздрагивает от собственной догадки, потом берет себя в руки, бросает взгляд в сторону Джейн, хлопочущей у плиты, прячет платок в карман и вальяжно усаживается на стул.

Джейн *(возвращаясь к столу).* Что угодно, сэр?

Крейн. Джейн Элен… Я… то есть вы… Дело в том, что... *(Замечает Смитфилда, все еще торчащего у двери.)* Ступайте, Смитфилд, ступайте!

Смитфилд. Слушаюсь, сэр. *(Неохотно уходит.)*

Крейн. Джейн Элен, вы, наверное, догадываетесь, о чем я собираюсь говорить с вами.

Джейн. Вам не понравился завтрак, сэр?

Крейн. О, нет! Завтрак был превосходным. Мне не понравилось то, что случилось после завтрака.

Джейн. Ах, сэр! Вины моей в том нет! Мистер Такер сам пришел сюда! Я его не звала!

Крейн. Я говорю сейчас не о Такере. Насколько мне известно, были и другие посетители. Или нет?

Джейн *(стоя у стола).* Да, сэр, были.

Крейн. Джейн Элен, мне не нравится, когда молодые люди ни с того ни с сего являются в мой дом и тут же начинают целоваться с моей кухаркой. Во всяком случае, мне не нравится, когда это делают посторонние молодые люди.

Джейн. Да, сэр. Согласна с вашей милостью на все сто.

Крейн. То есть, вы хотите сказать, Джейн Элен, что вы не виноваты?

Джейн. А то, сэр! Где это видано, чтобы девушку целовали против ее воли? А еще джинтльменом называется.

Крейн *(в некотором замешательстве).* Гм! Конечно, подобное обращение с молодой девушкой просто возмутительно! Послушайте, Джейн Элен, не подумайте, что я к вам пристаю со своими советами...

Джейн. А я была бы только рада… Дайте же мне совет, дайте! Разве

простой девушке нельзя принять совет от джентльмена? Или это погубит ее репутацию? Я так думаю, может. И это — то немногое, что она может приять от него с чистой совестью.

Крейн. Тогда слушайте! На вашем месте я не стал бы терпеть, чтобы под боком у вас вертелись всякие вертопрахи. Разве у таких есть серьезные намерения на уме?

Джейн. Почем знать, сэр. Что же до парня, который давеча тут отирался, так в его намерениях я не сомневаюсь ни секунды!

Крейн. Он, что же, и предложение вам делал?

Джейн. Да он его почти каждый день делал… До сего дня.

Крейн. А сегодня, значит, не сделал?

Джейн. А сегодня, сэр, он заявил, что ни за что не женится на мне. Будь я хоть единственной женщиной на всем белом свете.

Крейн. И вы ему поверили?

Джейн. Думаю, сэр, он врет.

Крейн. Наверняка врет. И все же мне не совсем понятно, зачем вы целовались с ним, если сами не…

Джейн *(становится перед столом).* Так то ж против моей воли, сэр! Я же не громила какая-то, чтобы с ним бороться.

Крейн. Что правда, то правда. Молодой человек в состоянии содержать семью?

Джейн. Вполне, сэр.

Крейн. И тем не менее вы…

Джейн. Да, сэр. Я его не люблю.

Крейн *(делает шаг к ней).* То есть, вы хотите сказать, что готовы зарабатывать на жизнь собственным трудом, лишь бы не выходить замуж за нелюбимого?

Джейн. В самую точку, сэр. Уж лучше помереть! *(Крейн внимательно смотрит ей в глаза, она выдерживает его взгляд, и он первый отводит свои глаза. Долгая пауза.)* Что-нибудь еще, сэр?

Крейн. Нет, это все. *(Направляется к двери. Поворачивается и видит, что она смотрит ему вслед.)* Если парень заявится сюда еще раз, дайте-ка мне знать. Я постараюсь сделать так, чтобы он вам больше не докучал.

Джейн *(качает головой в сомнении).* Да вряд ли он еще сюда сунется… *(Крейн смеется. Пауза.)* По крайней мере, в ближайшие два дня.

Крейн. Ах, вот как! *(Уходит. Смитфилд осторожно приоткрывает дверь, прислушивается. Затем входит.)*

Смитфилд. Послушай, Ливи! Крейн сказал тебе, что выгнал Чарли?

Джейн *(подбегает к нему).* Нет, ничего не сказал.

Смитфилд. Так вот! Он его выгнал взашей!

Джейн. Не может быть!

Смитфилд. Еще как может!

Джейн. Я знала, что этим все кончится! Но что же нам делать, Пол?

Смитфилд. Лично я умываю руки!

Джейн. Приходил Ранди. Сказал, что нашел новых слуг.

Смитфилд. Молодец Ранди! И когда они приедут?

Джейн. Говорит, во вторник.

Смитфилд. Что ж, надо как-то продержаться до вторника.

Джейн. Ах, Пол! Как будто у нас есть другой выход!

Смитфилд *(подходит к столу).* Послушай, Ливи! А что от тебя было надобно этому Крейну?

Джейн. Ничего.

С м и т ф и л д. Как это ничего?

Д ж е й н. Ничего особенного. *(Пауза.)*

С м и т ф и л д. Ливи, я ведь тебе не чужой, в конце концов.

Д ж е й н *(кокетливо).* Так, кое о чем поболтали…

С м и т ф и л д. О чем именно поболтали?

Д ж е й н. О поцелуях.

С м и т ф и л д. О поцелуях? *(Ошарашенно отходит назад.)*

Д ж е й н. Да, о поцелуях… и о любви… и о замужестве и… *(Короткая пауза.)* …обо всем таком. *(Идет к плите.)*

С м и т ф и л д. Черт знает что такое, Ливи! Ты меня с ума сведешь своими недомолвками! Он что, приставал к тебе, да? Отвечай!

Д ж е й н *(берет с плиты медный чайник).* Пол! Если ты сейчас же не оставишь меня в покое, я вылью этот кипяток прямо тебе на голову! Ты мешаешь мне работать!

С м и т ф и л д. Черт! Послушай, Ливи. Я должен сказать тебе одну вещь. Да! Вы с сестрой… вы обе… вы настоящие красавицы. Правда, они, слава богу, видят в вас только служанок… *(Пауза.)* Что ж, не хочешь говорить, как знаешь…

Д ж е й н. Да говорю же тебе! Мы беседовали о поцелуях. *(Подходит к столу.)*

С м и т ф и л д *(со злостью).* Хорошо-хорошо! Пусть будет по-твоему. *(Садится на стул слева.)* Только мне кажется, что ты чего-то недоговариваешь. Что у тебя на уме?

Д ж е й н *(подходит к Смитфилду, опирается на спинку стула, начинает ласково ерошить брату волосы.)* Пол, дорогой! Порой мне так грустно… так одиноко… *(Пол нежно гладит ее руку, лежащую у него на плече.)* И в такие минуты мне надо, чтобы кто-нибудь меня поцеловал.

С м и т ф и л д *(соскакивает со стула).* Что ты говоришь, Ливи! Какое счастье, что этот приступ одиночества не нахлынул на тебя во время разговора с Крейном.

Д ж е й н. Думаю, что нахлынул.

С м и т ф и л д. Что?!

Д ж е й н. То есть, почти нахлынул.

С м и т ф и л д *(подходит к сестре и обнимает ее).* Успокойся, прошу тебя! Если бы не эти проклятые деньги… (*Входит Крейн через центральную дверь. При его появлении Джейн отталкивает брата, тот оборачивается, видит Крейна и устремляется к раковине, начинает мыть посуду.)*

К р е й н *(забирает свою шляпу со стула).* О, пожалуйста! Прошу вас! Не обращайте на меня внимания. Я всего лишь зашел за своей шляпой.

Д ж е й н. Честное слово, мистер Крейн! Мы только… мы только…

К р е й н *(сухо).* В самом деле?

Д ж е й н. Да, сэр.

С м и т ф и л д *(отворачиваясь от раковины).* Правда, сэр, если позволите мне сказать… *(Вытирает тарелку полотенцем.)*

К р е й н. Что сказать?

С м и т ф и л д. Что Джейн Элен говорила чистую правду. Точно, сэр! Мы только…

Д ж е й н. Да, сэр! Все так и было, как Смитфилд говорит.

К р е й н *(холодно).* А… Ну вот теперь все понятно… после вашего объяснения.

Проходит мимо окна. Уходит. Д ж е й н в изнеможении опускается на стул. С м и т ф и л д ставит тарелки на буфет и подходит к сестре.

С м и т ф и л д. Ничего страшного не произошло, не переживай!

Д ж е й н. Ох, не нравится мне все это!

С м и т ф и л д. Нашла из-за чего расстраиваться! Подумаешь! Лакей целуется с кухаркой. Только-то и всего!

Д ж е й н. Да, но я не хочу, чтобы он так подумал. Понимаешь?

С м и т ф и л д. А что здесь такого? Шашни между слугами — обычное дело. Кому от этого вред?

Д ж е й н. Вреда, может, и нет, но мне это не нравится. Совсем не нравится! *(Встает со стула.)*

С м и т ф и л д *(с подозрением в голосе).* Почему не нравится? Почему, я спрашиваю? Ну-ка посмотри на меня, Ливи!

Д ж е й н *(уставившись на него).* Вот, пожалуйста, смотрю!

С м и т ф и л д. Мне кажется, что…

Д ж е й н. Что тебе кажется?

С м и т ф и л д. Мне кажется, что этот человек…

Д ж е й н. Что этот человек?

С м и т ф и л д. Что этот человек тебе… *(Звонок.)* О, иду… иду… иду… *(Уходит.)*

Звонок звучит до тех пор, пока С м и т ф и л д не исчезает. Д ж е й н выходит в левую дверь и тотчас же появляется снова. И в это же мгновенье широко распахивается правая дверь, и на пороге появляется незнакомый молодой человек крайне подозрительного вида. Он быстро обводит комнату взглядом, потом крадучись возвращается назад и закрывает за собой дверь. Он красив, молод, высокий, стройный, хорошо одет, но ведет себя несколько эксцентрично. Чувствуется, что сюда он попал не случайно. Это Т о м а с Л е ф е р т с. Он быстро пробегает по сцене, снова подбегает к двери и выглядывает наружу, потом подходит к буфету, заглядывает в него и замирает как вкопанный при первых же звуках голоса Д ж е й н.

Д ж е й н. Вот те на! Это еще кто такой, скажите на милость?

Л е ф е р т с. Божественная! Венера!

Д ж е й н. И он туда же!

Л е ф е р т с *(делает шаг к ней навстречу).* Вы… вы кухарка?

Д ж е й н. Положим, кухарка. А вы откуда свалились?

Л е ф е р т с. Боже мой! Боже всевышний!

Д ж е й н. Что вы там бормочете себе под нос, сэр?

Л е ф е р т с. Прошу простить мое волнение! Я ожидал увидеть кухарку, но такую!!!

Д ж е й н. И чем это я вас не устраиваю, сэр, хотелось бы знать?

Л е ф е р т с. Ах, нет! Нет! Вы меня не так поняли! Напротив, вы меня даже очень устраиваете!

Д ж е й н. Вот спасибо на добром слове, мой господин!

Л е ф е р т с. Понимаю, вас интересует, что я делаю у вас в кухне?

Д ж е й н. Еще как интересует, сэр.

Л е ф е р т с. Я все сейчас вам расскажу. Дело в том, что мне нужна ваша помощь.

Д ж е й н. Понятно! Вы, чай, проголодались с дороги-то? Бедняга! Сию минуту, сэр. Где-то у меня завалялся кусочек холодного цыпленка… Сейчас поищу. *(Поворачивается, чтобы идти в кладовку.)*

Л е ф е р т с. Да нет же! Постойте! Куда вы? *(Джейн возвращается к раковине.)* Я что, по-вашему, похож на нищего?

Д ж е й н. Ну, не то чтобы совсем, но…

Л е ф е р т с. Да! Я нищий! И вот пришел просить вашей помощи. О, да! Я нуждаюсь! Но не в хлебе насущном, нет! Мне нужна помощь. Сотрудничество. Мне как воздух нужен товарищ и друг!

Д ж е й н. Вы, наверное, хотели сказать «подружка».

Л е ф е р т с. Пусть по-вашему, подруга. Так вы поможете мне?

Д ж е й н. Допустим. Но в чем я должна вам помочь?

Л е ф е р т с. А! Я с самого начала почувствовал в вас родственную душу!

Д ж е й н. Вот еще что придумали! Никакая мы с вами не родня, сэр! Совершенно чужие люди! И если вы сию же минуту не уйдете из кухни, то… *(Хватает блюдо, чтобы швырнуть его в Лефертса.)*

Л е ф е р т с. Постойте же! Умоляю прежде выслушать меня, а потом уже наказывать. Уверен, у вас доброе сердце. Да разве может такая красавица быть злой? *(Подходит к ней сзади.)*

Д ж е й н. И вот так всякий раз! Как только им что-нибудь от тебя нужно, они тут же начинают трещать о добром сердце. Ну, что там у вас?

Л е ф е р т с. Прелестная кухарка! Ах, да! Забыл представиться. Меня зовут Лефертс. *(Полупоклон.)* Томас Лефертс к вашим услугам, мисс. Дело в том, моя великолепная кухарка, что сейчас у вас в доме гостит одна леди…

Д ж е й н. Разве что одна.

Л е ф е р т с. О ней и речь! *(Идет влево, кладет шляпу на стул и снова возвращается к Джейн.)* Мне очень надо, чтобы эта леди получила вот это письмо. (*Достает из кармана письмо.)*

Д ж е й н. Миссис Фолкнер, что ли?

Л е ф е р т с. Мой бог! Разумеется, нет! Я хочу, чтобы письмо получила мисс Фолкнер. Надеюсь, вы понимаете всю разницу?

Д ж е й н. Понимаю, а то нет. Послушайте мистер… э-э-э Томас…

Л е ф е р т с. Лефертс.

Д ж е й н. Лефертс. Так вот, мистер Лефертс, здесь недалеко почта… *(Идет к столу, разбивает в миске яйца и начинает взбивать их.)*

Л е ф е р т с *(идет следом).* Увы! Моя неподражаемая кухарка, увы! В этом мире, как оказалось, существуют столь беспринципные особы, которые способны на то, чтобы вскрыть чужое письмо, прочитать его, а потом спрятать или даже уничтожить. Они сделают все, что в их силах, чтобы помешать переписке посторонних людей. Вот так-то, моя несравненная кухарка!

Д ж е й н. Знаю я эту особу! Такая точно вскроет чужое письмо и глазом не моргнет.

Л е ф е р т с. Уже вскрыла!

Д ж е й н. Вот те на!

Л е ф е р т с. Вижу, вы понимаете меня с полуслова. О, моя кулинарная кудесница! *(Джейн продолжает взбивать яйца.)* Разве я был не прав, когда говорил, что мы родственные души? Вы ведь тоже любили и…

Д ж е й н. Кто? Я? Нет, я еще только ищу, в кого бы это влюбиться.

Л е ф е р т с *(думая, что речь идет о нем).* Но моя лучшая в мире кухарка! Вы же не хотите…

Д ж е й н. В вас не хочу, это точно.

Л е ф е р т с. Ах, нет! Вы меня не так поняли. Понимаете, я и мисс Фолкнер, мы… Но вот ее матушка… Она меня весьма не жалует, мягко говоря. Я бы даже сказал, что она меня на дух не переносит. Вот и приходится искать обходные пути.

Д ж е й н. Вы хотите сказать, шнырять по чужим кухням. *(Снимает с крючка возле двери кухонное полотенце и вытирает им руки.)*

Л е ф е р т с. Как вы сказали? Шнырять? Ах, как это образно и свежо звучит! Шнырять! Боюсь, что вы правы. Однако время дорого. Ведь нам могут помешать в любую минуту. *(Кто-то дергает за ручку двери.)*

Д ж е й н *(держа дверь рукой).* Кого там еще несет? Минуточку. Сейчас открою. Кто там? *(Лефертс лихорадочно озирается по сторонам в поисках*

укрытия, потом стремглав бросается к буфету и прячется там. Джейн оглядывается и видит, что он исчез.) Пресвятая дева! А этот куда подевался? Точно нечистая сила какая-то. *(Открывает дверь. На пороге стоит Аманда, она тяжело дышит. Выбилась из сил, пытаясь открыть дверь. Валится на стул в изнеможении.)* Аманда, ты?

А м а н д а *(обмахивается фартуком).* Уф, тяжело-то как!

Д ж е й н. Аманда, что ты здесь делаешь? Разве я тебе не говорила…

А м а н д а. Говорили, мисс, говорили. Дайте вот только дух перевести … уф…

Д ж е й н. Говорила же тебе, сюда ни ногой!

А м а н д а. Говорила, моя голубка, говорила…

Д ж е й н. Тогда что ты здесь делаешь?

А м а н д а *(продолжает обмахиваться фартуком).* Ну и жарища! (*Джейн наливает в миску молоко.)* Печет, просто нет спасу. А что это вы, мисс, делаете?

Д ж е й н. Да вот хочу испечь кукурузные лепешки. *(Продолжает взбивать тесто.)* Три яйца… молоко… А еще что? Забыла.

А м а н д а. Какие же это лепешки, мисс, без кукурузной муки?

Д ж е й н. Ой, и правда! *(Достает с полки муку и сахар.)*

А м а н д а. А сахар зачем? В лепешки сахар не кладут.

Д ж е й н. Я же готовлю для янки, няня. *(Аманда смеется, забирает со стола яичную скорлупу и относит ее к раковине.)* Но ты так и не ответила на мой вопрос. Что ты здесь делаешь?

А м а н д а. Продолжайте месить тесто, мисс.

Д ж е й н. Оставь в покое мое тесто. Отвечай на вопрос.

А м а н д а. А я говорю вам, надо месить, месить и месить! *(Берет миску и начинает растирать содержимое.)* У меня к вам важное дело. Мистер Уикс велел передать вам... передать… *(Начинает шарить по карманам в поисках письма.)*

Д ж е й н. Ох уж этот Ранди Уикс! Надоел!

М и с с и с Ф о л к н е р *(за сценой).* Бертон, я собираюсь в кухню. Не хотите сопровождать меня?

Д ж е й н. Сюда кто-то идет. Няня, ради бога, спрячься где-нибудь!

А м а н д а. Да где же мне спрятаться, мисс?

Д ж е й н. Сама не знаю, няня. Да вот хоть в буфет залезь!

К р е й н *(за сценой).* Если вам угодно.

М и с с и с Ф о л к н е р *(за сценой).* Пожалуйста, будьте любезны.

В это время Д ж е й н хватает А м а н д у за руку и что есть сил тащит ее к буфету, открывает нижнюю дверцу. Л е ф е р т с пытается выбраться наружу, но Д ж е й н запихивает его еще глубже, а затем вталкивает туда А м а н д у и захлопывает дверцу. Бегом возвращается к столу, и в этот момент через центральную дверь на кухню заходят м и с с и с Ф о л к н е р и К р е й н. М и с с и с Ф о л к н е р проходит вперед, а К р е й н остается стоять в дверях.

К р е й н. Миссис Фолкнер изъявила желание осмотреть вашу кухню, Джейн Элен. Можно нам войти?

Д ж е й н. Добро пожаловать, сэр! Только не знаю, что и показывать.

М и с с и с Ф о л к н е р *(делает глубокий вдох).* Что-то горит, помоему.

Д ж е й н. Ой, и правда, мэм. *(Подбегает к плите, открывает духовку и достает цыпленка.)*

К р е й н. Хорошая светлая кухня, вы не находите? *(Подходит к полке с посудой.)*

М и с с и с Ф о л к н е р *(идет следом).* Пожалуй.

К р е й н. И такая чистая.

М и с с и с   Ф о л к н е р. Быть может, снаружи. *(Проводит пальцем по полке.)* Взгляни сюда, Джейн Элен! И это ты называешь «чисто»?

Д ж е й н. Простите, мэм. Руки еще не дотянулись. Не успела. Вот если бы вы, мэм, приехали на следующей неделе, то…

М и с с и с   Ф о л к н е р *(идет в правый угол сцены).* Возможно, возможно… Но впредь имей в виду. (*Направляется к буфету, такое впечатление, что миссис Фолкнер хочет открыть его, но она ограничивается лишь тем, что снова проводит пальцем по дверцам, потом показывает пыль Джейн. Джейн изображает на лице ужас, дама идет к раковине. Смотрит на насос для подачи воды.)* Как, в доме нет водопровода?

Д ж е й н. Нету, мэм. Только я тут ни при чем. Я этот дом не строила.

Входит А р а м и н т а. Она не видит К р е й н а и м и с с и с   Ф о л к н е р, говорит на ходу, обращаясь к сестре.

А р а м и н т а. Пойду немного прогуляюсь. Иначе я просто взорвусь от бешенства.

Д ж е й н. Тс-с-с! Взгляни!

А р а м и н т а *(замечает миссис Фолкнер).* О, прошу прощения, мэм!

М и с с и с   Ф о л к н е р. Бертон, Бертон!

К р е й н. Что такое, миссис Фолкнер?

М и с с и с   Ф о л к н е р. Эта… Эта девчонка…

К р е й н. Какая девчонка?

М и с с и с   Ф о л к н е р. Эта негодница нацепила на себя лучшую шляпку моей дочери! Это уж слишком! Теперь даже вы не посмеете отрицать, что девчонка зашла слишком далеко.

К р е й н *(идет к центру сцены).* Пожалуйста, не волнуйтесь, миссис Фолкнер. Вполне возможно, что это ее шляпа. Может быть, Араминта просто скопировала фасон со шляпы вашей дочери, только и всего.

М и с с и с   Ф о л к н е р. Глупости! Я еще, слава богу, могу с первого взгляда отличить настоящую французскую шляпку от дешевой подделки. Что все это значит, негодная? Почему у тебя на голове шляпа моей дочери?

А р а м и н т а. Вашей дочери? Что за глупости!

М и с с и с   Ф о л к н е р *(Крейну).* Все! С меня хватит! Я не могу больше смотреть, как эта девчонка разгуливает в чужой шляпе! И еще имеет при этом нахальство утверждать, будто я не знаю шляпу собственной дочери.

К р е й н. Что скажете, Араминта?

А р а м и н т а. Ничего не скажу.

К р е й н. Может быть, мисс Фолкнер дала вам эту шляпку на время, так сказать, поносить?

А р а м и н т а. Ничего подобного!

М и с с и с   Ф о л к н е р. Вот еще! Отдать служанке шляпку стоимостью 45 долларов!

К р е й н. Боюсь, Араминта, вам придется вернуть шляпку ее хозяйке. А после этого собрать свои вещи и немедленно покинуть дом.

Идет в левый угол. Л и в и и Б е с с обмениваются короткими взглядами. В дверях появляется С м и т ф и л д, он что-то весело насвистывает и пританцовывает.

К р е й н. Смитфилд, я только что уволил Араминту.

С м и т ф и л д. Как уволили, сэр? За что?

К р е й н *(идет к столу).* Она посмела надеть шляпку мисс Фолкнер. Вот эту! *(Бесс молча направляется к двери.)*

Д ж е й н *(реагирует мгновенно).* Ах, сэр! Все на самом деле совсем на так! Позвольте мне объяснить. Шляпку ей дала миссис Кросслет-Биллингтон. Она посчитала, что фасон ей уже немного не по возрасту. Мадам была приблизительно одного возраста с миссис Фолкнер. Хотя, конечно, ей ни за что не дать 45 лет! Даже при дневном свете, сэр!

М и с с и с Ф о л к н е р. В самом деле?

Д ж е й н. Не сойти мне с этого места, мэм! Еще в первый вечер, когда Араминта распаковывала ваши вещи, она потом мне сама сказала, что у мисс Фолкнер шляпка как две капли воды…

К р е й н *(пытается остановить Джейн).* Хорошо-хорошо! Не волнуйтесь, Джейн Элен.

Д ж е й н *(без остановки).* …похожа на ее собственную. И мы еще предупреждали ее, что лучше от греха подальше спрятать эту шляпку, пока мадам с дочерью не уедут отсюда. Вот и все. *(Идет к дверям. Мимо окна проходит Кора. У нее на голове точно такая же шляпка, как и у Араминты.)*

С м и т ф и л д *(подходит к печке).* Все так, ваша светлость. Готов подтвердить слово в слово. *(Появляется Кора.)*

К о р а *(стоя в дверях).* Бертон, так вы идете?

К р е й н. Взгляните, миссис Фолкнер! *(Все смотрят вначале на голову Коры, потом переводят взгляд на Араминту.)*

Д ж е й н. Я же говорила, как две капли воды!

К р е й н. Араминта, позвольте принести вам свои извинения. С радостью делаю это, хотя, честно говоря, будь вы немного поразговорчивее, недоразумение можно было бы разрешить тотчас же. *(Обходит вокруг стола.)*

М и с с и с Ф о л к н е р. Возмутительно! Вы только подумайте, Бертон! Служанка щеголяет в шляпке за 45 долларов! Уму непостижимо!

А р а м и н т а *(подходит к миссис Фолкнер и смотрит ей прямо в глаза).* Вот как? А я лично считаю возмутительным, когда женщина, называющая себя дамой, ведет себя так низко и недостойно с прислугой, оскорбляя и унижая ее при всяком удобном случае.

С м и т ф и л д *(делает шаг вперед).* Араминта, прошу тебя! Замолчи!

А р а м и н т а. И не подумаю! Вы и представить себе не можете, сколько мне пришлось вынести от этой старой ведьмы!

М и с с и с Ф о л к н е р. Бертон, прошу вас! Пусть она замолчит!

А р а м и н т а *(не обращая внимания).* Наконец-то я выскажу ей все, что про нее думаю!

К р е й н. Нет, вы не сделаете этого! Нам всем крайне неприятно это досадное недоразумение с вашей шляпкой, и тем не менее, никто не дал вам права вести себя подобным образом. Смитфилд, уведите девушку! Немедленно рассчитайте ее, и пусть уходит на все четыре стороны! *(Смитфилд уводит упирающуюся Араминту. Крейн обращается извиняющимся тоном к миссис Фолкнер.)* Поверьте, миссис Фолкнер, мне искренне жаль, что все так…

М и с с и с Ф о л к н е р. Да, да! Конечно!

Д ж е й н. Не сердитесь, мэм! Может быть, вам кладовку показать?

М и с с и с Ф о л к н е р. Хорошая мысль! Кора, мы уезжаем сию же минуту!

Поворачивается и величественно направляется к двери, но в состоянии крайнего возбуждения принимает за входную дверь дверцу от буфета, энергично хватается за нее, и оттуда словно пуля вылетает А м а н д а, которая падает прямо под ноги м и с с и с Ф о л к н е р. Та вскрикивает, отталкивает служанку в сторону и делает шаг назад. А м а н д а с трудом расправляет онемевшие конечности, кряхтя и потирая спину, проходит по сцене и уходит через дверь слева. Все при-

сутствующие молча провожают ее взглядами. Д ж е й н открывает дверь перед А м а н д о й, затем закрывает ее и остается стоять у двери, опершись на косяк. Все снова поворачиваются к буфету и видят вылезающего оттуда Л е ф е р т с а. Волосы у него растрепаны, галстук сбился набок, шляпа превратилась в лепешку. К о р а подбегает к нему.

К р е й н. А это еще кто такой?

К о р а *(восклицает).* Тони Лефертс!

Л е ф е р т с *(едва дыша).* Это я. Здравствуйте.

М и с с и с Ф о л к н е р *(идет к центру).* Бертон! Извольте объяснить, что все это значит.

К р е й н. Понятия не имею! Может быть, Джейн Элен объяснит нам…

Д ж е й н. А я-то тут при чем? Я этих двоих первый раз вижу! *(Уходит вслед за Амандой в ту же дверь.)*

К р е й н. Кора, кажется, этот молодой человек вам знаком?

К о р а. Да… то есть, я хочу сказать… Позвольте представить. Мистер Крейн.

Л е ф е р т с. Рад познакомиться. Как поживаете, сэр?

К р е й н. Могу я поинтересоваться, чем обязан столь высокой чести?

Л е ф е р т с. О, разумеется… я… мы… по правде говоря… дело в том…

М и с с и с Ф о л к н е р *(прерывает его).* Дело в том, Бертон…

Л е ф е р т с *(не сдается и переходит в наступление).* Позвольте мне, миссис Фолкнер! Как пострадавшая сторона…

М и с с и с Ф о л к н е р. Это вы-то пострадавшая сторона? *(Подходит к Коре и становится рядом с ней.)*

Л е ф е р т с *(в центре).* Да, я! Позвольте обратиться к вам, мистер Крейн! Ибо все дело в том, что кухонный буфет — это единственное место в мире, где, как мне казалось, я могу укрыться от преследований миссис Фолкнер! Вы верите мне?

К р е й н. Затрудняюсь ответить.

Л е ф е р т с. Понимаю вас, понимаю. Любой нормальный человек на вашем месте отреагировал бы точно так же. Поверьте мне, сэр, на слово. Я хотел найти в этом буфете спокойствие и уединение. И что? Вы думаете, я нашел его там? Как бы не так! Вначале мне подсунули, заметьте, против моего желания, соседку. Довольно упитанную пожилую матрону. Но и этого моим гонителям показалось мало! Следом явились вы, миссис Фолкнер. Итак, я снова обманут в лучших своих ожиданиях. Миссис Фолкнер, ваши действия можно квалифицировать исключительно как вторжение. Недопустимое и противоправное. Позволю спросить у вас, мадам, какие цели вы преследовали, вторгаясь на мою территорию? *(Все это время миссис Фолкнер распекает дочь, которая с трудом сдерживает смех.)*

М и с с и с Ф о л к н е р. Мистер Лефертс, хочу…

Л е ф е р т с. Предупреждаю вас! Держитесь подальше от моего буфета!

М и с с и с Ф о л к н е р. Бертон, он сошел с ума! Мало того, что он вот уже скоро год, как везде и всюду преследует мою дочь… И это несмотря на то, что я категорически запретила ему какие бы то ни было контакты с Корой. Никаких встреч, никакой переписки. А его сегодняшняя выходка лишь подтверждает мое прежнее, крайне негативное мнение о нем. И этот человек еще называет себя поэтом! Что вы делали в этом ящике на пару с… с этой старухой-негритянкой? *(Лефертс жестами выражает свое негодование.)*

К о р а *(уже не скрывая смеха).* Ах, мама, полноте! *(Подходит к Лефертсу, и тот незаметно передает ей записку.)*

М и с с и с Ф о л к н е р *(без остановки).* С меня хватит, Бертон! Я сыта по горло вашим гостеприимством! Ближайшим же поездом мы уезжаем в Вашингтон. Окажите любезность, велите приготовить машину. *(Она снова направляется к выходу, машинально открывает дверь буфета и тут же с отвращением захлопывает ее.)* Пожалуйста, кто-нибудь! Покажите мне, где здесь выход!

Л е ф е р т с. С величайшим удовольствием, мэм!

М и с с и с Ф о л к н е р. Кора, за мной! *(Уходит. Уже за сценой.)* Кора, я кому говорю!

К о р а. Сейчас, мама! Иду! *(Посылает Лефертсу воздушный поцелуй и уходит вслед за матерью. Крейн и Лефертс обмениваются взглядами и тихо смеются. Крейн садится на край стола.)*

Л е ф е р т с *(подходит к Крейну).* Думаю, вам все понятно, сэр. Эта женщина… по-моему, она настоящая террористка. А мне так надо поговорить с Корой.

К р е й н. Понимаю! Постараюсь вам помочь. И сделаю все от меня зависящее, чтобы у миссис Фолкнер сложилось другое мнение о вас.

Л е ф е р т с. Очень мило с вашей стороны, сэр, но думаю, ничего не получится. Я ведь бедняк, черт меня возьми! И потом…

К р е й н. Где вы остановились?

Л е ф е р т с. По соседству, у Рандольфов. Это всего в миле от вашего дома.

К р е й н. Знаете что? Приходите сегодня ко мне на ужин. Подумаем сообща, чем можно вам помочь.

Л е ф е р т с. Вы чертовски любезны, но…

К р е й н. Приходите!

Л е ф е р т с. Спасибо! Тогда, пожалуй, сейчас мне лучше уйти! Да и вам нужно время, чтобы подготовиться к атаке. *(Направляется к буфету.)*

К р е й н *(останавливает его).* Сюда, пожалуйста! Я прикажу шоферу отвезти вас.

Л е ф е р т с. Тысяча благодарностей! *(Идет к центральной двери.)*

К р е й н. Минуточку, мистер Лефертс. *(Тот поворачивается.)* А вы и в самом деле поэт?

Л е ф е р т с. Видите ли, время от времени я печатаю кое-какие стишки. А вообще-то я работаю заместителем главного редактора журнала «Статистик». Ужасная скучища! Стихи для меня — это своего рода отдушина. *(Снова поворачивается, чтобы уйти.)* Помните, как сказано в одной умной книге? Разве умные люди кричат с крыши о том, о чем говорят шепотом у себя под одеялом? Как это верно! И как точно подмечено! *(Уходит.)*

К р е й н *(кричит ему вслед).* Я сейчас вас догоню! *(После ухода Лефертса из левой двери появляется Джейн. Она подходит к столу и молча смотрит на Крейна, стоящего к ней спиной, затем с шумом бросает ложку в миску. Крейн поворачивается к ней. Короткая пауза.)* Джейн Элен, у меня к вам весьма неприятный разговор. *(Идет к центральной двери.)* Должно быть, вы в курсе, что, заключая договор на аренду этого дома, я оговорил в контракте специальное условие, чтобы все слуги были компетентными и чтобы среди них не было негров. Мистер Уикс в курсе. Лично к вам у меня нет претензий. Вы хороший повар. Смитфилд тоже вполне сносно справляется со своими обязанностями. Что же до тех двоих, то вы сами могли убедиться в их, так сказать, компетентности. Вам и Смитфилду я заплачу за все шесть недель работы. Договор я расторгаю и завтра же уезжаю домой. А если этим Дейнджерфилдам так нужны деньги, то пусть судятся со мной сколько их душе угодно. Хоть до скончания века!

Д ж е й н *(едва слышно).* Но… неужели это правда?

К р е й н *(подходит к ней).* Истинная правда!

Д ж е й н. Мистер Крейн… пожалуйста, прошу вас… не расторгайте сделку. Очень вас прошу. Честное слово, как только миссис Фолкнер уедет, все у нас наладится. Вот увидите! *(Подходит к нему.)* Мистер Крейн… пожалуйста… *(Протягивает к нему руки, он инстинктивно берет их, и она тотчас же отдергивает.)*

К р е й н. Ах, Джейн Элен! Вы все же очень странная девушка!

Д ж е й н *(шепотом).* Да, сэр.

К р е й н. Вы уверены, что не хотите мне ничего рассказать?

Д ж е й н *(шепотом).* Да, сэр.

К р е й н. Но вы можете полностью доверять мне… Я вижу, мне кажется, что у вас какие-то неприятности… да. И я бы мог… Я бы хотел! Да, очень хотел бы помочь вам!

Д ж е й н. Вы так добры, сэр. Но, к несчастью, вы ничем не можете помочь мне… *(Короткая пауза.)* Абсолютно ничем.

К р е й н. И все же, Джейн Элен! Неужели вы и в самом деле не можете открыться мне? У вас такой несчастный вид. Повторяю, я очень хочу помочь вам.

Д ж е й н. Ах, сэр! Вашей доброте нет предела!

К р е й н. Представьте себе на минутку, что я не ваш хозяин. Просто знакомый. Один вполне приличный малый, который бы отдал все на свете только за то, чтобы снова видеть вас улыбающейся. Потому что, когда я вижу вашу улыбку… Да, Джейн Элен, когда я вижу, как вы улыбаетесь… *(Джейн улыбается.)* Вот так! А теперь расскажите мне все!

Д ж е й н. Нет, сэр. Не могу.

К р е й н. Но почему нет, Джейн Элен? *(Пауза.)*

Д ж е й н *(переходит на просторечье).* Разве все расскажешь, сэр? Особливо, если человек попал в какую передрягу… заболел кто из сродников, кого вы любите больше всех на свете… И тут вы возьми да и придумай, как ему помочь… постарались, одним словом… можно сказать, лезли вон из кожи… и все шло как по маслу, а потом возьми все и развались. И поделать ничего нельзя! Вот в чем беда. Остается только терпеть да ждать…

К р е й н *(после короткой паузы).* Мне искренне жаль, Джейн Элен! Очень! *(Гладит ее по руке. Уходит не оглядываясь. Джейн медленно бредет вслед, останавливается у самой двери, прижимается головой к стене, плачет. Аманда выглядывает через левую дверь, проверяет, нет ли на кухне посторонних. Увидев, что Оливия одна, идет к столу.)*

А м а н д а. А вот и я! Что, что случилось? Почему моя голубка плачет?

Д ж е й н. Да так, няня. Ничего не случилось.

А м а н д а. Так пусть мое солнышко побыстрее осушит свои глазки! Нельзя, чтобы такие глазки потускнели от слез. А я пришла сказать вам, что наконец-то нашла ту бумагу, которую велел передать мистер Ранди. Он говорил, что это теле… телебрама.

Д ж е й н *(подбегает к Аманде).* Как телеграмма?

А м а н д а. Да, моя золотая. Вот она.

Д ж е й н. Ах, няня! Мне страшно! Боюсь даже вскрывать... *(Медленно открывает телеграмму, читает ее, потом роняет на пол, закрывая лицо руками.)*

А м а н д а. Ну что там, золотце мое? Что они пишут?

Д ж е й н. Папа… Папе сделали операцию…

А м а н д а. Вот и слава богу! Значит, дела пойдут на поправку.

Д ж е й н. Пока еще ничего не известно. Слишком рано говорить о чем бы то ни было. Ах, няня! Что с нами будет, если папа не поправится? Я не

переживу… если он умрет… *(Джейн разражается слезами, громко всхлипывает, бросается няне на грудь, та усаживается на стул, берет к себе на колени девушку и начинает убаюкивать ее, словно ребенка.)*

А м а н д а. Тише, моя хорошая. Ну, будет же! Не плачь, мое золотко! Тише!

Занавес.

АКТ 3

Столовая, время действия — перед ужином того же дня. Слева — два французских окна, выходящих на широкую веранду. В левом углу сцены — дверь, ведущая в холл. В правом углу — дверь в буфетную. Дверь закрыта ширмой. Чуть правее возле стены сервировочный стол. В задней части сцены возле стены стоит красивый старинный сервант из красного дерева. В центре — овальный обеденный стол, накрытый на четыре персоны. Горят свечи.

На сцене С м и т ф и л д, который занимается сервировкой стола. Входит Б р и н д л б е р и через правую дверь. Вид у него более чем странный. Он в седом парике с бакенбардами, причем седина подозрительно неестественна, костюм, в который он облачен, тоже весьма эксцентричен. К тому же, костюм явно велик, сразу видно, что он с чужого плеча.

Б р и н д л б е р и *(высовывает голову из-за ширмы)*. Привет!

С м и т ф и л д. Чарли! Я же тебе приказал! Носа сюда не показывать!

Б р и н д л б е р и *(выходит из-за ширмы)*. Да, но Ливи говорит…

С м и т ф и л д. Плевать мне на то, что говорит Ливи. Марш отсюда, пока не поздно.

Б р и н д л б е р и. Послушай, Пол! Что ты так разнервничался? Никто ничего не узнает. Я же помогал этой старой мегере. Снес вниз ее чемоданы. Прямо у нее под носом крутился. И что? Старая курица ничего не заподозрила.

С м и т ф и л д. Миссис Фолкнер — это одно, а…

Б р и н д л б е р и *(подходит к серванту)*. Ты только взгляни на меня! *(Идет, изображая из себя хромого.)* Ну чем не калека?

С м и т ф и л д. Хромаешь ты неплохо, но твой прикид… маскарад какой-то. Просто ужасно! А голос и того хуже. *(Чарльз издает возмущенное восклицание.)* Крейну чтобы и близко на глаза не попадался! А то еще, чего доброго, вздумает заговорить с тобой. Иди пока за ширму, а после разберемся.

Уходит в буфетную. Б р и н д л б е р и идет вправо. Через левую дверь входит К р е й н. Он в вечернем костюме.

К р е й н. Смитфилд!

Б р и н д л б е р и *(прикладывает руку к уху)*. Что вы сказали?

К р е й н *(видит Бриндлбери, стоящего возле серванта)*. А вы кто такой?

Б р и н д л б е р и. Да, сэр! Я глухой. Причем с детства…

К р е й н *(повышает голос до крика)*. Нет-нет, я спрашиваю, как вас звать.

Б р и н д л б е р и. Когда приезжать? Да я только что приехал, сэр. Смитфилд позвонил моей жене и говорит «Сюзанна»… Он говорит «Сюзон»…

К р е й н *(сурово)*. Подите-ка сюда!

Б р и н д л б е р и. Что говорите?

К р е й н. Я сказал, подойдите ко мне ближе. Хочу рассмотреть вас повнимательнее… *(Бриндлбери, медленно прихрамывая, направляется к*

одному из окон, потом вприпрыжку выбегает на террасу и там исчезает.) Эй, вы куда? *(Крейн устремляется за беглецом.)* Держите его!

Появляется А м а н д а. Она входит через вторую дверь, ведущую на террасу. Видит убегающих К р е й н а и Б р и н д л б е р и и заливается веселым смехом.

А м а н д а *(стоя возле раскрытой двери).* Ну и дела тут творятся! Чуть с ног не сбили! Куда летят… Зачем?

П о л *(выходит из буфетной и идет к столу).* Аманда? Ты что здесь делаешь?

А м а н д а. Так вы ж одни, мой господин. А меня мистер Ранди попросил… Дал еще одну теле… теле… телебраму. *(Достает телеграмму из кармана и вручает ее Полу.)* Велел тотчас же отдать вам. Так я мигом обернулась, мистер Пол. Одна нога там, а другая уже здесь. Ну, что там пишут? *(Смеется.)*

П о л *(торопливо читает, потом перечитывает).* Слава богу! Аманда, дорогая, отец вне опасности!

А м а н д а. Ой, а я как рада! Просто до смерти! А где моя голубка ненаглядная? *(Идет к правой двери.)*

П о л. Где ж ей быть, как не в кухне?

А м а н д а. Мистер Пол, дайте мне эту теле… теледраму… Пойду покажу моей деточке золотой. Она и так вся извелась за эти дни. *(Пол отдает ей телеграмму.)* Я сейчас… мигом… одна нога здесь, другая там. Пусть мое золотко порадуется. Ах, мистер Пол, мистер Пол! Радость-то какая! Хвала Господу! *(Уходит.)*

С м и т ф и л д снова идет к серванту и начинает рассматривать конверт от телеграммы. Через левую дверь входит Т а к е р.

Т а к е р *(подходит к столу).* Смитфилд, когда же, наконец, подадут ужин?

С м и т ф и л д. Сию минуту, сэр! Уже подаю.

Скрывается в буфетной. С террасы входит К р е й н.

К р е й н *(тяжело дыша).* Уф! Не бегал со студенческих лет.

Т а к е р *(в правом углу).* А могу я поинтересоваться, зачем это вы…

К р е й н. Конечно, можете! Я гонялся за Бринби!

Т а к е р. За Бринби?

К р е й н. Именно! Вот его парик! *(Протягивает парик Такеру.)*

Т а к е р *(внимательно рассматривает парик).* Бог мой! Но это значит…

К р е й н. То и значит! Хромой старикашка на самом деле не кто иной, как Бринби.

Т а к е р. Ужас! Это какая-то банда! Не удивлюсь, если нас тут всех прирежут. Прямо в постели.

К р е й н забирает парик у Т а к е р а. Появляется С м и т ф и л д с подносом.

К р е й н. Смитфилд!

С м и т ф и л д. Слушаю, сэр! *(Подходит к Крейну.)*

К р е й н. По-моему, помощник, которого вы себе взяли, несколько староват.

С м и т ф и л д. О нет, сэр! Он совсем не так дряхл, как кажется.

К р е й н. А я другого мнения.

С м и т ф и л д. В следующем году ему будет только шестьдесят шесть.

К р е й н. Шестьдесят шесть?!

С м и т ф и л д. Или семь.

К р е й н. Поразительно! Вы не находите, Такер?

Т а к е р. Весьма.

К р е й н. Он женат?

С м и т ф и л д. Пока еще нет. То есть, я хотел сказать… он вдовец… вот уже много лет. Его несчастная жена умерла во время родов. Когда рожала своего первенца.

К р е й н. Своего первенца?!

С м и т ф и л д. Ну да! Он теперь служит шофером у Кросслет-Биллингтонов, сэр.

К р е й н. Этот грудничок?

С м и т ф и л д. Да, сэр! То есть, нет, сэр! Теперь он уже далеко не…

К р е й н. Хватит, Смитфилд! С меня довольно! Твой пожилой приятель — это Бринби! Пожалуйста, не утруждай себя объяснениями. Мистер Уикс перешлет тебе твои вещи. И сию же минуту вон из моего дома! Если же тебе нужна рекомендация, то я напишу, что ты самый искусный лжец из всех, кого мне доводилось видеть на своем веку. И вот тебе сувенир на память! *(Швыряет парик Смитфилду.)*

С м и т ф и л д *(с глуповатым видом рассматривает парик).* Благодарю вас, сэр! *(С трудом сдерживает волнение.)* Это все, сэр?

К р е й н. Да! Ступай!

С м и т ф и л д. Слушаюсь, сэр! *(Берет с серванта поднос, кладет на него парик и уходит через правую дверь.)*

К р е й н. Вот так-то, дружище! Скоро мы окажемся в полном одиночестве. *(Садится за стол справа.)*

Т а к е р *(опирается на спинку левого стула).* За время моей долгой и разнообразной адвокатской практики…

К р е й н *(рассеянно).* Да-да, разумеется… Не могли бы вы позвонить мистеру Уиксу? Пусть срочно явится ко мне. Нужно с этим кончать, и немедленно. Дамы уехали… причем одна в слезах, другая в ярости… Трое из четверых слуг уволены… Что еще? Не удивлюсь, если крыша этого дома рухнет нам прямо на голову.

Т а к е р. Пойду позвоню. *(Идет к двери.)*

К р е й н. Отлично!

Т а к е р. Правда, скоро ужин!

К р е й н. Вот заодно и пригласите его на ужин. А я уже пригласил Лефертса.

Т а к е р. Этого полоумного? Право же, Крейн…

К р е й н. Ах, оставьте, Такер! Не идите на поводу у своей сестры. Вы не хуже меня знаете, что Лефертс — отличный парень! Звоните же быстрее!

Т а к е р *(у левой двери, оборачивается).* Между прочим, Бертон, а кто нам будет подавать за ужином?

К р е й н. Сейчас займусь этим.

Т а к е р уходит. К р е й н встает со своего места и направляется к буфетной, затем останавливается, дергает за шнур звонка, висящий над камином, потом возвращается к своему стулу и стоит в ожидании. Через некоторое время появляется Д ж е й н. Она входит через правую дверь.

К р е й н. Джейн Элен, подойдите ко мне!

Девушка грустна, держится напряженно, она понимает, что ее встречают неприветливо.

Крейн *(строгим тоном)*. Джейн Элен!

Джейн *(подходит к нему)*. Ой, мистер Крейн, на сей раз я точно знаю, за что вы станете ругаться!

Крейн *(сухо)*. Я совсем не собираюсь ругать вас.

Джейн *(улыбается, обрадованно)*. Правда, сэр? Вот спасибо! *(Крейн смотрит на нее без улыбки. Пауза.)* Я уж думала, вы меня прогоните, как Смитфилда. Что за глупая история у него получилась с этим парнем.

Крейн. Я еще не решил, как мне поступить с вами.

Джейн. Правда? А почему, сэр?

Крейн. Будьте столь любезны! Обойдемся без вопросов! Я хочу сделать несколько распоряжений.

Джейн *(принимая официальный тон)*. Слушаю, сэр.

Крейн. Я пригласил на ужин двух джентльменов. Итого, нас будет четверо. Поскольку я уволил Смитфилда, прислуживать за столом будете вы. Надеюсь, вы справитесь с этим не хуже, чем со стряпней.

Джейн. О нет, сэр! Ни за что!

Крейн. Джейн Элен!

Джейн. Говорю же вам, сэр, я повариха! А здесь нужен дворецкий.

Крейн. Не спорьте, Джейн Элен. Делайте что вам приказано.

Джейн. Не стану я делать ничего такого!

Крейн. Джейн Элен, вы будете прислуживать за столом!

Джейн. Нет, не буду, мистер Крейн! *(Короткая пауза.)*

Крейн *(идет в левый угол)*. Вот она, вечная, старая как мир проблема взаимоотношений между работником и хозяином. Вы отнюдь не лентяйка, я приказываю вам сделать пустячную работу, и все же вы стоите на своем. Что это? Упрямство?

Джейн. Ничего подобного, сэр.

Крейн. Тогда как это назвать?

Джейн. Называйте как хотите, сэр! *(Крейн явно раздосадован.)* Хорошенькое дельце! Мне прислуживать за столом господину. Да еще быть вежливой с ним, угождать ему! А он ни с того ни с сего взял и выгнал двух моих братьев! Хорошенькое дельце! Распоряжения он, видите ли, дает! Тоже мне!

Крейн. Смитфилд и Бриндлбери — ваши братья?

Джейн. Представьте себе, сэр!

Крейн. Странно! У ирландской девушки два брата — чистокровные англичане.

Джейн. Ничего странного, сэр! Их еще детьми увезли в Англию. Они там и выросли.

Крейн. А вы, значит, выросли в Ирландии?

Джейн. Точно так, сэр! Не сойти мне с этого места!

Крейн. И при этом мисс Оливия Дейнджерфилд знала вас всю свою жизнь?

Джейн. Выходит, что так, сэр. Зачем же ей врать? Вы же сами читали ее рекомендацию.

Крейн. Хорошо! И все же, почему вы не сказали мне, что Смитфилд — ваш брат?

Джейн. А вам-то какая разница?

Крейн *(внезапно повеселев)*. Огромная! Это же совсем меняет дело! Конечно, как брат он имеет вполне законное право вас… то есть, я не то имел в виду. *(Кашляет от смущения, делает несколько шагов влево.)* Да, вполне законное право!

Д ж е й н. Какое право?

К р е й н *(в центре сцены).* Да так, ничего! Джейн Элен! Будьте же умницей! Я приношу свои извинения за все, что вам тут наговорил за эти дни, и раболепно умоляю помочь мне выйти из того затруднительного положения, в котором я оказался. Вы ведь поможете мне? Прошу вас!

Д ж е й н. Когда меня просят, да еще так вежливо, то почему бы и не помочь?

К р е й н. Благодарю вас, Джейн Элен! Благодарю от всего сердца! *(Обходит вокруг стола.)* Вы просто ангел!

К р е й н уходит в левую дверь, Д ж е й н делает несколько шагов за ним. Появляется С м и т ф и л д, он выглядывает из-за ширмы.

С м и т ф и л д. Ливи!

Д ж е й н *(вздрагивает от неожиданности, бежит назад к столу).* Ах, Пол! Ты меня так напугал! А где Чарли и Бесс?

С м и т ф и л д. В мансарде. Танцуют канкан.

Д ж е й н. Бедняжки! Они там, наверное, с голоду умирают! Скажи им, чтобы не шумели. Я после ужина поднимусь к вам и принесу перекусить, если что останется. А пока сидите тихо все! *(Подходит к левому стулу у стола.)*

С м и т ф и л д. А что ты собираешься делать? Игра окончена.

Д ж е й н. Пока еще нет! Кое-какие козыри у нас еще есть. Хочу доиграть эту партию до конца.

С м и т ф и л д. А что толку? Договор он расторгает и завтра отсюда съезжает. Я слышал, как этот старикашка Такер звонил Ранди. Просил немедленно явиться. Так что ничего тебе не удастся. Бросай все это и пойдем к нам.

Д ж е й н. Ни за что!

С м и т ф и л д. Ливи, не трать время попусту! Тебе этого человека не переиграть.

Д ж е й н. Да, но он может передумать!

С м и т ф и л д *(подходит к ней).* Ливи!

Д ж е й н. К тому же, нельзя оставлять беднягу голодным.

С м и т ф и л д. Знаешь что? Сдается мне, сестренка, что ты просто…

Д ж е й н. Тсс! Кто-то идет!

Бежит к серванту, С м и т ф и л д исчезает за ширмой. Т а к е р заходит в комнату из холла.

Т а к е р. Ах, это ты, Джейн Элен…

Д ж е й н. Добрый вечер, мистер Такер!

Т а к е р *(подходит к ней совсем близко).* Помощь нужна? Могу предложить свою.

Д ж е й н. Премного благодарна, сэр. *(Вручает ему столовые приборы.)* Как со всем этим справиться бедной девушке? Будьте так добры, положите это возле тарелки мистера Крейна. Вон там!

Т а к е р берет нож и вилку и, не сводя глаз с девушки, кладет их на стол напротив левого стула, а потом снова возвращается к серванту.

Д ж е й н. Ах, нет, сэр! Не так! Кто же кладет нож острым концом к едоку? Это плохая примета!

Т а к е р нервно улыбаясь, идет к столу и перекладывает нож. Снова возвращается к Д ж е й н.

Д ж е й н. Из вас бы получился никудышный дворецкий, мистер Такер! Не сойти мне с этого места.

Т а к е р *(осторожно оглядывается на дверь, а потом обращается заговорщицким тоном к Джейн Элен).* Пока никого нет, хочу кое-что тебе сообщить.

Д ж е й н *(боится, что он начнет приставать к ней, незаметно задувает свечи, стоящие на серванте, а потом обращается к Такеру).* У вас случаем спичек не найдется? *(Такер достает из кармана коробок со спичками.)* Уж вы такой обходительный джентльмен, такой обходительный… слов нет.

Т а к е р *(зажигает свечи).* А мистер Крейн завтра уезжает.

Д ж е й н. Слышала.

Т а к е р. И ты останешься без работы.

Д ж е й н. Да, сэр. Такое со мной первый раз случается.

Т а к е р. Давай сделаем, чтобы это было в последний раз!

Д ж е й н *(держит между собой и Такером зажженную свечу).* Сэр!

Т а к е р. Иди ко мне! Я могу предложить тебе такую работу, от которой ты никогда не откажешься.

Д ж е й н. Пожалуйста, пропустите меня, сэр!

Т а к е р. Постой, Джейн Элен! Я хочу тебе сказать… *(Джейн хватает с серванта серебряный колокольчик и начинает громко звонить, во второй руке она высоко держит канделябр с горящими свечами.)* Что ты делаешь?

Д ж е й н. Созываю всех на ужин, сэр.

Т а к е р. Но я хотел сказать тебе…

Через левую дверь торопливо входит К р е й н.

К р е й н. В чем дело? *(Такер отходит к столу, становится спиной к публике.)* Что вы здесь делаете, Такер?

Т а к е р. Я что делаю? Помогаю Джейн Элен накрывать на стол.

Д ж е й н смеется и скрывается за ширмой.

К р е й н. Что-что?

Т а к е р. Вы, кажется, изволите ставить под сомнение мои слова? *(Идет к левой двери.)*

К р е й н. Представьте себе, изволю!

Т а к е р *(стоя у двери).* Тогда что же я тут, по-вашему, делал?

К р е й н. Уж во всяком случае не цветочки собирал!

Т а к е р уходит и с негодованием захлопывает за собой дверь. К р е й н идет за ширму.

К р е й н. Джейн Элен! Где вы?

Появляется Д ж е й н.

Д ж е й н. Слушаю, сэр!

К р е й н. Мистер Такер приставал к вам?

Д ж е й н. Не могу утверждать наверняка.

К р е й н. Что за глупости! Вы не знаете, что такое «приставать»?

Д ж е й н. Откуда бедной девушке знать про такое? Да и потом, у господ столько всяких уловок… так сразу и не поймешь, пристает он к тебе или нет…

К р е й н. Беда в том, Джейн Элен, что вы слишком красивы.

Д ж е й н. Ах, мистер Крейн, вы мне просто льстите!

К р е й н *(имитируя ее просторечье).* Как и все те джинтльмены, которые говорили вам то же самое последние пять лет.

Д ж е й н *(бросает на него короткий взгляд).* Ничего подобного, сэр! Никто из господ ничего такого мне не говорил.

Она быстро поворачивается и уходит в буфетную. К р е й н смеется и провожает ее взглядом. Д ж е й н переодевается в костюм горничной — черное платье, белый фартук с наколкой. Из холла доносятся голоса Л е ф е р т с а и У и к с а. К р е й н поворачивается к ним навстречу.

К р е й н. Приветствую вас, мистер Уикс! Мистер Лефертс! Спасибо, мистер Уикс, что так быстро откликнулись на мою просьбу.

У и к с *(стоя возле каминной полки).* Мне не составило труда. Ведь я живу в двух шагах. Впрочем, все равно без автомобиля я бы так быстро не справился.

Л е ф е р т с. Да, в деревне без маленького форда никак не обойтись! А где же дамы?

К р е й н *(наливает из графина шерри в четыре фужера).* А разве Такер вам ничего не сказал?

Л е ф е р т с. Нет, а что?

К р е й н. Они неожиданно уехали.

Л е ф е р т с. Как уехали?

К р е й н. Право же, мне очень жаль, но… так получилось… таково решение одной из дам. Зато другая оставила для вас записку.

Л е ф е р т с. Догадываюсь, кто! *(Подбегает к Крейну.)*

К р е й н. Еще бы! *(Отдает записку Лефертсу.)*

Л е ф е р т с. Благодарю вас! *(Немедленно вскрывает конверт и отходит в сторону.)*

К р е й н. Между прочим, мистер Лефертс, позвольте задать вам один вопрос, как профессиональному знатоку статистики. Вам знаком журнал «Финансист»?

Л е ф е р т с *(прячет письмо в карман).* Да, конечно.

К р е й н. Дело в том, что я владелец этого издания. Никогда не держал его в руках, но владеть владею. Ни черта не смыслю в издательской деятельности. Словом, мне нужен хороший редактор. Вы бы не согласились помочь мне?

Л е ф е р т с *(не скрывая своего изумления).* Я?!

К р е й н. Да, вы. Нынешний редактор уходит. Правда, он пока еще не знает об этом, но вопрос решен. Так как вам мое предложение?

Л е ф е р т с. Фантастика!

К р е й н. Даю вам для начала 500 долларов. Хватит?

Л е ф е р т с. Хватит?! Да я готов вас расцеловать в обе щеки! Если бы вы только знали, что для меня значит эта работа! Моей признательности нет предела! *(Обмениваются рукопожатиями.)*

К р е й н. Вот и отлично! *(Входит Такер, Лефертс отходит вправо, Крейн остается стоять у серванта.)* А вот и мистер Такер! Прошу любить и жаловать! Разрешите представить. Мистер Лефертс — дружище Такер! Господа, думаю, пора сделать по глотку шерри. *(Все присутствующие подходят к серванту и берут фужеры.)* Такер, вы знакомы с мистером Лефертсом?

Т а к е р. Я наслышан о нем.

Л е ф е р т с. Надеюсь, отзывы были положительными?

Т а к е р. Главным образом, сэр, это были отзывы моей сестры, миссис Фолкнер.

К р е й н. У меня есть тост. Предлагаю выпить за поэтов, которые неплохо разбираются в статистике!

Л е ф е р т с и У и к с смеются.

У и к с. Звучит немного таинственно, но пью с удовольствием.

Все выпивают.

Л е ф е р т с. Замечательный шерри!

Т а к е р *(ставит фужер на сервант и отходит к столу).* Да, недурственно! Весьма недурственно, Бертон! *(Обращается к Уиксу.)* А вы любите шерри, мистер Уикс?

У и к с. Да, я часто пивал его в этом доме.

К р е й н, пока эти двое обмениваются репликами, достает из кармана носовой платок У и к с а, который он подобрал в кухне, и показывает его Л е ф е р т с у, словно приглашая принять участие в розыгрыше.

К р е й н. Между прочим, мистер Уикс, это не ваша вещица?

У и к с *(подходит к столу).* Моя? С чего вы взяли?

К р е й н. Тут инициалы: Р. У. Ведь это же ваши инициалы?

У и к с *(берет носовой платок и испуганно разглядывает его).* Да, в самом деле, похоже, что платок — мой.

К р е й н. Я его сегодня нашел в кухне.

Л е ф е р т с смеется.

Т а к е р *(смотрит на Уикса, потом на Крейна).* Где-где?

К р е й н. В кухне, Такер!

Т а к е р понимает, что К р е й н задумал какую-то злую шутку.

Т а к е р. Ах, вот как! *(Идет к столу.)*

У и к с *(вытирает вспотевший лоб платком).* Душно! Такая жарища! И это осенью!

К р е й н. Да, жарковато! Господа, прошу всех к столу!

Л е ф е р т с усаживается справа, У и к с садится спиной к публике, Т а к е р — лицом к лицу с У и к с о м.

Т а к е р *(занимает свой стул).* Я готов!

К р е й н. Вы у нас всегда и во всем первый.

Л е ф е р т с. Вот как?

Появляется Д ж е й н, она несет на подносе суповые тарелки, явно намереваясь поставить их на стол возле К р е й н а. Но тот вскакивает со своего места и забирает тарелки с подноса. Д ж е й н поворачивается и уходит. К р е й н молча смотрит ей вслед.

Л е ф е р т с. У вас тут замечательно красивые места, мистер Уикс.

У и к с. Рад, что вам у нас нравится. Вы здесь впервые?

Л е ф е р т с. Да. Я ведь, знаете ли, стопроцентный северянин.

У и к с. Надеюсь, мистер Лефертс, вы еще к нам не раз приедете.

В это время Т а к е р закладывает себе за воротник салфетку. Потом поворачивается и видит К р е й н а с суповыми тарелками, который с глуповатым видом устремляется в сторону буфетной.

Т а к е р. Бертон, что вы там делаете с суповыми тарелками?

К р е й н с недовольным видом садится за стол и ставит тарелки возле себя.

У и к с. Что вы сказали, мистер Такер?

Появляется Д ж е й н с супницей на подносе. Она ставит супницу возле К р е й н а и начинает разливать суп по тарелкам.

Л е ф е р т с. Я остановился у своих знакомых. Рандольфы. Вы их знаете?

У и к с. Да. Я учился в школе вместе с Джоном Рандольфом.

Т а к е р *(обращаясь к Лефертсу).* Передайте мне, пожалуйста, маслины.

Л е ф е р т с *(передает маслины).* Да, мне кажется, он называл ваше имя.

У и к с. Вам повезло попасть к нам в разгар охотничьего сезона.

Т а к е р. Подайте мне, пожалуйста, миндаль.

Л е ф е р т с с недовольным видом выполняет просьбу. Тем временем Д ж е й н передает тарелку с супом У и к с у. Тот, занятый разговорами, не обращал на нее внимания, и только сейчас, увидев ее нежные ручки, понимает, что перед ним не С м и т ф и л д. Он медленно переводит взгляд от рук все выше и выше, пока не упирается в ее лицо. Он в ужасе. Д ж е й н корчит ему рожицу и берется за следующую тарелку для Л е ф е р т са.

Т а к е р *(в то время как Джейн передает тарелку Лефертсу).* Подайте мне соль, пожалуйста.

На сей раз Л е ф е р т с передает ему соль, перец, масло и еще несколько блюд, стоящих поблизости. В это же время Д ж е й н наливает Т а к е р у суп и уходит. Все приступают к еде. Снова появляется Д ж е й н.

К р е й н. Как вам суп, Такер?

Т а к е р. Просто великолепный!

Л е ф е р т с *(после небольшой паузы).* Да, очень вкусно!

У и к с. Неплохо, неплохо!

К р е й н *(после небольшой паузы).* По части супа придраться трудно!

Мужчины заканчивают первое.

Т а к е р. Лично я считаю, что хороший суп — это основа основ полноценного обеда. Правда, на мой вкус, стоит добавить немного перца. Будьте любезны, передайте, пожалуйста, перец.

Л е ф е р т с. А может быть, заодно и горчицу?

Все смеются, К р е й н делает знак Д ж е й н убрать суповые тарелки. Когда она забирает тарелку у Л е ф е р т с а, он с восхищением смотрит на нее и уже почти готов вскочить со своего стула и сопровождать Д ж е й н в буфетную. Он встает с места, поворачивается лицом к публике и говорит с восторгом.

Л е ф е р т с. Ей-богу! В жизни не видел такой красавицы!

К р е й н. Что вы сказали?

Л е ф е р т с торопливо садится на свое место.

Т а к е р. Это наша стряпуха. Вы ведь уже с ней встречались.

Л е ф е р т с. О, да! Прелестное создание! Правда?

Т а к е р *(тоном превосходства).* Никогда не интересовался внешностью прислуги.

Крейн. В самом деле, Такер?

Такер. Э-э-э, пожалуйста, подайте мне хлеб.

Крейн передает ему хлеб.

Лефертс. А я думаю, прекрасное и есть прекрасное. И неважно, где мы его видим.

Джейн вносит блюдо с кукурузными лепешками и ставит его прямо перед Лефертсом, потом забирает супницу и уходит.

Такер. Такое обожествление красоты свойственно только декадентам.

Лефертс. Неужели? А что именно вы, мистер Такер, понимаете под декадансом?

Такер *(с некоторой нерешительностью).* Декаданс — это… это…

Лефертс. Что это?

Такер. О, все очень просто! Декаданс — это…

Крейн. В самом деле, Такер, дайте же свое определение, наконец.

Такер. Пожалуйста, передайте мне миндаль.

Лефертс. Очень глубокое определение!

Такер. За время моей долгой и разнообразной адвокатской практики…

Снова появляется Джейн, несет блюдо с жареным цыпленком, которое ставит перед Крейном. Потом приносит овощи и расставляет их на сервировочном столике.

Лефертс. Во всяком случае, ясно одно, суп был просто пальчики оближешь!

Крейн. Мистер Лефертс все время нахваливает ваш суп, Джейн Элен.

Джейн. Большое спасибо, сэр.

Уикс. Между прочим, а куда подевался Смитфилд?

Крейн *(разрезая цыпленка).* Смитфилд? О, Смитфилд оказался недееспособным.

Уикс. Вы хотите сказать, он болен?

Джейн передает порцию Уиксу.

Крейн. Нет, это я болен… болен от него. Я его уволил. Вслед за этим мальчишкой Бринби и горничной Араминтой.

Уикс. Как уволили?

Крейн. Так. Взял и уволил.

Джейн передает порцию Лефертсу.

Уикс. Вы хотите сказать, что в доме остались только вы, мистер Такер и кухарка?

Крейн. К сожалению, мистер Такер тоже покидает меня. Он уезжает сегодня ночью.

Джейн подает цыпленка Такеру.

Уикс. Но… как же это… я… не… мистер Крейн…

Джейн идет к сервировочному столу за овощами.

К р е й н. Поговорим об этом позднее, мистер Уикс. После ужина. А пока давайте наслаждаться трапезой.

Т а к е р. Вот именно! Наслаждаться трапезой! Кстати, где масло?

Он обнаруживает масло там, где его поставил Л е ф е р т с. Д ж е й н подает овощи Л е ф е р т с у.

У и к с. И все же я хотел бы задать вам один вопрос… то есть, мне… касательно ваших планов на…

К р е й н. Не стану вам докучать разговорами о моих ближайших планах. Из собственного опыта, мистер Уикс, хорошо знаю, что подобные разговоры никому не интересны… Все эти мелкие домашние неурядицы и прочая чепуха… Кому это важно?

Д ж е й н передает тарелку с овощами У и к с у.

Л е ф е р т с. Позволю не согласиться с вами. Мне кажется, мистера Уикса это чрезвычайно интересует. Я прав, мистер Уикс?

У и к с. Да, да! Вы правы! Я очень… если честно… И потом, что подумают люди? Что они станут говорить, если… Ну, вы понимаете, что я имею в виду…

Д ж е й н подает овощи К р е й н у.

К р е й н. Не совсем. И потом, какое мне дело до того, что станут говорить люди?

У и к с. Да, конечно… В принципе, вы абсолютно правы, но в данном конкретном случае, думаю, вы согласитесь со мной, что…

К р е й н. Может быть, и соглашусь, если вы изволите выразиться яснее.

Д ж е й н передает овощи Т а к е р у.

Л е ф е р т с. По-моему, все и так ясно. Мистер Уикс хочет сказать, что здесь, в деревне, на виду у всех, люди могут дурно истолковать тот факт, что молодая девушка остается одна в доме вместе с… О, эта тема неоднократно затрагивалась нашими самыми выдающимися писателями и драматургами… Потому нет нужды развивать ее и дальше...

Т а к е р уплетает овощи, подкладывая себе новую порцию. Д ж е й н забирает со стола горячий поднос от мяса и при этом, пронося мимо Т а к е р а, намеренно прикладывает поднос к его уху. Все это происходит во время монолога Л е ф е р т с а, а потому, когда Т а к е р подпрыгивает на своем стуле от боли, тот замолкает.

Т а к е р *(вскакивая со своего места).* Какого черта? Что вы делаете, Джейн Элен?

Д ж е й н. О, прошу прощения, мистер Такер! Мне ужасно жаль!

Т а к е р. Жаль ей, видите ли!

Д ж е й н. Я же говорила, что не умею прислуживать за столом. *(Отставляет поднос с овощами в сторону и приносит бутылку бордо. Потом отходит к серванту.)*

К р е й н. Такер, прошу вас! Успокойтесь! Все в порядке, Джейн Элен. Не расстраивайтесь. Мистер Такер уже забыл об этом досадном инциденте. Правда, Такер?

Т а к е р. Да-да, разумеется. *(Джейн снова подходит к Крейну.)* Ничего страшного не произошло. Я даже и боли не почувствовал. *(Снова садится.)*

Д ж е й н. Вы так добры, сэр… так добры…

Наливает вино К р е й н у, Л е ф е р т с смеется.

Л е ф е р т с. Какой красивый дом! У него, должно быть, интересная история.

Д ж е й н наливает вино У и к с у и Л е ф е р т с у.

Т а к е р. Этот дом, как мне известно, принадлежит Дейнджерфилдам, одной из наиболее уважаемых семей в Америке. В свое время Дейнджерфилды много сделали для своей страны, но, к несчастью для них, во время Гражданской войны они приняли не ту сторону. *(Джейн в это время наливает вино в бокал Такера, но при последних словах она с негодованием разворачивается и уходит в сторону буфетной, оставляя бокал Такера практически пустым.)* Бертон, она меня пропустила!

К р е й н. Джейн Элен, вы забыли налить вино мистеру Такеру.

Д ж е й н. Слушаюсь, сэр. *(Возвращается, наполняет бокал Такера наполовину и уходит.)*

У и к с. Здесь, на Юге, люди считают, что они сражались как раз на той стороне, мистер Такер.

Т а к е р. Я всего лишь озвучил приговор истории, мистер Уикс.

К р е й н. Джентльмены, прошу вас… *(Желая прекратить назревающую ссору, поднимает свой бокал.)* Джентльмены, рад приветствовать всех вас у себя за столом.

Все выпивают.

Л е ф е р т с. Как бы то ни было, а говорят, что молодые Дейнджерфилды — отличные ребята. Да и сестры тоже. Мне Рандольф вчера о них рассказывал. *(Появляется Джейн. Она идет к сервировочному столу.)* Особенно хороша, по слухам, одна из сестер. Он еще называл ее имя. Постойте… как же это… Красивое такое… Ах, да! Оливия.

Д ж е й н. Слушаю, сэр!

К р е й н. К вам никто не обращался, Джейн Элен.

Д ж е й н. Да, сэр. *(Предлагает овощи Лефертсу.)*

Л е ф е р т с. Рандольф говорит, что девушка — сплошное очарование. *(К Джейн.)* Нет, благодарю вас. Достаточно. *(Смеется.)* Но большая кокетка. Представляете, минувшим летом обручилась сразу с тремя молодыми людьми!

Д ж е й н предлагает овощи Т а к е р у, и тот, даже не взглянув на нее, начинает выгружать овощи себе на тарелку.

У и к с. Мистер Лефертс! Позвольте просить вас передать мистеру Рандольфу вместе с пожеланиями всего хорошего от меня… сказать ему, что он говорит неправду.

Л е ф е р т с. Вот как? Право, мне очень жаль! Я не хотел…

Д ж е й н предлагает овощи К р е й н у, но тот отказывается.

У и к с. Я не виню вас, мистер Лефертс. Вы в наших краях впервые. А вот его я порицаю, и весьма строго, за то, что распускает нелепые слухи о самой красивой девушке нашего штата, причем безо всяких на то оснований.

Д ж е й н *(предлагает овощи Уиксу).* Вот, пожалуйста, картошка, сэр!

У и к с и Д ж е й н обмениваются ожесточенными взглядами.

Уикс. Нет, спасибо, не надо!

Джейн идет к серванту, ставит овощи на поднос и уносит.

Лефертс. А мне кажется, что такие слухи делают честь любой девушке. Особенно у вас в деревне. Развлечений ведь здесь не так уж и много, разве что охота.

Уикс. Не в этом дело! Вопрос в том, что это неправда!

Лефертс. Как скажете, сэр, как скажете!

Уикс. Мисс Оливия Дейнджерфилд — одна из самых уважаемых молодых леди в Вирджинии. Да, пожалуй, и на всем Юге.

Появляется Джейн и забирает тарелки Лефертса и Уикса.

Уикс. Я знаю ее с детства. Да, еще когда она была совсем маленькой девочкой. И уж если бы такое на самом деле имело место, то кому-кому, а мне бы точно стало об этом известно.

Джейн забирает тарелку Крейна.

Лефертс. Я вам верю, мистер Уикс! К тому же, никогда не слышал, чтобы девушка объявляла о нескольких помолвках одновременно. Впрочем, я знавал одну молодую особу, у которой…

Во время этого монолога Джейн подходит к Такеру, тот роняет салфетку и склоняется, чтобы поднять ее с пола, а Джейн уносит его тарелку; Такер, выпрямившись, обнаруживает, что тарелку с недоеденным ужином уже унесли, и это переполняет чашу его терпения. Он жалобно смотрит вначале на стол, туда, где стояла тарелка, потом на уходящую Джейн, потом на Крейна, пытаясь при этом сохранить чувство достоинства.

Такер *(восклицает с пафосом).* Бертон! Мой ужин!

Крейн. Мы уже все… Ах, простите! *(Подхватывается со своего места и хватает цыпленка со стола.)* Пожалуйста, простите! Девушка никогда раньше не прислуживала за столом. *(Он идет в буфетную и по пути сталкивается с Джейн, которая несет мороженое; она ставит мороженицу на боковой столик, потом забирает блюдо с цыпленком у Крейна, и до зрителей доносится, как Крейн вполголоса успокаивает ее и говорит: «Все отлично, Джейн Элен. Все хорошо», — и т. п.)* Прошу прощения, мистер Лефертс! Я перебил вас! Мы говорили о…

Лефертс. Да так! О пустяках! У меня — идея! Давайте попросим мистера Уикса, пусть он нам расскажет, как выглядит настоящая южная красавица.

Такер. Давайте. Давайте!

Уикс. По-моему, не время и не место для подобных разговоров. Не стану же я перечислять вам достоинства юной леди, словно собираюсь выставлять ее на рынке рабов.

Джейн подает мороженое Лефертсу, и тот накладывает себе порцию.

Такер. Разумеется, нет, сэр! Об этом не может быть и речи!

Крейн. Согласен! Однако мне кажется, мистер Уикс, заранее прошу простить меня за эти слова, вы так болезненно реагируете на все, что касается мисс Оливии Дейнджерфилд, словно являетесь одним из тех трех счастливчиков, которых она объявила своими женихами.

Джейн смеется, стоя вполоборота. Такер в это время с восхищением разглядывает мороженое, которое уплетает Лефертс, предвкушая, что вот сей-

час Джейн обслужит и его. Он уже приготовился и даже взял в руки ложку, но Джейн намеренно обходит его и идет к Крейну.

Уикс. Ничего подобного, сэр! Ничего подобного!

Крейн. Понятное дело! Я ведь не сказал, что вы были ее женихом. И все же мне не очень понятно, почему вы так категорически отказываетесь дать нам хотя бы намек на то *(накладывает себе мороженое и в этот момент бросает взгляд на Джейн)*, как выглядит девушка. Скажите хоть, она блондинка или брюнетка, высокая или маленького роста…

Уикс *(рассматривает Джейн, которая, наконец, подошла к Такеру).* Возможно, на то у меня есть особые причины!

Такер наконец дорывается до мороженого.

Крейн. Возможно, возможно… А впрочем, Джейн Элен тоже хорошо знакома с мисс Дейнджерфилд.

Джейн уносит мороженое.

Уикс. О, нет! Только не это!

Крейн. Что? Разве вы забыли, какую блестящую рекомендацию дала эта юная леди нашей кухарке?

Уикс. Да, конечно, но…

Крейн. Вы ведь тоже присутствовали в тот момент, когда миссис Фолкнер зачитывала ее всем нам вслух, не так ли?

Уикс. О, да! Я слышал.

Снова появляется Джейн и идет к серванту.

Крейн. Джейн Элен! Вам часто доводилось встречаться с мисс Оливией Дейнджерфилд?

Джейн. Иногда, сэр, доводилось.

Крейн. Тогда опишите нам ее внешность.

Джейн. Как я могу, сэр? Тем более в присутствии мистера Уикса, который просто без ума от барышни. *(Уикс делает предупреждающий знак салфеткой, но Джейн оставляет его без внимания.)* Хотя… хотя смотря с какой стороны посмотреть… Слуги ведь иной раз больше господ знают… что же до ее помолвок за эти годы, то их было гораздо больше, чем думает мистер Уикс. Уж я-то знаю, что говорю! Эта мисс Дейнджерфилд…

Уикс. Оливия!!!

Джейн. Ну да! Я и говорю, Оливия Дейнджерфилд… А еще есть мисс Элизабет… Что же до ее внешности… высокая… чуть пониже, чем вы, сэр. Лицо белое… словно лилия…

Крейн. Наверное, блондинка?

Джейн. В самую точку, сэр! Волосы золотистые, цвета спелой ржи… кудри вьются ниже пояса…

Крейн. Словно греческая богиня! Она так и стоит у меня перед глазами.

Джейн. Как это, сэр?

Крейн. Я имею в виду мысленно, Джейн Элен. В моем воображении. Да, именно такой я ее и представляю — холодной и неприступной богиней.

Джейн. Точно, сэр, точно! Вылитая богиня! Вот только один глаз слегка косит.

Лефертс смеется.

Уикс. Ничего подобного! Ничего подобного!

Д ж е й н. Да нет же, сэр! Говорю я вам, немного косит! Правда, это видно только тогда, когда очень близко к ней подойдешь. А может, мистеру Уиксу и не довелось рассматривать барышню вблизи… Вот он и не знает…

У и к с. Ничего подобного! Чушь!

Д ж е й н. А уж какая у ней осанка… Уж как величава… и как держится… Любого заставит трепетать… Это запросто…

Идет к серванту и приносит оттуда поднос с сигарами.

К р е й н. Спасибо, Джейн Элен! Вы так превосходно описали мисс Дейнджерфилд, что я будто воочию вижу ее. Она буквально стоит передо мной!

Д ж е й н *(держа поднос в руках).* Ах, сэр! Кабы она тут стояла, разве вы бы посмели сидеть? *(Ставит поднос на стол возле Лефертса, потом снова возвращается к серванту и задувает свечи.)*

К р е й н *(поднимаясь с места).* Что касается меня, то я представлял девушку несколько иначе, среднего роста, темноволосая, глаза карие, живая, веселая, ротик…

Д ж е й н торопливо скрывается в буфетной.

У и к с. Мистер Крейн, предупреждаю вас! Если вы зайдете в своих фантазиях слишком далеко и позволите себе что-нибудь неуважительное в адрес молодой леди, то я… *(Разгневанно поднимается со своего места.)*

Д ж е й н выходит из буфетной с кофейными принадлежностями.

К р е й н. Неуважительное? Что за глупости! Джентльмены, прошу вас! Будьте свидетелями! Разве я сказал что-то оскорбительное в адрес прежней хозяйки Джейн Элен?

Л е ф е р т с и Т а к е р *(шепотом вместе).* Нет, конечно же, нет! Ничего такого!

К р е й н садится.

У и к с. Прошу простить меня, мистер Крейн. *(Тоже садится.)*

К р е й н. Господа! Кофе!

Д ж е й н подает по очереди кофе Л е ф е р т с у, У и к с у, К р е й н у и Т а к е р у; вместе с чашкой кофе для Т а к е р а она ставит на стол сахарницу, но не успевает тот протянуть руку за куском сахара, как она переставляет сахарницу поближе к Л е ф е р т с у. Мужчины раскуривают сигары, все устраиваются поудобнее. Джейн уходит в буфетную. Л е ф е р т с откидывается на спинку стула, делает глубокую затяжку и удовлетворенно пускает кольца дыма. Короткая пауза.

Т а к е р. Хорошие сигары, Бертон.

К р е й н. Рад, что они вам по душе, Такер.

Т а к е р наконец дотягивается до сахарницы, кладет сахар в свой кофе и ставит сахарницу слева от себя возле К р е й н а. Тот пытается передать сахарницу дальше У и к с у.

Т а к е р. Минуточку, Бертон! Одну минуточку! Я возьму еще кусочек.

Л е ф е р т с. Цыпленок был восхитительным! И картошечка — одно объеденье! Сразу видно, южная кухня! У нас такого на севере не отведаешь.

К р е й н. Мистер Уикс! Вы ничего не ели за столом.

У и к с. О, пустяки! Я… я не голоден.

К р е й н. Наверное, обедали поздно?

У и к с. Да… да, именно так.

Л е ф е р т с. Зато с вашим аппетитом все в порядке, мистер Такер, правда? *(Такер поспешно ставит недопитую чашечку с кофе на стол и недовольно откидывается на спинку стула.)* Вы, как большой любитель вкусно поесть, наверное, на кухне свой человек.

Т а к е р. Вполне возможно. Сами вы тоже, как я посмотрю, не прочь по чужим кухням пройтись. Вам у нас в кухне понравилось, мистер Лефертс?

Вопрос застает Л е ф е р т с а врасплох.

К р е й н *(приходит на помощь Лефертсу).* А вам там нравится, Такер?

Т а к е р кашляет.

К р е й н *(обращаясь к Уиксу).* Милая кухонька, не правда ли, мистер Уикс?

У и к с, который в этот момент пьет кофе, поперхнулся и пытается откашляться. Входит Д ж е й н, направляется к серванту.

У и к с. О, кухня отличная, насколько я могу судить.

К р е й н *(замечает Джейн и встает).* Джентльмены! Предлагаю выпить стоя. *(Все встают с бокалами в руках.)* За нашу лучшую в мире кухню!

В с е *(хором).* За кухню!

Все выпивают и снова садятся, Д ж е й н уходит в буфетную.

Л е ф е р т с. А кстати, где сейчас сами Дейнджерфилды?

К р е й н. Насколько мне известно от мистера Уикса, полковник с супругой находятся за границей.

Снова появляется Д ж е й н, она составляет на поднос рюмки для ликера, собирается уходить, но специально задерживается возле серванта, чтобы услышать ответ У и к с а.

К р е й н. Говорят, полковник тяжело болен. Это правда, мистер Уикс?

У и к с. К несчастью, да. Он только что перенес серьезную операцию. *(Крейн исподтишка наблюдает за Джейн.)* В отсутствие семьи я, как их поверенный, получаю всю корреспонденцию Дейнджерфилдов. Буквально перед моим уходом сюда мне принесли телеграмму, в которой говорится, что, слава богу, дорогой полковник уже вне опасности.

К р е й н. О, искренне рад! *(Смотрит на Джейн, которая уходит в буфетную, не сводя с нее взгляда до тех пор, пока та не исчезает за ширмой.)* Вы уже сообщили эту замечательную новость его детям?

У и к с. Да, безусловно!

Л е ф е р т с. Кстати, а где они?

К р е й н. Да, где они, мистер Уикс?

У и к с. Сожалею, но я не вправе раскрывать место их пребывания.

Л е ф е р т с. Ах, простите за мой бестактный вопрос. Если бы я знал это, то ни за что на свете не стал бы проявлять свое любопытство.

У и к с. К тому же, мистер Крейн, боюсь, я очень ограничен во времени… Мистер Такер сказал мне в телефонном разговоре, что вы хотели видеть меня по делу, а потому…

Крейн *(встает с места).* Конечно-конечно… Если не возражаете, Такер, и вы, мистер Лефертс, перейдите, пожалуйста со своими сигарами в гостиную. Нам с мистером Уиксом нужно поговорить о делах.

Лефертс *(поднимается).* Хорошо!

Такер *(поднимается).* С большим удовольствием!

Уикс встает с места и идет к серванту.

Крейн *(провожая двух других до дверей).* Вы ведь не возражаете? К тому же, у вас столько общих тем для разговоров… Кухня и все такое прочее… Правда, Такер?

Такер. Возможно, возможно… Но мистер Лефертс, как я понимаю, больше специализируется по части кухонных буфетов.

Уходит с видом победителя.

Крейн *(обращаясь к Лефертсу, который идет следом за Такером).* Мне жаль, что я побеспокоил вас, но это ненадолго.

Лефертс. Отец вы мой, благодетель! Занимайтесь своими делами столько, сколько вам надо. К тому же, я еще не читал письма. (*Извлекает письмо из кармана.)* Так вы, кажется, говорили о 500 долларах в год?

Крейн. Именно. Разве вы не поняли меня?

Лефертс. Прекрасно понял, просто мне хотелось услышать эту дивную цифру еще раз. *(Уходит.)*

Крейн *(жестом приглашает Уикса к стулу).* Прошу! Садитесь, мистер Уикс! *(Плотно прикрывает дверь, потом возвращается к столу и садится на свое место, лицом к публике.)* Мистер Уикс, завтра утром я съезжаю отсюда.

Уикс. Не может быть!

Крейн. Да, я расторгаю наш договор.

Уикс. Расторгаете договор?

Крейн. Именно!

Уикс. Но на каком основании? Что за причина?

Крейн. Насколько вы помните, в договоре на аренду специальным пунктом оговаривалось условие о том, что вы укомплектовываете штат прислуги квалифицированными белыми слугами, а на настоящий момент, и вы тому — живой свидетель, в доме из всей прислуги осталась лишь одна кухарка.

Уикс. Послушайте! Мы договорились лишь о том, что найдем вам прислугу. Откуда нам было знать, что вы их станете увольнять одного за другим?

Крейн. Тогда спросите меня, почему я их уволил! И я вам отвечу! Горничную за то, что она прямо в глаза обозвала одну из моих гостей старой ведьмой! Прошу заметить, я не стал бы увольнять девушку, если бы она высказалась за спиной почтенной дамы. Мальчишку я уволил за то, что он попытался оскорбить другого моего гостя, а дворецкого за то, что он не выгнал этого сорванца вон, как ему было приказано. Вместо этого он нарядил его стариком и снова ввел в дом… Сказать по правде, за такие безобразия их всех следовало бы арестовать! *(Отодвигает свой стул от Уикса.)* Пожалуй, я так и сделаю.

Уикс. Мистер Крейн, я… я надеюсь, вы пошутили…

Крейн. Не хочу, чтобы люди подумали, что я позволил ускользнуть от закона какой-то шайке, которая станет потом разгуливать по здешним местам.

Уикс. Даю вам слово, они не станут разгуливать! Я их хорошо знаю.

К р е й н. И тем не менее, я жду внятных объяснений с вашей стороны. Например, по поводу того, что вы делали в кухне. Не скажу, что вы там были желанным гостем, однако, вы вели себя там как дома, и при этом мешали прислуге работать.

У и к с *(встает, он явно смущен, обходит вокруг стула).* Не считаю нужным отчитываться перед кем бы то ни было о своем поведении.

К р е й н. Иными словами, вы отказываетесь ответить на мой вопрос?

У и к с. Да, отказываюсь!

К р е й н. И у вас на то есть веские причины?

У и к с. Что вы имеете в виду?

К р е й н. То, что, например, ваш ответ может каким-то образом скомпрометировать вас или еще кого-нибудь…

У и к с *(со злостью).* Ничего подобного! А если вы, сэр, думаете, что можете…

К р е й н. Это меняет дело! И все же ответьте мне на один вопрос. Как может ирландская девушка по имени Джейн Элен иметь двух чистокровных английских братьев по имени Смитфилд и Бринби?

У и к с. Что за глупости!

К р е й н. И однако же, это факт!

У и к с. Кто вам сказал такую чепуху?

К р е й н *(подходя к Уиксу).* Одна из самых уважаемых и обожаемых юных леди во всей Вирджинии, а может быть, и на всем Юге.

У и к с. Как ее зовут?

К р е й н *(поднимается со стула).* А вот это, сэр, по вашей части! Так как же зовут эту молодую особу?

У и к с. Не знаю.

К р е й н. И вы продолжаете отрицать, что Бринби и Смитфилд — это родные братья Джейн Элен?

У и к с. Я… я не понимаю, какое это имеет отношение к делу!

К р е й н. Так вы все же не отрицаете?

У и к с. Нет… то есть, я не уверен… я не могу подтвердить…

К р е й н. А объяснить можете?

У и к с. Нет. *(Идет в левый угол.)*

К р е й н *(идет вправо).* Насколько я могу судить, Араминта тоже приходится… О, черт! Джейн Элен! *(Из буфетной появляется Джейн.)* Джейн Элен, подойдите ко мне, пожалуйста. Джейн Элен, Араминта — это ваша сестра?

Д ж е й н некоторое время колеблется с ответом, она бросает взгляд на У и к с а, который делает ей предупреждающий знак, потом смотрит на К р е й н а.

Д ж е й н. Так, сэр, это как посмотреть… Мы с ней столько лет вместе… правда, она мне как родная… всегда и услужит, и поможет. Ой, простите, сэр! Мне надо… я сейчас… совсем забыла! У меня в духовке яблоки остались. Поди, сгорели! Я мигом! *(Убегает.)*

К р е й н *(подходит к Уиксу и смотрит на него в упор).* Говорите, у Дейнджерфилдов четверо детей?

У и к с. Да, сэр. Четверо.

К р е й н. Две дочери и два сына?

У и к с. Да.

К р е й н *(после паузы).* Мистер Уикс, положа руку на сердце, можете ли вы, как истинный джентльмен, как истинный южанин, сказать, что в этом доме со мной обращались, как я того заслуживаю?

У и к с. Клянусь честью, сэр, но я считаю, что вам были оказаны особые знаки внимания и почести.

Крейн. Три дня сплошного кошмара — это, по-вашему, особые почести? У вас есть что добавить к своим словам?

Уикс. Нет, сэр, ничего.

Крейн. В таком случае, сэр, не смею вас больше задерживать. Спокойной ночи.

Уикс *(идет к двери).* Спокойной ночи.

Крейн *(становится возле каминной полки).* Договор я расторгаю. Если, паче чаяния, у вас или у Дейнджерфилдов возникнут претензии ко мне, не возражаю против судебного разбирательства. Можете судиться!

Уикс. Но, сэр… Ах, если бы вы только знали… вы бы…

Крейн. Возможно! Но я ничего не знаю, а вы ничего мне не говорите.

Уикс. Я… я, ах, если бы я мог! Но я не могу, и это чистая правда.

Крейн. Тогда всего доброго, мистер Уикс!

Уикс скрывается за дверью, но тотчас же возвращается.

Уикс. Прошу прощения, но еще одно… Вы ведь остаетесь в доме вдвоем… только вы и… Джейн Элен…

Крейн. Ах, да! Вас ведь волнует доброе имя моей кухарки, не так ли?

Уикс. Д-д-а! Волнует, сэр…

Крейн. Вам не кажется, сэр, что галантность южных джентльменов поистине безгранична?

Уикс. Нет, сэр, не кажется.

Крейн. Тогда, сэр, позвольте вам заметить, что моя кухарка сама вправе позаботиться о собственной репутации. К примеру, она может переночевать у жены моего шофера, если ей заблагорассудится.

Уикс *(шокированный таким предложением).* Мистер Крейн, это уж слишком!

Крейн. Бог мой! Да на вас, мой дорогой Уикс, не угодишь!

Из буфетной появляется Джейн.

Крейн. А вот и Джейн Элен собственной персоной! Кстати, Джейн Элен, через некоторое время мы с вами останемся вдвоем под этой крышей. С точки зрения мистера Уикса, это крайне нежелательно. А что скажете вы?

Джейн. Я, сэр?

Крейн. Да. Может, вам лучше провести ночь в обществе жены моего шофера?

Джейн. Зачем? Конечно, спасибо мистеру Уиксу за заботу и все такое… Только я совсем не боюсь.

Уикс. Но подумайте! Только подумайте, что скажут люди!

Джейн. А они откуда что будут знать? Вы-то, мистер Уикс, я надеюсь, не станете болтать лишнего. *(Идет к серванту.)*

Крейн. Слышали, мистер Уикс? Что-нибудь еще?

Уикс *(пунцово-красный от возмущения).* Я… я немедленно отправляюсь на поиски ее братьев!

Крейн *(восклицает).* Ах, так вы признаете это?

Уикс. Признаю что?

Крейн. Что они ее родные братья?

Уикс *(возмущенный и сбитый с толку).* Ничего я не признаю!

Убегает, громко хлопая за собой дверью.

К р е й н *(после короткой паузы, идет по сцене в левый угол).* Присаживайтесь, Джейн Элен.

Д ж е й н. Спасибо, сэр. Но я уж лучше постою.

К р е й н. Как вам будет угодно. Джейн, я уезжаю сразу же после завтрака.

Д ж е й н. Как это, сэр?

К р е й н. Я только что сообщил мистеру Уиксу, что расторгаю с ним договор об аренде этого дома.

Д ж е й н. Но сэр! Через пару дней приедут новые слуги. Мистер Ранди как раз этим сейчас занимается. И потом, я могу, если хотите, остаться и побыть здесь, пока вы не…

К р е й н. Не в этом дело, Джейн Элен! Не в этом дело! С самого начала все пошло шиворот-навыворот. Мои гости разъехались, и каждый из них по-своему остался недоволен моим гостеприимством. В результате мой отпуск совершенно испорчен. Я уезжаю.

Д ж е й н. Молодые Дейнджерфилды будут страшно расстроены, я думаю.

К р е й н. А я думаю, что они не станут возражать против моего отъезда.

Д ж е й н. У них ведь дела, сэр, из рук вон плохо… и даже хуже… Они бы и свой дом ни за что не стали сдавать, если бы не… можно сказать, что они уже голодали…

К р е й н *(опирается коленкой на стул).* Вы так привязаны к этой семье, Джейн Элен?

Д ж е й н. Да, сэр.

К р е й н. Особенно, по-моему, к старому полковнику.

Д ж е й н. Да, сэр.

К р е й н. А эта златокудрая, царственная богиня… Оливия? Судя по всему, вы ее не очень-то жалуете?

Д ж е й н. Если честно, сэр, то в ней есть и хорошее.

К р е й н. И все же признайтесь, вы ее, по-моему, терпеть не можете?

Д ж е й н. Что вы такое говорите, сэр!

К р е й н. Но вы же сами говорили, что устали от нее. Что вам надоело смотреть, как она шатается по дому целыми днями.

Д ж е й н. Ах, сэр! Стану я вспоминать, что я там плела этой противной миссис Фолкнер, господи прости!

К р е й н. Джейн Элен, сегодня за ужином вы меня сильно огорчили.

Д ж е й н. Чем, сэр?

К р е й н. Вы сказали, что совсем не удивляетесь тому, что мисс Оливия обручилась трижды.

Д ж е й н. А вам-то, сэр, что за беда? Вы же ее совсем не знаете!

К р е й н. Напротив! Я знаю ее очень хорошо!

Д ж е й н *(после короткой паузы).* Тогда, сэр, прошу простить меня за то, что я сказала что-то лишнее. Я ведь думала, вы с ней даже не знакомы. *(Опускает глаза.)*

К р е й н. Пожалуй, вы правы. Я и сам порой задаюсь вопросом, узнаю ли я ее когда-нибудь по-настоящему? Порой она мне кажется очень близкой, вот как вы сейчас, и вдруг внезапно удаляется, растворяется в воздухе, словно привидение. Как вы думаете, Джейн Элен, почему она так себя ведет со мной?

Д ж е й н. Ах, сэр, поверьте мне! Это ее обычная манера!

К р е й н. Боюсь, это происходит потому, что она не доверяет мне. Как вы думаете, Джейн Элен, она может поверить мне? Я ведь люблю ее! *(Наклоняется вперед, все еще упираясь коленом в стул, и берет Джейн за*

левую руку. Пауза.) Вы ей расскажете о нашем разговоре, когда встретитесь?

Д ж е й н. Послушайтесь совета простой кухарки, не торопитесь! Она ведь такая кокетка, эта мисс Оливия! *(Пауза.)* Подумайте еще раз как следует! И потом…

К р е й н. Да-да, конечно! И все же признаюсь вам, она — самое восхитительное создание на свете! Если она не полюбит меня, то…

Д ж е й н. То что, сэр? *(Крейн отпускает ее руку.)* Что будет, сэр, если она вас не полюбит?

К р е й н. Джейн Элен, вам когда-нибудь приходилось наблюдать восход солнца весной?

Д ж е й н. Конечно, сэр.

К р е й н. Вспомните этот миг, это неповторимое мгновенье, когда все в природе — деревья, трава, цветы, небо и сама земля, все замерло в ожидании первых солнечных лучей. Вот так и я, Джейн Элен… Всю свою жизнь я провел в ожидании этой сладостной минуты. Когда же, наконец, в моей жизни появится самое прекрасное, самое неповторимое существо на свете. И теперь, когда оно совсем рядом… совсем близко…

Д ж е й н *(после небольшой паузы).* Ах, сэр, вы так ладно все говорите! Только на рассвете бывает довольно зябко, хочу заметить.

К р е й н *(в полном отчаянии).* Вы просто смеетесь надо мной, Джейн Элен!

Д ж е й н. Вовсе нет, ваша милость. Да и как бы я посмела?

К р е й н. Джейн Элен, пройдет совсем немного времени, и за мной, быть может, навсегда захлопнутся двери этого дома. И уже никогда я не увижу прекрасное лицо этой девушки и не услышу ее божественный голос. И все же всем лучшим, что есть во мне, я обязан ей! Ей и только ей принадлежу я всецело со всеми своими надеждами и помыслами. Да, я знаю! В ее сердце нет места для меня. И наверное, она никогда не ответит мне взаимностью, но я… я благословляю ее имя, ибо это так замечательно — знать, что в мире есть такое божественное создание. Вы запомнили все, что я сказал? Вы расскажете ей об этом?

Д ж е й н. Непременно, сэр! Все передам! Только боюсь, она потом станет нос задирать… после таких-то слов… Трудно с ней будет сладить после всего этого…

К р е й н. Но вы все же передайте ей слово в слово. Договорились?

Д ж е й н. Обязательно передам, сэр. Не сумневайтесь!

К р е й н. Вот и спасибо!

Он берет ее за правую руку, и она позволяет ему это сделать. Внезапно он подносит ее руку к губам, потом резко опускает и поворачивается чтобы уйти.

К р е й н. Прощайте, Джейн Элен! Прощайте! *(Она кладет руки на его плечи и поворачивает к себе лицом.)* Джейн Элен!

Д ж е й н. Вам и вправду понравилась моя стряпня?

К р е й н. Оливия!!!

Они обнимаются.

Занавес.

Перевод с английского и вступление Зинаиды КРАСНЕВСКОЙ.

К 150-летию Ядвигина Ш.

Петро ВАСЮЧЕНКО

Явь и фантазии Ядвигина Ш.

Писатель, создавший свой художественный мир, ярко проявивший себя в истории белорусской литературы, принадлежит к когорте «нашенивцев», то есть тех, которые в начале XX века объединились вокруг газеты «Наша нива» (выходила с 1906 по 1915 годы) и создали энергетическое поле белорусского культурного и национального Возрождения. Нашенивское Возрождение состоялось благодаря творческим усилиям классиков национальной литературы, таких как Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Алесь Гарун, Максим Горецкий, Тетка (Алоиза Пашкевич), Змитрок Бядуля. Круг авторов, трудившихся на ниве нашенивства, значительно шире, он охватывает десятки и сотни имен. Историки литературы старательно идентифицируют имена даже тех корреспондентов «Нашей нивы», которые опубликовали в газете два-три стихотворения и подписались псевдонимом, скромным криптонимом, скажем, звездочкой (*).

На фоне сияния сверхзвезд белорусской литературы, таких, как Янка Купала и Якуб Колас, как будто блекнут звездочки более скромных авторов, таких, например, как Карусь Каганец, Орел, Констанция Буйло, Зоська Верас, Старый Влас, Альберт Павлович, Гальяш Левчик и других, несомненно ярких и самобытных. К звездам второй величины можно было бы присоединить и имя Ядвигина Ш. (настоящее имя — Антон Иванович Левицкий), хотя ряд обстоятельств его биографии и творчества обязывает выделить этого писателя.

Он был намного старше Янки Купалы и Якуба Коласа и мог бы считаться патриархом белорусского Возрождения, но не считал нужным выделяться на фоне молодых и старательно тянул свое ярмо рутинной редакционной работы.

Он раньше, чем его соратники, еще в конце XIX века, почувствовал себя белорусом и белорусским писателем, как это, между прочим, произошло с Карусем Каганцом, Антоном и Иваном Луцкевичами. У его младших последователей этот выбор был еще впереди.

Еще он был учеником Винцента Дунина-Марцинкевича, и это значило, что он стал посредником между полулегальной белорусской литературой XIX века и литературой XX века.

Родился будущий писатель 4 января 1869 года в имении Добасня Рогачевского уезда в семье эконома. Семья вскоре переехала на Минщину в поисках работы.

В девять лет мальчика отдали на обучение в частную школу, которую создала дочь Винцента Дунина-Марцинкевича Камилла в имении Люцинка. Про ее отца литературовед Язэп Янушкевич выскажется следующим образом: «Ён першы сеяў зярняты…» Зерно, брошенное не на камень, прорастало. Ученику самому суждено было стать сеятелем.

Была еще Минская гимназия, учеба на медицинском факультете Московского университета. Тут развернулась полоса его увлечения политикой.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали двигателем революций пролетариат, которому нечего терять, кроме своих цепей. Белорусский поэт Михась Чарот был уверен, что революцию творят «босыя», люмпены, у которых ничего нет. Мне

видится, что у истоков многих социальных катаклизмов стояли студенты — веселый и ученый народец, обделенный инстинктом страха.

Молодой человек участвовал в студенческих волнениях после убийства царя Александра II. Они описаны в «Воспоминаниях» (Вильня, 1921), в главе «Раздзел «Бутыркі»». Студент в изображении Ядвигина Ш. напоминает аналогичного героя белорусских народных интермедий, безудержного повесу, озорника, мистификатора. Антон и его товарищи обманывают жандармов, полицейских, тюремное начальство. Устраивают в Бутырках концерт, где звучат песни по-польски, по-украински, по-русски, на языках Кавказа, только не по-белорусски, с сожалением отмечает автор, хоть белорусы в тюрьме также находились.

Тюремный дневник, написанный Ядвигиным Ш., предвосхищает произведения Якуба Коласа, Франтишка Алехновича, Кузьмы Чорного, Павлины Мяделки, Бориса Микулича и других белорусских писателей, также изведавших горький опыт несвободы. В мировой литературе тюремные университеты прошли выдающиеся ее представители — Федор Достоевский, Владимир Маяковский, Оскар Уайльд, Мигель Анхель Астуриас и многие другие.

После тюрьмы будущий писатель перебирается в Радошковичи, местечко неподалеку от Карпиловки, где жила его мать. Помощник провизора уже был убежденным, «свядомым» белорусом, собравшим вокруг себя кружок белорусской интеллигенции.

В 1892 году Ядвигин Ш. написал комедию «Вор» («Злодзей»), которую так и не удалось поставить. О чем она, никто не может сказать, так как рукопись пьесы бесследно исчезла. И это не последняя, как мы увидим, тайна, связанная с творческой биографией Ядвигина Ш.

В 1897 году писатель перебирается в Карпиловку. Терпит лишения, много пишет, рукописи, как в свое время и его учитель Винцент Дунин-Марцинкевич, складывает в таинственный сундучок, который, конечно же, потеряется.

Литературоведы рассуждают о происхождении необычного псевдонима Ядвигина Ш., в прошлом Антона Левицкого. Там, где нет ответа на вопрос, рождаются мифы. Ходит слух о том, что в юности писатель был влюблен в девушку по имени Ядвися. Во время свиданий муза поэта будто бы говорила ему «Ша!», чтобы папа и мама не услышали. И еще: одна моя студентка назвала писателя Ядвигиным Третьим и была уверена, что существуют и первый, и второй, и четвертый. Даже произведения их называла. Улыбнитесь, дорогой читатель.

В начале XX века таинственный сундучок Ядвигина Ш. начал постепенно приоткрываться. Очерки, корреспонденции на русском языке печатаются в легальных изданиях, таких, как «Белорусский вестник».

После 1905 года и появления изданий «Наша доля» и «Наша нива» начинается период максимальной творческой активности Ядвигина Ш., длившийся почти десять лет.

Мне доводилось сравнивать «Нашу ниву» с грибницей, породившей множество творческих проектов, кружков, театральных, фольклорных, этнографических коллективов, издательств. За время сотрудничества с «Нашей нивой» Ядвигин Ш. написал десятки рассказов, рецензий, очерков, издал сборники прозы «Березка» (1912) и «Васильки» (1914).

Но главным для него было литературное общение. Нашенивцы не только издавали газету — они думали, проектировали будущую Беларусь, создавали матрицу, по которой в конце концов она и собралась, хотя и в муках, с бесконечными ретардациями, но в целом именно по той модели, которая представлялась нашенивцам. Ядвигин Ш. водил дружбу с Янкой Купалой, братьями Луцкевичами. Литераторы спорили о путях развития белорусской и европейской литератур, новых направлениях в них, в первую очередь о модернизме. Из помещения редакции споры переносились в кондитерскую «Зеленый Штраль» в Вильне, где

собиралась, пила кофе и бенедиктин, угощалась пирожными, курила и отчаянно дискутировала новорожденная белорусская литературная богема.

Произведения Ядвигина Ш., написанные в период с 1905 по 1914 годы, литературоведы любили классифицировать, делить на жанровые группы: бытовые зарисовки, аллегории, басни в прозе, притчи, реалистические рассказы и так далее.

Но важно проследить прежде всего эволюцию творчества Ядвигина Ш. в этот период, его колебания между вымыслом и явью, что отражает вектор развития всей белорусской литературы в ее золотую эпоху.

По сравнению с поэзией, которая мгновенно приблизилась к высокому мировому уровню, белорусская проза развивалась неспешно, выглядела консервативной. Предыдущее, XIX столетие, было вообще эпохой поэзии. И первые рассказы Ядвигина Ш. напоминают несмелые попытки Франтишка Богушевича, Адама Плуга, Каруся Каганца в жанре прозы.

Прозаики просто из жизни, из яви выхватывали эпизоды, которые казались им поучительными и забавными, и переносили в литературу. Так появился в ней образ наивного нарратора, крестьянина в городе, которого иногда обманывают, над которым посмеиваются, да и сам он не чужд самоиронии, лишь бы все обошлось. Так происходит в раннем рассказе Ядвигина Ш. «Суд», который сюжетно перекликается с рассказом Ф. Богушевича «Свидетель». В деревне произошел инцидент: вдова Габриэлиха пустила кобылу на луг главного персонажа, и тот подал на нее в суд. Судья, порядочный, сердобольный, улыбчивый немец, хочет порешить дело миром, но ему трудно это сделать, потому что он слабо владеет здешним языком. «Ну вот і карашо, ты хоць і мужчына, но маленькі, а баба хоць і баба, но, правда, большая кабыла. Так вы лучше так… без суда. Зачем суд? Помертесь!» Между прочим, языки нужно знать всем, в том числе и чиновникам. Немцу кажется, что он удачно пошутил, но тяжущиеся выходят в коридор и в самом деле меряются ростом. Окончательно дело улаживается в корчме, с участием двух свидетелей.

Анекдотические сюжеты юмористических и сатирических рассказов Ядвигина Ш. создавала сама жизнь. Иногда он работал в жанре нон-фикшн, показывая не придуманные, а подсмотренные в реальности истории. Так начинался рост прозы писателя: от анекдотов к актуальным жизненным реалиям. Писатель в условиях ускоренного развития белорусской литературы ретранслировал литературный опыт девятнадцатого века в двадцатый.

В сюжетное пространство рассказов Ядвигина Ш. врывается героиня — женщина — и вместе с ней клубок проблем, личных, бытовых, семейных, социальных, которые сегодня определяют коротким словом «гендер». И в их художественной интерпретации писатель постепенно уходит от фольклорных, народных представлений в современность.

Домашняя война свекрови и невестки — сюжет семейно-бытовых сказок, народных песен и реальной жизни белорусов. Война эта ведется с переменным успехом. Ее перипетии с юмором пересказывает Ядвигин Ш. в рассказе «Важная фига» («Важная хвіга»), посвященном всем добрым свекровям. Свои отношения свекровь и невестка решают посредством дуэли, условия которой — обмен фигами. Невестка в этих поединках оказывается проворней. Находчивая свекровь отправляется в поход за справедливостью за целых восемнадцать верст к земскому судье, который, усмехаясь, сооружает из ее пальцев поистине королевскую (двойную) фигу, перед которой капитулируют все — и строптивая невестка, и сын, и соседи. Но и победительницу ожидает поражение. Нет ничего вечного в этом мире, и «важные фиги» не исключение.

Мало радости в той женской доле, которую описал Ядвигин Ш. в своей гендерной прозе, да и во всех его произведениях. Счастливые сюжеты его повествований исчерпываются известными, анекдотическими мотивами. В целом его проза грустна, порой и безысходна. Его героиня постепенно покидает фольклорный хронотоп и начинает жить в жесткой яви XX века.

Жизнь молодицы в новой семье непроста, ее недоля оплакана во множестве народных песен, и Ядвигин Ш. продолжает эту тему в рассказе «Березка». Никто не посочувствует бедам Марыськи в семье мужа, и она поверяет свои обиды березке, как учил ее отец. От горьких слез, пролитых над деревцем, березка усыхает…

Ануля Тамашиха из рассказа «Несчастная» («Гаротная») за всю свою жизнь не пережила, кажется, ни одной счастливой минуты. Горькой была ее жизнь до замужества, еще хуже стала, когда пошла она замуж за пьяницу Тамаша Концевого. «Не дзеля таго аслабела яна, што галодная была або што Тамаш праз колькі-то год духі выймаў — біў яе — гэта што — глупства; вось другі год ужо як не б'е: зваліўся п'яны з рыштавання, захварэў і памёр, а ўсё ж такі сілы не варочаюцца, — сну зусім няма з таго часу, як увалілася хвароба ў хату». Умирают трое сыновей Тамашихи, тяжело болеет последний сынок Степанка. По совету знахарки Гануля ставит в печь горшок с зельем, запирает в хате дверь и окна… Сыночек, последняя ее надежда, умирает от угара.

И судьба героини рассказа «Счастливая» совсем не завидная. Тадора Суховеиха всю жизнь берегла горшочек, в котором, как убеждал ее муж Юрка, находились сокровища его отца. Горшочек, в котором звенело и шуршало, был единственной утехой в безрадостной жизни Тадоры. «Як кот з салам, лётала Юрчыха з гаршчком, каб дзе лепш яго захаваць; урэшце ўпіхнула яго сабе пад сяннік». Умирает Тадора «счастливой»: «І Тадора заснула, моцна заснула: навекі, а па яе высахшым, збялеўшым твары відаць было, што ўмірала радасная, шчаслівая, — умірала багатая». Юрка достает из-под еще не остывшего тела жены горшок, наполненный металлическими пуговицами, обрывками газет, и разбивает его о камень.

Человеческое счастье, богатство — иллюзия, горшок, наполненный мусором. Такова философская сентенция зрелой прозы Ядвигина Ш., близкая философии экзистенциализма.

Его героиня выходит из фольклора в реальную жизнь, покидает деревню, переезжает в город, но тут ее ожидают лишения, изнурительная работа, проституция (рассказ «Зарабатывают»). И это тоже сюжет XX века. В благополучном XIX таких не было.

Писателям девятнадцатого века, как правило, владельцам усадеб, поместий, было комфортно творить литературу на основе фольклора, где находились и счастливые судьбы, и благополучные финалы. Несколько таких нашел и Ядвигин Ш., который, как мы уже отмечали, был посредником между двумя литературными столетиями.

В начале творчества писатель шел путем своих предшественников: обрабатывал фольклорные сюжеты. Такими переработками были сказки «Баба», «Что сказал петух».

В последней рассказывается о хозяине, которому Бог подарил умение понимать язык зверей и птиц. Если он признается в этом, то потеряет не только свой дар, но и жизнь. Он подслушивает беседу быка и вола, которые ленятся работать и норовят перекинуть свои обязанности друг на друга. Хозяин смеется над их уловками. Любопытная жена во что бы то ни стало хочет узнать секрет мужа. Женщина — она не заботится о том, что ее любопытство может стоить мужу жизни. Хозяин готовится к смерти, даже чистое белье надевает. Его отрезвляет насмешливая реплика петуха: «Дурны гаспада-а-а-ар! Я маю дзевяць жонак, дый ліха мяне не бярэ. А ён праз адну памірае!» Крестьянин берется за вожжи и воспитывает непокорную жену…

Фантастические истории, рассказанные Ядвигиным Ш., рождались на основе сюжетов, распространенных не только в белорусском, но и в мировом фольклоре. Один из них — обучение животного человеческим наукам. В свое время знаменитый Ходжа Насреддин обещал калифу обучить осла грамоте и письму за десять

лет. За это получил немалый задаток. Это вызвало тревогу у жены Насреддина, на что последний резонно отвечал: «Эх, жена! За десять лет или осел сдохнет, или я помру, или калиф пойдет на тот свет, куда ему и дорога!»

В рассказе Ядвигина Ш. «Ученый бык» крестьянин Язэп ведет бычка-третьячка на продажу. По дороге на рынок его останавливают солдаты и уговаривают доверчивого крестьянина отдать быка в науку. Через год после того, как мясо быка давно сварилось в солдатских котлах, Язэп приходит в город полюбоваться на своего ученого питомца. Солдаты со смехом сообщают ему, что его подласый не только освоил разные науки, но и сделался видным чиновником. Крестьянин желает навестить своего бысю и смело направляется в его приемную.

Разыгрывается следующая трогательная сцена:

«Раскруціўшы пастронак і прыгатаваўшы пугу, смела Язэп адчыняе адны, другія дзверы і апынуўся ў вялікім пакоі, дзе ўбачыў абедаўшага за сталом пана.

— Табе чаго? — пытае той.

Язэп, падміргваючы адным вокам, зарагатаў і кажа:

— Іш ты, Падласы, які ласун! Нябось, не спазнаў гаспадара?

— Вон пайшоў! — крыкнуў пан, выскачыўшы з-за стала.

— Быську-быську, — стаў усцішаць Язэп разгневанага пана, але той рынуўся на яго з кулакамі.

Язэп, доўга не чакаючы, закінуў на пана пастронак, зацягнуў яго ды давай акладаць пугай…

Немаведама, чым бы гэта скончылася, каб не збегліся на крык людзі і не абаранілі пана».

В прошлом наивный нарратор, крестьянин XX века, попавший в город, перестает быть зевакой, с раскрытым ртом созерцающим городские чудеса: поезд, велотрек, зверинец, театр, цирк.

Как и в литературе XIX века, мы обнаруживаем у Ядвигина Ш. знакомый сюжет: крестьянин Андрей Зорка попадает в город, посещает цирк (рассказ «Цирк»). Зрелище с дрессированными животными поражает его, но не вызывает эйфории. Цирк для него — бестиарий, сборище зверья, которое укрощают. Героя ожидает страшный сон, где весь мир превращается в цирк: «З-пад брамы, завешанай, як кроў, чырвоным сукном, стаў сыпаць народ: дзеці і сталыя, падросткі і старцы, а за імі сунецца цэлая чарада рознага звяр'я. Уся гэта жывая грамада лётае, круціцца, куляецца, падае, устае, ізноў падае, урэшце ўсе зmораныя, спацелыя прыпадаюць на каленцы… А бізуны свісцяць і ляскаюць… «Здзек!» — крычыць Андрэй з вышак, дзе ён сядзіць у цырку…»

Многие рассказы Ядвигина Ш. являются баснями в прозе, где действуют кабан, бык, корова, волк, куры, гуси, индюк, ворона («Подласенький», «Рябой», «Порядочные» («Дачэсныя»), «Ворона»). Они как бы предсказывают сотворение того мира, который создаст позже баснописец Кондрат Крапива.

В мире Ядвигина Ш., где явь перемежается с вымыслом, люди напоминают зверей, а звери людей. Трое деревенских мужиков, продававших дрова в городе, хотят полюбоваться на «налпу» (обезьяну»), а нарываются на уродливого и злого барина («Заморский зверь»). В рассказе «Собачья служба» описывается цуцик-провокатор, который завлекает своих собратьев в ловушку «гіцляў» (так называли в Беларуси «шариковых», работников очистки города от бродячих животных).

Фауна произведений Ядвигина Ш. заставляет вспомнить не только басни Крапивы, но и человекоподобных существ из антиутопии Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

Перенос значений, аллегоризм, притчевость как неотъемлемые черты прозы Ядвигина Ш. привели его к философской символике, от символики — к символизму, а это значит и к модернизму, значение которого он на словах отрицал.

Он пишет философские притчи, рассказы-шифры («Васильки», «Паук», «Человек», «Почему?»).

В рассказе «Дуб-дедушка» («Дуб-дзядуля») аллегория с ее простой, однозначной дешифровкой перерастает в символ, обретает многозначность, окутывается мистическим ореолом. Автор обнаруживает невидимую связь между судьбами людей, растений, деревьев. Герой во сне разговаривает с дубом. Некогда могучее дерево представляется герою глубоким старцем, который долго жил, много повидал и пережил, а теперь просит об одном — о глотке воды. Человек отправляется в трансцендентальное путешествие, на пути ему встречаются озера, наполненные человеческим потом, слезами и кровью. Такой представляется «я-герою» сущность человеческой экзистенции.

Мыслящие деревья, камни, стихии позже станут персонажами «Сказок жизни» Якуба Коласа, который, как и Ядвигин Ш., будет искать связь между природным и человеческим началами.

Вплотную к экзистенциальным вопросам о жизни и смерти приближается Ядвигин Ш. в рассказе «Из больничной жизни». Человек, всю жизнь тяжко работавший, в поте и крови добывавший хлеб свой насущный, вечно унижаемый, бесконечно покорный воле начальства, превращается в умирающего на больничной койке пациента № 17. Больничный надзиратель, что-то бормоча себе под нос, записывает в журнале: «1909 года… 23 дня, чорнарабочы 49 лет Сымон сканчаўся ў… часоў». Надзиратель достает из кармана часы, смотрит на них, что-то прикидывает и записывает: «…часоў 9 вечара». Сымон еще жив, но: «Як увесь свой нядоўгі век быў паслухмяны Сымон, так і ў гадзіну свайго канання астаўся паслухмяным… начальству: у дзевяць сканаў». Недогоревшая свечка, которую служащий вынимает из рук умершего, — «увесь знак, уся нядоўгая памятка, што на свеце не стала аднаго чалавека».

Хотел того Ядвигин Ш., декларировавший свою нелюбовь к модернизму, или не хотел, но рассказ «Из больничной жизни» во многом напоминает похожие на страшные сны произведения Леонида Андреева («Жизнь Человека» и Франца Кафки («Превращение»). Как и названные произведения, рассказ оказался пророческим в отношении судьбы его автора.

Действительно, писателю оставалось мало прожить, а творческих планов хватило бы на десятилетия.

Перед Первой мировой войной, в 1914 году писатель жил в Минске. Был одним из создателей журналов «Саха» и «Лучынка». Издал сборник стихов «Белорусские шутки» («Беларускія жарты», 1915). Как и его герой, выполнял черную рутинную работу, чтобы заработать на кусок хлеба. Также заработал тяжелую болезнь — туберкулез горла, стал пациентом Минской больницы. Смерть пока еще щадила его, он вернулся в Карпиловку, но во время войны пропали все его рукописи.

Последний всплеск творчества Ядвигина Ш. — попытка создать первый в белорусской литературе роман, который должен был выйти под заголовком «Золото». Писатель не успед дописать историю любви Василя Дубинского и Зоси Стрончик, между которыми непреодолимым препятствием стоит богатство. Таким образом, Ядвигин Ш. отгадал мотив будущей романистики, кинематографа, мыльных опер XX—XXI веков, где на первом плане не человек, а деньги, деньги, деньги…

То, что не успел сделать Ядвигин Ш., в белорусской литературе совершили после него Кузьма Чорный, Иван Мележ.

Осенью 1920 года Ядвигин Ш. приехал в Вильню. Издал свои «Воспоминания» и, как это иногда бывает с мемуаристами, прожил недолго. Умер на койке Виленской больницы 24 февраля 1922 года, в разлуке с семьей.

Для нас Ядвигин Ш. — человек-шифр, творчество которого до конца не разгадано, не прочитано. Это мастер, умело соединявший в своем творчестве явь и фантазию, писатель-предтеча, интуитивно предвидевший и прокладывавший путь, которым пойдет белорусская литература по завершении эпохи нашенивства.

Искусство суждения

Лола ЗВОНАРЁВА

Книги, возвышающие душу

В литературе есть два течения:
возвышающее и растлевающее душу.
И. Я. Билибин.
Из письма художника из Каира
от 4 июля 1922 года

Петербургский историк Алексей Востров в статье «На границе двух языков (Василь Быков)», опубликованной во втором (март-апрель) номере журнала «Вопросы литературы» за 2017 год, утверждает: «…несмотря на относительный паритет двух основных языков (белорусского и русского) в информационном поле, в литературе наблюдается преобладание белорусского. Например, русскоязычные авторы на родине мало известны и совсем неизвестны в России (практически единственное исключение — С. Алексиевич)». Осмелюсь оспорить это высказывание — Владимир Бутромеев, Алесь Кожедуб, Сергей Трахименок и Наталья Батракова достаточно известны в России, награждены российскими премиями, издаются российскими издательствами приличными тиражами.

В романе Натальи Батраковой «Миг бесконечности» есть такой эпизод. Профессор Сергей Николаевич Ладышев (1921 года рождения, детдомовец), отец Вадима, главного героя, выпускался из медицинского института по ускоренной программе и сразу попал на фронт в полевой госпиталь. Из выпуска таких же молодых хирургов до конца войны дожили немногие. В самые последние дни войны в Кенигсберге он теряет беременную (на последнем месяце) супругу, тоже доктора: шальная мина. Но почти сразу приступает к операции доставленного в госпиталь немецкого подростка, спасает ему жизнь. Подросток в будущем тоже стал врачом, профессором, и отблагодарил профессора Ладышева, поставив на ноги его внука (правда, не зная о том, что это за мальчик). После войны профессор осел в Минске и всю свою научную и практическую деятельность посвятил военной хирургии. Каждый год 9 Мая ездил в Калининград на могилу жены. Женился спустя 25 лет на аспирантке иняза, помогавшей ему с переводами статей с немецкого о все той же военно-полевой хирургии. Процитируем роман: «Как-то по приезде в Минск Кольтене попросил свозить его на могилу умершего коллеги. Познакомились они в конце войны под Кенигсбергом. Молодой русский хирург, потерявший накануне беременную жену, прооперировал в госпитале тяжелораненого немецкого подростка. Можно сказать, спас ему жизнь... Спустя много лет, уже в 1990-х, они снова встретились — профессор Ладышев и… профессор Кольтене. В какой-то степени второй считал себя последователем первого, усвоив юношеский урок: и в выборе профессии, и в принципах гуманизма, которые тот проповедовал». «Не имеет значения, кто перед тобой на операционном столе — друг, враг, какой у него цвет глаз, кожи, сколько ему лет. Ты обязан ему помочь, больной должен выздороветь», приблизительно так процитировал он слова учителя у его могилы. Поступок профессора Ладышева — пример человечности.

Этот проходной, но знаковый эпизод убеждает читателя — добро обязательно возвращается. Воспитание, пример отца, повлияли на главного героя. Отсюда и внутренний стержень, стойкость, принципиальность. А еще помощь людям в сложных ситуациях — личное участие, материальное. Все то же человеколюбие. Эти качества Вадим Ладышев не утратил, став бизнесменом. Бизнес — штука жестокая, многих она переделывает, ломает. Но Ладышева не сломала. Добрые поступки он не афиширует, но те, кому он помог, это знают и ценят. Вспомнились проза Василя Быкова и замечание Натальи Игруновой о ней: «Быков писал не просто “военную прозу” — его интересовала “война” в душе человека, способность противостоять ее разрушительной силе. А такие “бои местного значения” происходят со всеми и во все времена» («Час шакалов»: дожить до рассвета // Дружба народов, 2009, № 2).

О войне против своего народа

Владимир Бутромеев писал роман «Земля и люди» четверть века. Почти весь он был опубликован частями в разные годы в журналах «Нёман», «Роман-газета» и «Вестник Европы». Каждая из этих публикаций давала возможность познакомиться с большим объемом текста. Но получить представление об этом произведении можно только сейчас, когда оно вышло полностью и его можно прочесть от начала до конца и только теперь попытаться понять, о чем этот роман. Констатируя появление на литературной карте нового названия — Рясна и ряснянская округа, сразу вспоминаешь округ Йокнапатофа Фолкнера и городок Макондо Маркеса.

Писатель XXI века не может писать, не учитывая опыта Фолкнера и Маркеса, Павича и Джойса. Джойс, и Фолкнер, и Маркес, и Павич — это тот фон, на котором роман «Земля и люди» вырастает из фантасмагорий Гоголя и Андрея Платонова и безответных вопросов Достоевского и Толстого. Лубочно-сказовый космизм романа «Земля и люди» выходит за рамки уже освоенного литературой так называемого магического реализма. Роман «Земля и люди» — это уже абсурдно-фантасмагорический реализм, мираж на краю пропасти, на которой оказалась современная Россия. И «Земля и люди» — фантасмагорическое отражение русского XX века в зеркале абсурда бытия наших дней. Это отражение начинает существовать реально по своим внутренним законам и обстоятельствам, условиям и даже по внутренним капризам и прихотям. И эта реальность, абсурдная и фантасмагорическая, становится частью нашей жизни.

Известно, любое большое, серьезное произведение — это групповой автопортрет с его читателями. Захочет ли, сможет ли современный читатель читать роман «Земля и люди», увидит ли он себя в этом фантасмагорическом, абсурдном зеркале? Если да, то это внушает надежду, что вопросы, повторяемые автором следом за Толстым и Достоевским, по крайней мере, не будут забыты. А повторение этих вопросов и есть, по мнению автора романа «Земля и люди», единственный достойный предмет для внимания и писателя, и читателя.

В карнавальной прозе Владимира Бутромеева литературный материал легко смешивается с историческим. Вот с какими словами, по воле автора, обратился простой солдат к Сталину во время банкета в Кремле по поводу победы, после чего, конечно, был отправлен в лагерь (но, как уточняет автор, не за крамольную речь, а за то, что… осмелился явиться в Кремль в пропыленной гимнастерке и нечищеных сапогах: «— Все мы знаем, товарищ Сталин, — солдат одернул гимнастерку и как-то приосанился, — и то, что вы Ленина, обещавшего хорошую жизнь, отравили, и то, что Погромную ночь устроили, помним, и что миллионы положили в эту войну — тоже. Но когда встает вопрос жизни и смерти, народ пойдет за тем, кто не предатель и не слюнтяй. Вы не предали Россию, вы удержали людей в строгости, чем они и спасены. То, что много людей в войну погибло, — ну так на то и война. Русский народ, он не только из мужиков состоит,

которых можно поставить под ружье, а еще из баб. А бабы нарожают. Баба, она так устроена, что рожает, даже когда сама того не хочет. То, что Ленина отравили, тоже не беда. Он ведь теперь в мавзолее лежит, каждый, кто захочет, может пойти да посмотреть. А то, что Троцкого топором по голове, так сам виноват, не нужно было подставляться. И останься этот Троцкий жив, он всех русских бы свел под корень, а кто бы тогда вышел воевать с немцами? Что до Погромной ночи, то и у народа тоже рыльце в пушку, сами перед тем всю Россию разграбили. Дело поправимое, надобно только колхозы отменить. Поэтому тост я хочу поднять за вас, товарищ Сталин. Без вас немца бы не осилили. А за строгость спасибо, — солдат, не прельстясь никакими коньяками, налил себе в граненый стакан водки, выпил одним махом и ушел куда глаза глядят, потому что идти простому русскому человеку больше некуда».

Сын, не забывший заветы отца

Почему так часто в книгах о войне последних лет мы видим войну глазами детей? Может быть, потому, что сегодня в литературе работает среднее и старшее поколение, которое знает о войне домашнюю правду от близких, переживших трагедию 40-х в раннем детстве.

Автор 38 книг и 14 сценариев, опытный прозаик и сценарист, доктор юридических наук Сергей Трахименок нередко возвращается в своем творчестве к событиям Великой Отечественной. В трех его книгах, выходивших в Беларуси в последние полтора десятка лет, речь идет о войне: это сборники повестей и рассказов «Эхо забытой войны» (Мн: Асар, 2004), «Крошки» (Мн: Мастацкая літаратура, 2013), «Повести разных лет» (Мн.: Мастацкая літаратура, 2015). Почему писателя не оставляет память о прошедшей войне? Прочитав его очерк «Капля в океане победы», понимаешь — это завет отца, встретившего 1941-й 16-летним и прошедшего путь от сержанта до командира взвода саперов, вернувшегося с войны на костылях. Что касается литературных традиций, то Трахименок в прозе о войне явно опирается на творческий опыт Э. Хемингуэя: короткая энергичная фраза, неизменная плотная переплетенность любовных и военных сюжетных линий, неизбежная гибель кое-кого из молодых героев во время боев, свободный монтаж временных пластов. В этой прозе, богатой бытовыми деталями, точными описаниями психологии героев, старинными белорусскими песнями, подкупает глубинное, незаемное знание народной культуры, фольклора.

Основываясь на рассказах очевидцев, судя по всему, ровесников его родителей, писатель, много работающий в кинематографе, в новелле «Родная кровинка» делает органичный монтаж двух временных пластов. Перед читателем предстает спокойная и неторопливая доцент Галина Ефимовна Прошкович, живущая в сегодняшнем Минске, и возникающие перед ее внутренним взором и перед нами, читателями, живущие в ее памяти, пластично и ярко выписанные картины прошлого: четырехлетняя Галка вместе с братом Степаном, старшей сестрой и родителями оказалась в деревне на оккупированной территории. Два враждующих партизанских отряда — под руководством Богдана и Кондрата, мародеры, фашисты, полицаи — глазами маленькой девочки мы видим страшные будни деревенской семьи, пытающейся выжить в захваченной фашистами Беларуси. К трем имеющимся детям, которых непросто в военное время прокормить, прибавляется четвертая — малышка-новорожденная, дочь руководителя партизан Кондрата, родившаяся в лесу от второй, городской его жены Ксении. Лизу выходили и полюбили как родную (отсюда название рассказа «Родная кровинка»), предчувствуя беду и опасности партизанской жизни, мать героини не хочет отдавать ее родному отцу, намеревающемуся отправить их с женой в тыл. Кондрат, преодолевая сопротивление, почти доходящее до драки с приемной матерью, отбирает дочь, чтобы… бросить ее в болоте и пристрелить во время отступления: отчаянный плач испуганной

малышки способен привлечь фашистов и погубить партизанский отряд. Приемная мать так никогда об этом не узнала — сердобольная дочь сочиняла для нее историю про успешно взрослеющую Лизу, которой просто некогда, — городская жизнь закрутила. Но и сама Галина о трагической судьбе крохотной Лизы и ее матери Ксении, бросившейся под пули после гибели дочери, узнает только после смерти матери. Страшная реальность войны выразительно воссоздана писателем, сумевшим избежать натурализма, а через емкую деталь сказать о самом жестоком и страшном, что стало реальностью на войне, — убийстве ребенка во имя спасения других людей от неизбежной гибели (вспоминаются слова Достоевского о слезинке ребенка). Абстрактный гуманизм отвлеченных философских рассуждений сталкивается с безжалостной военной реальностью, не оставляющей выбора. Писатель не делает каких-либо выводов: да, мать Лизы не пережила смерти дочери, что стало с Кондратом, читатель так и не узнает, а вот мать главной героини до конца жизни вспоминала и любила чужую девочку, спасение которой (фашисты расстреливали всю семью за связь с партизанами) тоже могло стоить жизни всей ее семье. Сталкиваются две философии — народная и государственная, военного времени. На чьей стороне читатель — писатель оставляет нам право выбора.

В рассказе «Дело лейтенанта Приблагина» беседа двух случайно встретившихся в вагоне попутчиков также возвращает нас к событиям Великой Отечественной. Влюбленный лейтенант, попытавшийся сделать любимой женщине подарок — золотые часики, обманув старушку, обвиненный в мародерстве и отправленный в штрафбат (на его любимую красавицу-санитарку положил глаз его начальник), гибель изменившей лейтенанту санитарки от фашистской бомбы, смерть лейтенанта, вернувшего с войны живым, но погибшего от горилки зимой первого послевоенного года в двух шагах от родного дома. Да, такая она, печальная правда послевоенной народной жизни. Известный художник Михаил Шемякин, тоже дитя войны, вспоминал в беседе со мной: его отец, профессиональный военный, и его однополчане после войны пили и праздновали победу несколько лет подряд, совершенно забывая о детях и нормальной мирной жизни.

Повесть «Белли пуэрри» — так переводится с искаженной латыни выражение «дети войны», построена как монологи разновозрастных ребятишек, оказавшихся в трагической реальности мгновенно оккупированной Беларуси начала 40-х годов прошлого века. Делая иностранные слова названием книги (роман нижегородской писательницы Елены Крюковой, также созданный с опорой на монологи детей разных национальностей, пытающихся выжить в 40-е годы, называется «Беллона», именем древнеримской богини войны, входившей в свиту Марса, богини защиты Родины, богини подземного мира), писатели как бы самим заголовком подчеркивают вторжение чего-то чужого, враждебного, непонятного в пространство родного русского языка.

История в истории, многоплановость, ряд картин, открывающихся друг за другом, — отличительная черта творческой манеры писателя (здесь его манера ощутимо перекликается с тем, как сегодня работает в детской литературе популярная писательница младшего поколения Дина Сабитова). Опытный кинематографист, Трахименок представляет нам сразу нескольких юных героев — их именами названы небольшие главки, на которые разбита повесть. Генка (в начале войны ему 12 лет), Клара (по совету мамы она пытается вести дневник, но записывает лишь самые важные слова, становящиеся эпиграфами к будущей главе «Холод. Детдом. Уроки» или «Немцы. Мотоциклы»), Костя (он чуть постарше, и мы видим происходящее через страницы его дневника, который он ведет с сентября 1941 года). Трагедию братьев-близнецов — здорового, самоотверженного Лешки и болезненного Васи — мы видим через протокол допроса подследственного Лешки (1930 года рождения), который подробно рассказывает про полную опасностей жизнь вынужденного немецкого диверсанта, спасающего больного брата, которого он мечтает вылечить. И, наконец, самая младшая — ровесница войны Ира, которая родилась в концлагере и не знает другой реальности: ее искренние и забавные

монологи, уменье в пять лет танцевать на столе, чтобы заработать немного хлеба сестре и маме.

Что больше всего запоминается? Трагические детали. Родная тетка, прогнавшая малышей со двора, от греха, чтобы не рисковать, не светиться перед немцами родством с высокопоставленными коммунистами. Хитроумное выявление руководящих советских кадров благодаря существованию телефона в квартире. Или матушка, с риском для жизни пробующая тушенку, сваренную ею из уже умершей, случайно погибшей коровы, и спокойно оставляющая дочкам наставления — на случай своей возможной смерти из-за отравления мертвечиной.

Юбка, сшитая мамой маленькой дочке из бриджей убитого фашиста. Брат-близнец, самоотверженно защищающий болеющего братишку и получающий от него во сне сообщение о его смерти и сразу заторопившийся присоединиться к ушедшему брату… Все эти детали явно взяты из жизни. Включенные рукой талантливого художника в динамичную, сдержанную, простую и точную по языку прозу, они не шокируют — ранят, заставляют вновь и вновь возвращаться в то страшное время. Возвращаться душой и сердцем. Этого, думаю, и добивался писатель.

Автор 11 книг, статс-секретарь Союза писателей России Павел Кренев посвятил свое творчество Поморью. Но его дед погиб на войне, и память об этом заставляет его, профессионального военного, выпускника ленинградского суворовского училища, вновь и вновь возвращаться на фронт Великой Отечественной. Повесть «Боевой рубеж пулеметчика Ботагова» посвящена памяти деда, ей предшествует предисловие: что творилось в то время на фронте, кто виноват в поражениях и отступлениях. А потом мы видим ту же войну изнутри — глазами опытного, бывалого (воевал на гражданской) солдата. Если в случае Василя Быкова, Бориса Васильева мы имели дело с лейтенантской прозой, то тут перед нами — солдатская. Гвардии рядовой пулеметчик Батагов смотрит вокруг и глазами сельского человека, охотника, недостроившего дом, лодку, влюбленного в природу родного Поморья, но и умеющего оценить неброскую красоту здешних, далеких от его малой родины мест. На этом контрасте — красоты весенней пробуждающейся природы с ее майскими жуками, токующими тетеревами и неизбежной гибелью, понимаемой как плохо подготовленное наступление, без обиды на руководство и жизнь, с легким удивлением опытного человека — и построена повесть. Перед глазами готовящегося к последнему бою и смерти солдата проходит вся его недлинная жизнь — и детство, и юность, и работа, и неизбежные конфликты.

С достоинством принимает он свою смерть, прося прощения лишь за одно — за порушенные церкви, надругательство над иконами. Принимает смерть с Господом в душе и на устах, удивляя героической гибелью даже жестокосердного противника (вспоминается шолоховская «Судьба человека» — смелость рядового Соколова, отказавшегося выпить за победу доблестных немецких войск). Неожиданен финал — никто не узнал о подвиге пулеметчика, даже пенсию не дали его жене и трем детям. Но не в обиде они на отца — образ его живет в их душах. Лирическая повесть Кренева напоминает нам о судьбах миллионов русских солдат, героически погибших и забытых, восстанавливая историческую справедливость — погружая нас в мысли и нехитрые мечты своего героя, автор помогает нам понять и полюбить его, остро почувствовать, как сегодня недостает нам таких основательных, порядочных, неторопливых, навсегда оставшихся на войне.

Рассказ «Дядя Вася» открывает нам еще одну военную страничку в творчестве Павла Кренева. Образ фронтовика двоится в глазах юного героя — спаситель от дурацких игр с оружием, герой-фронтовик или убийца отца и предатель? Уверившись в своих подозрениях, мальчик хочет убить человека, который из ревности к былой подружке юности донес на задумавшего побег из концлагеря земляка, чтобы добиться любви его жены и уничтожить соперника. Напуганный детской местью предатель бежит из деревни, самим своим поступком подтвердив верность детских подозрений и собственных пьяных признаний. Подлость и зависть

становились на войне смертельной опасностью, открывая возможность незаметно свести счеты с соперником. Судьба догнала и расправилась с «дядей Васей», покончившим с собой на чужом чердаке, — муки совести подлые люди напрасно сбрасывают со счетов.

Дети войны, вспоминающие ее сегодня

Интересно, что документальная литература (нон-фикшн) настолько потеснила сегодня художественную, что последняя все чаще начинает стилизовать себя под документ. Как прихотливый коллаж — на монологах, дневниковых записях и исповедях построен роман известной нижегородской писательницы Елены Крюковой, лауреата всероссийской Горьковской премии, «Беллона» (Нижний Новгород, РИ «Бегемот», 2014), предпославшей книге неожиданное посвящение: «Всем детям, пережившим войну. Их глаза глядят на меня». Перед читателями в стилизованных под документ детских дневниках («дневник Ники», помеченный датой 29 июня 1941 года, из главы пятой «Родить и убить») нередко открываются драматические сцены оккупированной Беларуси: это сквер Первого мая в Минске, где в клумбе мама и бабушка героини хоронят убитых немцами соседей, разбомбленное убежище за сквером, переполненное людьми, улица Марата Хакимова у реки Свислочь, электростанция на Свислочи в Парке Горького, театр имени Янки Купалы, взорванный советскими подпольщиками во время концерта, бывшая минская школа № 86. Глава шестая «Полет Валькирий» открывается сценой разбомбленного Гродно из дневника Ники (помеченного 11 августа 1941 года): «У нас в Гродно, когда война началась, бомбежки были ужасные. Разбомбили всю улицу Карла Маркса, всю Свердлова и всю Социалистическую. И весь Сенной рынок, где дома евреев… Пламя шло стеной, а тушить огонь воды не было — Сенной рынок на горе, а Неман внизу, не добежишь… Народ из домов вещи втаскивал на мостовую…» Отец героини рассказывает: «…на Замковой улице квартал оградили колючей проволокой и сделали еврейское гетто. Согнали туда всех евреев Гродно. Они живут там в дикой тесноте, как шпроты в банке! По двадцать человек в комнате! И для того, чтобы выйти в город из этого муравейника, им нужно предъявить часовому аусвайс!» Это огромное пятно крови у Фарного костела от застреленного в колонне еврейского арестанта. Это открытые немцами в январе 1942 года рестораны, кинотеатры, каток, заработавшие по воле немцев табачная фабрика и бровар, где варят пиво, и поселившаяся в старинном трехэтажном доме на площади Стефана Батория немецкая семья, открывшая на первом этаже ресторан «Аркадия». Одна из главных героинь книги — белорусская девочка Марыся, жившая в «большой избе в деревне Куролесово, на Полесье». Ее одну спасает живший в их избе немец, чтобы отправить в Германию на работу, а набитую людьми деревенскую школу, облив бензином, сжигают фашисты: «Школа кричала, кричал сруб, кричали доски обшивки, кричала крыша, кричали водостоки, кричали карнизы и стрехи. Огонь взвился в небо, и небо тоже закричало». Читатель оказывается в оккупированном немцами цветущем майском Курске, в тылу страны — в городе Горьком, у газовых камер Освенцима (в романе его называют на польский манер Аушвице), в подвалах, под руинами Сталинграда и на парадном обеде в бункере Гитлера, в итальянском кафе «У черной кошки» во время жестокой драки с местными фашистами, в пустой квартире на окраине Нью-Йорка, где вспоминает свою жизнь оставшаяся в одиночестве после смерти мужа-ветерана войны и дочки старая тувинская балерина Ажыкмаа Хертек, в буддийском монастыре в глубине Тибета, где немецкие посланцы Гитлера ищут для него тайну древней религии. «Свастика — закон Космоса… Начертав ее в средоточие, вы становитесь неуязвимы для многих бед. Однако надо делать это с чистым сердцем. А путь очищения долог и труден. Главное — быть чистым». Удивленный немец возражает монаху: «А разве не главное — быть сильным?»

Война будто специально сплетает судьбы людей, живущих в разных измерениях. Деревенская девочка из Полесья Марыся, ставшая послушной горничной у надзирательницы концлагеря, спасает двух русских детей и еврейского мальчика Мишу-Моисея, отправляемых в газовую камеру. Автор тщательно отмечает то человеческое, что осталось в сердцах ожесточившихся людей. И безжалостная надзирательница итальянка по прозвищу Гадюка, сначала в концлагере, а потом возвращаясь на родину в свое кафе «У черной кошки», спасает и выхаживает крохотного Лео, сына погибшей в камере еврейской девушки Двойры и немца Гюнтера. Писательница показывает: истоки изуродованной психики сегодняшних взрослых спрятаны в их далеком несчастном детстве: Гадюку-Лилиану крошкой бросила мать-певица и зверски избивал жестокий пьющий отец, Ева Браун была нелюбимой младшей дочкой в многодетной семье и страстно мечтала о колье, как у убитой русской принцессы Анастасии, Гитлера ненавидел отец, видевший в сыне плод измены матери. Удачливый кинорежиссер Лени Рифеншталь принимает решение кроме запланированных постановочных эпизодов снять для истории кадры страшной правды о концлагере. Среди героев ее «интерлюдей» (этим музыкальным термином называет писательница свои документальные отступления, очевидно, подчеркивая, что роман задуман как эпическое полотно, четыре части военной симфонии о смерти и жизни и четыре интермедии вынесены в оглавление) — Муссолини (его письмо Гитлеру), Сталин («Приказ народного комиссара обороны СССР» от 28 июля 1942 года № 227 о штрафных ротах и заградительных отрядах, создаваемых по примеру немецких), Черчилль («личное и строго секретное послание Сталину»), Рузвельт, Геббельс (его текст дан в переводе автора), Гитлер (его дружеское письмо Сталину, написанное за месяц до начала войны), речи и письма документальны. Только вот рядом с детьми — русскими, белорусскими, польскими, немецкими, еврейскими — мы слышим голоса… ангелов — нерожденных детей Евы Браун и Гитлера, а в финале романа возникает символическая картина из потустороннего мира: Великая Матерь кладет руки на головы своим сыновьям — белокурому немцу и белокурому русскому (в романе подчеркиваются, как удивительно похожи два молодых солдата, которых постоянно сталкивает война, — немец Гюнтер и русский Иван), а вокруг водят хороводы небесные дети. Роман написан в стиле популярного у писателей среднего поколения фантасмагорического реализма. При этом Елене Крюковой ближе экспрессионистское письмо, она мастерски стилизует свою прозу — то под документ, дневник подростка девочки Ники, то под монолог влюбленной женщины — жены Геббельса Магды, гордящейся тайным романом с самим фюрером, соперничающей с красавицей-киноактрисой тридцатитрехлетней Евой Браун и убивающей в финале своих семерых очаровательных крошек, боясь возмездия советских солдат за совершенные фашистами зверства. На наших глазах любовь и юность преодолевают военное противостояние огромных государств, страстно влюбляются друг в друга еврейская девушка из Киева Двойра, сумевшая даже в концлагере выходить и спасти сыночка, и истинный ариец Гюнтер Вегелер, русский танкист и немецкая медсестра Инге Розенкранц, вызывающе сообщающая хирургу, доктору Штумпфеггеру, что ее дед — еврей. Но чудес не бывает — война-Беллона (отсюда символическое название романа) убивает и разлучает влюбленных. Перед самим своим финалом, на подступах к рейхстагу она заставляет немца Гюнтера убить своего благодетеля и спасителя Ваню Макарова из деревни Иваньково, чтобы самому погибнуть во время этой схватки. Описания увиденного детскими глазами — голода в дни ленинградской блокады, зверств фашистов в концлагерях — звучат свежо и страшно, а главное, уместно, когда мир вновь оказался на грани войны и межнациональные конфликты раздирают многие государства.

Свежее слово о Великой Отечественной войне удалось сказать Эдуарду Веркину в повести «Облачный полк». Роман заставляет вспомнить слова А. И. Герцена о рифме через поколение — дедушки лучше понимают внуков, чем

отцы — детей. Елена Борода подчеркивает: «У Веркина такой расхожий символ поколенческой связи, как непрерывная цепь, обрастает смысловыми нюансами. Так, сцепленные звенья якорного плетения, представляющие связь отцов и детей, всегда обречены на трения, конфликты, споры. А вот следующее звено — следующее поколение — находится в той же плоскости восприятия мира… Так, в романе «Облачный полк» (2012), где прадед Дмитрий, пропуская два поколения, которые «вечно собачатся» друг с другом, отлично ладит со своим правнуком Вовкой. В лице родителей подростки не находят авторитета, а человек в возрасте способен признать свои ошибки и не осуждать других» (Борода Е. Курс выживания для подростков. Эдуард Веркин // Вопросы литературы, 2017, № 1).

В последние годы нередко в повести для детей Великая Отечественная проходит как знаковый эпизод. Так, в повести Софьи Радзиевской «Болотные робинзоны» (СПб: Речь, 2015. Серия «Вот как это было») повествование о войне ограничивается тремя эпизодами, но этически чрезвычайно важными. В главе «Они!» мальчишка сталкиваются в лесу с фашистским десантом. Мы видим происходящее глазами Сашки, застрявшего в дупле дуба в поисках меда. Нацисты подзывают ребят, обращаясь по-русски, дают шоколад, а после того как маленький Митя рассказывает, кто они и где их деревня, десантники убивают всех, кроме сообразительного Федоски, успевшего отпрыгнуть в кусты и скатиться в овраг. Второй военный эпизод — переживание Сашкой расстрела друзей, гибель сожженной Малинки, тяжелый путь через болота с маленькими детьми на руках, возвращение в дальний лес, где были расстреляны друзья. Похороны друзей — долг оставшегося в живых, по мнению юного героя. Обнаружив среди убитых тяжелораненого Андрейку, подросток Сашка тащит его на остров через лес, болото, прячась от фашистов. Шансов на выживание у Андрейки мало, но Сашке важно попытаться спасти друга. Исследователь детской литературы Н. Е. Кутейникова подчеркивает этическую значимость поведения юного героя: «Вот этим этика наших предков, с молоком матери впитанная детьми XX столетия, отличается от навязываемой нам «нарождающейся этики нового века, этики эгоцентристов» (Кутейникова Н. Е. Навигатор по современной отечественной детско-подростковой и юношеской литературе. Методические рекомендации. М.: 2017).

Молодежная проза тоже обращается к теме войны. Так, московский прозаик Александр Евсюков в рассказе «Караим» описывает старика, который спустя годы вспоминает, как, «бывало, каждую ночь ходил за «языком», жаль, что донести их живыми не всегда удавалось. За одного, которого посчитали особенно ценным, представили к ордену и сразу выдали трофей — его «вальтер». Два раза меня крепко задевало, но вернулся обратно с руками, с ногами и со всем, что нужно мужчине» («Контур легенды», М.: Русский Гулливер, 2017). Молодые писатели любят экспериментировать с углом зрения. Так, в рассказе «Черный орел» мы видим русско-финскую войну глазами ее финских участников, от них узнаем и о злоключениях в Хельсинки фантазера-мистификатора американского черного инструктора, приехавшего учить воевать опытных финских военных летчиков, имея за душой лишь цирковой опыт и уменье стремительно покорять женские сердца. В новелле «Фронт рядом» молодая деревенская женщина Алевтина прячет в сарае юного диверсанта, взорвавшего фашистский склад с оружием, хотя это может стоить ей жизни.

Дитя войны, сын лесника, писатель старшего поколения Владислав Бахревский в новой повести о войне «Складень» показывает фашистские зверства как возмездие за совершенное в деревне — за разрушенную церковь, за дорогу, вымощенную иконами, по которой ходили всей деревней, смеясь. Почти все односельчане, кроме спасшей изуродованный атеистами складень Аннушки с девятью племянниками, оказываются жестоко убитыми немцами. А умирающий их отец, герой Гражданской войны, воспринимает все происходящее — в первую очередь, смерть жены и двух невесток, сгоревших в сарае, в который попала бомба, — и как возмездие за тех женщин и детей, которых он убил в юности в чужом ауле в

отместку за погибших от рук басмачей товарищей. Здесь заметен скрытый отсыл к трагической судьбе классика русской детской литературы, погибшего в октябре 1941 года Аркадия Гайдара, который в 14 лет, возглавив карательный ЧОНовской отряд, уничтожил хакасское село, в котором убили красноармейца, сбросив трупы женщин и детей в озеро, получившее в народе название «Соленое» (см. об этом документальную повесть Владимира Солоухина «Соленое озеро»), и спустя годы, став взрослым, глубоко переживал содеянное.

В «Героической азбуке» В. А. Бахревского читаем: «Среди рабочих, снабжавших фронт самолетами, танками, пушками, два с половиной миллиона были подростками до 18 лет. 700 тысяч из них встали за станки в 14 лет» [1].

Постоянное обращение писателей, прошедших войну или переживших ее в детстве, к этому драматическому времени и действенность таящегося в этих текстах воспитательного потенциала, можно объяснить словами русского философа Е. Н. Трубецкого, еще в 1918 году утверждавшего: «Именно в катастрофические эпохи человеческое сердце дает миру лучшее, что в нем есть, а уму открываются те глубочайшие тайны, которые в будничные эпохи истории заслоняются от умственного взора серою обыденщиною» [5]. Наверное, именно об этом — малоизвестное стихотворение К. И. Чуковского «Ленинградским детям», опубликованное в журнале «Мурзилка» в 1945 году, с обращением к современным ветеранам: «Когда станете вы старичками // С такими большими очками, // И, чтобы размять свои старые кости, // Пойдете куда-нибудь в гости… // Или тогда же, в 2024 году, // На лавочку сядете в Летнем саду, // Или не в Летнем саду, // А в каком-нибудь маленьком скверике, // В Новой Зеландии или в Америке, — // Всюду, куда б ни заехали вы, — // Всюду, везде одинаково, // Жители Праги, Гааги, // Парижа, Чикаго и Кракова // На вас молчаливо укажут // И тихо, почтительно скажут: // «Он был в Ленинграде во время осады… // В те годы… вы знаете… в годы блокады!» // И снимут пред вами шляпы» [6].

Творческое начало в юном человеке, чутком к исторической драме, пережитой его предками, способно помочь, при поддержке стратегически мыслящих педагогов, ярко выразить патриотическую позицию автора и увлечь ею окружающих его сверстников. Представляется необходимым учесть опыт петербургских учителей, которые активно используют в учебном процессе мемуары писателей и художников, переживших войну и блокаду. Это основанные на документальном материале повести М. Н. Кураева из книги «Блок-Ада» и сборник воспоминаний ленинградских писателей и художников «Ничто не забыто: 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда». В предисловии М. Н. Кураев утверждает, что «…битва ленинградцев за свой город, борьба всей страны за Ленинград, за свободу и независимость Родины, как тогда говорили, была войной за наше человеческое достоинство. И пока животное, скотское, дикое будет стремиться утвердить свое наглое превосходство, и не только на кладбищах, войну, быть может, рано считать оконченной и город и его камни защищенными» [7].

Приведем фрагмент обращения к юному читателю из книги «Ничто не забыто»: «В иных книгах поэты и прозаики прибегают к вымыслу. В этой книге каждое слово — правда. Много в книге рисунков и фотографий, и это тоже документы. Невзирая ни на какие блокадные обстоятельства, фотографы и художники находили в себе силы, чтобы запечатлеть на бумаге и сохранить для потомков будни тех страшных дней и благородные лица блокадников. Вглядись в эти лица, читатель, это твои земляки, они достойны твоего глубочайшего уважения» [8].

Противопоставить навязываемому желтой прессой и ТВ обывательскому идеалу благополучного сибаритского существования в комфортной среде самоотверженное поведение в дни войны известных людей, сознательно отказавшихся во имя идеи и любви к родному городу от вполне безопасного и благополучного варианта развития событий, — достойная задача для писателя или журналиста. В этом плане показательны и имеют значительный воспитательный потенциал недавно выяснившиеся факты из жизни знаменитого в России и Европе худож-

ника-мирискусника Ивана Яковлевича Билибина, который прославился как блистательный иллюстратор русских народных и литературных сказок (А. С. Пушкина) в начале XX века, чье имя и прозвище «Иван — железная рука» стало для многих любителей отечественной графики символом одной из вершин русского искусства всего прошедшего столетия.

Эмигрировавший вскоре после Гражданской войны, он благополучно жил и имел много заказов в Париже. Произведения Билибина демонстрировались на выставках русского искусства в Брюсселе, Копенгагене, Праге, Белграде. В Париже он показал свои работы в 1931, 1932 и 1936 годах. Но художник сетовал: *«Несмотря на громадный интерес жизни в Париже, в мировом центре искусства, мне больше всего не хватает моей страны»* [9]. Билибин был востребован французскими издателями. Один из них даже предложил художнику поменять фамилию на французскую: «…ваше иностранное имя вызывает недобрые чувства среди собратьев-художников. Bilibin — это звучит чуждо для французского уха». Билибин ответил: «*Monsieur, существует старая рваная тряпка, за которую сражаются, за которую умирают. Эта тряпка называется знамя! Мое имя — это мое знамя»* [10]. И менять фамилию не стал. Одной из последних работ художника оказались оригинальные иллюстрации к сказке Андерсена «Русалочка», выпущенные в авторитетном парижском издательстве «Фламмарион» в 1937 году. Русалочка в сознании художника олицетворяла традиционные ценности семейной жизни, как он ее понимал, — верную, преданную любовь. Художник был убежден: «Россия стала гибнуть отчасти от того, что вместо тургеневских девушек появились горьковские Мальвы, герои Арцыбашева и пр. и пр.» [11]. Главная идея притчи датского сказочника: цена преданности и истинной любви — жизнь, которою ты готов пожертвовать, как это сделала Русалочка, — парадоксальным образом отразилась и в судьбе художника.

Возвратясь в Россию в сентябре 1936 года, Билибин стал профессором графической мастерской Института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств в Ленинграде. В 1939 году получил звание доктора искусствоведения, продолжал иллюстрировать книги и в течение пяти лет преподавал искусство акварели на архитектурном факультете, вместе с другими ленинградскими графиками закладывая основы будущего графического факультета, постоянно подчеркивая свою верность великим традициям русского и европейского искусства: *«Я бы почел за честь называться… «отмирающим типом тургеневского мужчины», ибо Россия была великой страной, а была она великой благодаря плеяде славных, на которых лают эти теперешние утонченные представители грядущего хама. Мы, единомышленники и сотрудники, должны собраться вместе для одной работы и сказать: мы продолжаем, мы — не начинаем. Сила и мощь искусства в преемственности, оттого-то у старых мастеров богатырская мощь и сила, а у нас одна неврастения»* [12].

Вернувшись на родину, художник так шутливо комментировал свою деятельность: *«Я работаю теперь для своего народа вместе с Пушкиным и Римским-Корсаковым»* [13]. По свидетельству искусствоведа И. Я. Бродского (из воспоминаний «Последние дни Билибина»), из эмиграции Билибин привез несколько ящиков с книгами, которыми он очень дорожил: *«Книги мои — всё, без книг — я ничто»* [14]. Когда началась блокада города, Билибин отказался от эвакуации («*Куда же я полечу без моих книг?»* [15]), написав об этом заявление в Академию художеств. Своему ученику он сказал: «*Молодой человек, из осажденной крепости не бегут, обороняются. Нет, ни за что не покину теперь Ленинграда! Если бы я это попытался сделать, то что бы сказали обо мне вы, мои ученики?»* [16].

Ленинградский художник Дмитрий Бучкин, чьи воспоминании записала очеркист Т. В. Сталева в книге «Блокадных детей просветленные лица», зимой 1941 года встречал знаменитого художника в столовой Академии художеств, где и профессору, и ученику художественной школы полагался обед, состоявший из «тарелки дрожжевого супа, нескольких ложек каши и микроскопического

кусочка хлеба» [17]. К испытаниям, которые ожидали художника на Родине, он был внутренне вполне готов: *«...нам, певчим птицам и цветам человечества, трудно петь и цвести в такие паскудные времена*!» — писал художник в 1923 году [18]. Легендарный Билибин появлялся в столовой в «серо-синем, еще парижском, пальто с красным шарфом. У него в профессорском подвале был свой особый уголок, где стоял даже стол для работы» [19]. Художник, несмотря на все невзгоды и испытания, не сетовал, был бодр, поддерживал друзей уместной шуткой, продолжая работать — над серией открыток-лубков с батальными сценами на тему защиты города. Иван Яковлевич с «октября (1941 года. — *Л. З.*) редко покидал академическое убежище. Разве только выйдет выменять кусочки сала на табак» [20]. Билибин утверждал: «*Есть просто жизнь, а искусство для его служителя есть воздух, которым он дышит*» [21]. Во время блокады художник продолжал напряженно работать, считая, что «*нет счастья вне творчества; оно не изменяет, не обманывает и не заставляет разочаровываться*» [22].

Новый, 1942 год, Иван Яковлевич встречал все в том же подвале с коллегами-художниками. Он придумал «нарисовать на бумажной скатерти все самые вкусные новогодние яства — копчености, сыры, пироги, красную рыбу, черную икру» [23]. Среди изысканных нарисованных угощений стояли вполне реальные бокалы из богемского хрусталя, а между ними — коптилки. Казалось, художник стремился соответствовать сформулированному им же летом 1922 года призыву: «Мы все, не павшие морально, люди дореволюционной русской культуры, каждый по своей прямой специальности, должны собраться в духовные крепости-хранилища, чтобы сохранить то, что мы вынесли в себе из нашей страны. Те же старшие, которые могут учить и направлять других, должны передавать свои заветы своим избранным. …мне кажется, что… в этих крепостях надо держать себя несколько утрированно по-рыцарски. Это — противовес культуре одесского порта и одесским портовым песням из разных притонов» [24].

Как и все остальные гости, Билибин получил от ректора Академии художеств новогодний подарок — «по одной конфете и по бутылке загадочного напитка, напоминающего фруктовую воду» [25]. Тяжело больной Иван Яковлевич написал глубоко проникнутое патриотическим духом приветствие в стихах, назвав его торжественно «Одой». В новогоднюю ночь художник подарил ее ленинградскому коллекционеру В. И. Цветкову. Шуточные высокопарные оды в духе Ломоносова, как вспоминал М. В. Добужинский, Билибин сочинял еще в юности: «На фоне нашего петербургского европеизма он был единственный истинно русский в своем искусстве и среди общей разносторонности выделялся как специалист, ограничивший себя только русскими темами…» [26]

Художник не мог предположить, что написанный им перед смертью автограф шутливого и явно антифашистского текста будет спустя 65 лет после победы храниться… в Германии в собрании уникальных рукописей известного немецкого коллекционера, члена правления Международной юношеской библиотеки в Мюнхене В. Фогельсгезанга, ставшего инициатором издания в Германии книги о Билибине. Ода убеждает в величайшем мужестве ее автора. 7 февраля 1942 года Билибин, которого современники называли «первым профессионалом книги», скончался в ленинградской больнице от воспаления легких при полном истощении. Похоронен в братской могиле профессоров Института живописи, скульптуры и архитектуры на Смоленском кладбище в Петербурге.

За несколько дней до смерти Билибин рассуждал с друзьями о книгах, о победе, о жизни. Приведем фрагмент из его «Оды»: «…Когда презренные тевтоны, // Как гнусный тать в полночный час, // Поправ законные препоны, // Внезапно ринулись на нас; // Когда вверху стальные враны, // Бесчисленны аэропланы // Парят, грохочут и гудят; // Бросают смертоносны бомбы; // О, сколь несчетны гекатомбы // Зиянья на земле таят! // Когда приходит час желанный, // Когда неутомимый враг // Замедлил вдруг свой натиск бранный, // Остановил железный шаг; // Когда стеной непроходимой // Со всех концов земли родимой // Восстал

Российский наш народ; // Когда, как каменны колоссы, // Вздымаются победны Россы, // Встречаем мы наш Новый год!...»

Показать войну глазами ребенка, вынужденного в войну заниматься тяжелым трудом на заводе, заменив ушедших на фронт отца и брата, или с оружием в руках противостоять врагу, — таков, на наш взгляд, по-прежнему весьма перспективный путь вовлечения сегодняшнего читателя в трудный и важный разговор о Великой Отечественной войне.

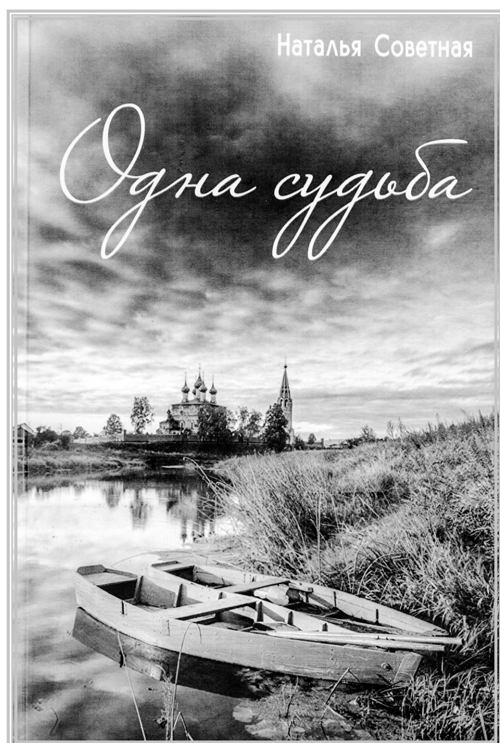
Использованная литература:

1. Бахревский В. В. Героическая азбука. — М., 2009. — С. 230.
2. Бахревский В. А. Поле жизни Альберта Лиханова. — М., 2009. — С. 12.
3. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни // Русские философы. Антология. — М., 1994. — С. 249.
4. Чуковский К. И. Ленинградским детям. // Ничто не забыто: 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда.— СПб., 2005. — С. 300.
5. Кураев М. Н. Блок-Ада: Повести. — СПб., 2005. — С. 120.
6. Ничто не забыто: 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда. — С. 5.
7. И. Я. Билибин в Египте. 1920—1925. Письма, документы и материалы. М., Русский путь, 2009. — С. 18.
8. Сеславинский М. В. Рандеву: русские художники во французском книгоиздании первой половины XX века — М., 2010. — 124.
9. И. Я. Билибин в Египте. — С. 74.
10. Там же. — С. 183.
11. Цит. по Голынец Г. В., Голынец С. В. Иван Яковлевич Билибин. — М., 1972. — С. 45.
12. Там же.
13. Там же.
14. Цит. по: Сталева Т. В. Блокадных детей просветленные лица. Художественно-документальные очерки. — М., Торопец, 2010. — С. 57.
15. Там же.
16. И. Я. Билибин в Египте. — С. 14.
17. Цит. по: Сталева Т. В. Указ. пр. — С. 57.
18. Там же.
19. И. Я. Билибин в Египте. — С. 67.
20. Там же. — С. 147.
21. Цит. по: Сталева Т. В. Указ. пр. — С. 58.
22. И. Я. Билибин в Египте. — С. 173—174.
23. Цит. по: Сталева Т. В. Указ. пр. — С. 58.
24. Добужинский М. В. Воспоминания. — Нью-Йорк, 1976. — С. 55.
25. Bode Andreas. Ivan Jakovlevic Bilibin. Der Russische Marchenillustrator. — Wielenbach. Erasmus Grasser-Verlag, 1997.
26. Цит. по: Голынец Г. В., Голынец С. В. Иван Яковлевич Билибин. — М., 1972. — С. 245—246.



С точки зрения рецензента

Извлечение добра



Размышляя о природе критики, ее важности и значении в искусстве, Лев Толстой поделился достаточно странной и непривычной мыслью, что предназначение критики вовсе не в том, чтобы отыскивать в произведении слабые, не совсем удачные стороны, которые читатель так или иначе сам заметит, но искать то доброе, ради которого книга писалась. И в этом немаловажном свойстве раскрывается художественное достоинство писателя.

Упомянем и Федора Достоевского, утверждавшего, что искусство не нуждается ни в каком из направлений, кроме художественности, а идея… идея придет сама собою — «ибо она необходимое условие художественности». Однако вернемся к мысли Л. Толстого: «…критика в наше время затопления людей газетами, журналами, книгами и развития рекламы, мне кажется, не только необходима, но от того, появится ли и получит ли авторитет такая критика, зависит вся будущность просвещения образованного класса нашего европейского мира». В немыслимые дали для того времени заглянул великий старец! Далее он поясняет: «Если в наше время умному молодому человеку из народа, желающему образоваться, дать доступ ко всем книгам, журналам, газетам и предоставить его самому себе в выборе чтения, то все вероятия за то, что он в продолжение десяти лет, неустанно читая каждый день, будет читать все глупые и безнравственные книги. Попасть ему на хорошую книгу так же маловероятно, как найти замеченную горошину в море гороха. Хуже всего при этом, что, читая все плохие сочинения, он будет все более и более извращать свое понимание и вкус так, что когда он попадет и на хорошее сочинение, он уже или вовсе его не поймет, или поймет превратно». Как говорится, не в бровь, а в глаз… Итак, критика литературе нужна.

У меня в руках книга Натальи Советной «Одна судьба» (Наталья Советная. Одна судьба: статьи, очерки, заметки о литературе, культуре, языке, душе. СПб., 2018) — дипломант международного литературного конкурса «Золотой Витязь» 2018 года в номина-

ции «Славянское литературоведение». В ней собраны литературоведческие статьи о десятках произведений русских и белорусских авторов, книги которых наполнены добром, милосердием, иначе — присутствием Творца. Обладая особым чутьем, критик подвергла анализу именно такие произведения. «Одна судьба» написана великолепным языком, слова ее попросту льются и легко усваиваются, как если бы это была художественная проза.

От статьи к статье Наталья Советная подводит читателя к мысли, что книга всегда была и остается учителем жизни, а потому ее значение трудно переоценить. В давние времена Петр Первый, понимая это, приказал бесплатно кормить всякого, кто читает книги. Но сегодня только в России публикуется более ста двадцати тысяч изданий, отобрать из них десяток-другой — задача не из простых. Хорошие книги живут столетиями, и никакие электронные новшества не лишат их этого уникального свойства: «…молчат гробницы, мумии и кости — лишь слову жизнь дана…»

Глубокий анализ замечательного романа петербургского писателя Анатолия Козлова «Закваска фарисейская» помогает читателю сориентироваться в произведении, где переплетены, взаимосвязаны прошлое и настоящее, использовано большое количество исторических фактов, в том числе малоизвестных. Первая мировая война, переворот и захват власти в России, правитель Сибири Колчак, события почти тысячелетней давности, сатанизм, экуменизм, коммунизм, недавняя смута девяностых — колоссальный охват по времени. Наталья Советная замечает следующее: «Русские подвергаются циничному осмеянию, чтобы заставить, в первую очередь молодежь, стыдиться своей родины, отвергать культуру предков, перестать быть православными, а значит, русскими».

Наталья Советная удивительно точно улавливает нерв произведений, извлекая из них самое важное и ценное. Она не только прекрасный писатель и критик с обостренным художественным чутьем, но и психолог, кандидат наук, хорошо разбирающийся в чувствах и понимающий человека.

Близок по идейно-художественной направленности и второй исследуемый Н. Советной роман — писателя Юрия Серба «Площадь Безумия» (Санкт-Петербург). Автор избрал иной жанр и форму повествования. Основной персонаж произведения оказывается на площади Безумия, и чтобы не сойти с ума от происходящих событий (90-е годы прошлого века), ему приходится защищаться постоянной иронией и самоиронией, из-под которой проглядывает выстраданная мудрость человека, размышляющего о вечных вопросах жизни. Один из выводов, который делает главный герой: «…страна не воспитала маршалов, способных арестовать генсека» (читающий да уразумеет, о ком речь).

Особое внимание в книге «Одна судьба» критик уделила творчеству и жизненному пути поэта и воина Игоря Григорьева. Должен заметить, что в шестидесятых годах мне выпала удача работать в редакции журнала «Молодая гвардия», я познакомился со стихами тогда еще молодого поэта. Помню, что в седьмом номере за 1966 год была напечатана замечательная рецензия на его книгу «Сердце и меч» — сборник стихов 1940—1964 годов. Автор был человеком исключительного дарования. После смерти поэта о нем стали забывать. В недавние годы Наталья Советная, при поддержке сына Игоря Николаевича — ученого, врача, священника Григория Григорьева, можно сказать, вернула читателям имя русского Поэта — настоящего певца России.

В статье о книге белорусского писателя Анатолия Бутевича «Поцелуй на фоне гор» Н. Советная исповедально признается: «Неожиданностью для меня стало произведение «Бескрылый ангел, или Неуслышанная жалоба нерожденного ребенка». Удивление вызвало то, что автор «жалобы» — писатель-мужчина. Однако ему удалось настолько сильно и ярко почувствовать и передать страх и боль приговоренного к смерти внутриутробного дитяти,

что не всхлипнуть было нельзя. Тут же запульсировала мысль: «В школу! С таким рассказом надо к детям — и к девчонкам, и к мальчишкам, — чья душа в минуты разлада, непонимания близкими людьми, отчуждения в семье может почти так же воскликнуть: «Услышь же ты меня, мамочка моя родная. Не отдавай на гибель кровиночку свою. Разве не твоя кровь пульсирует во мне? Твоим дыханием дышу я. Твоими глазами смотрю на мир».

Особое отношение у критика к писателям военным. Не важно, много ли ими написано, мало ли, важно, что среди нас они живут как летописцы человеческих подвигов, мудрости, оптимизма, веры.

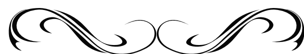
Наталья Советная — человек художественного мышления, тонкой души, какими только бывают люди от природы творческие. Но тут возникает сам собою вопрос: что же оно такое, это творчество? Скорее всего — умение извлекать из жизни ее подспудное очарование, ее таинство, ее божественное миропонимание. Здесь сокрыт духовный код, которым Наталья Советная несомненно одарена. В гуще — густоте книжного рынка отобрать десяток-другой книг — дело нелегкое. Чувства индивидуальны, у каждого свое. Наталья Советная выбирает тех авторов, кто выстрадал, выносил свою творческую судьбу и приобрел свою словесную интонацию, кто напитал добром душу и стал читателю другом и собеседником.

Мир наш сегодня напитан болью. У Л. Толстого есть пьеса «Власть тьмы». В современные дни напрашивается пьеса с иным названием — «Власть денег», власть, зомбирующая человека. Однако Наталья Советная не позволяет засыпать нашим душам, она стремится помочь людям стать лучше, понять, кто мы, откуда и зачем. Несомненно, автор книги «Одна судьба» — настоящий подвижник. Собрав под одной обложкой множество писательских имен, она создала заповедник Добра. Алесь Мартинович, Михаил Поздняков, Наталья Костюченко, Андрей Скоринкин, Валентина Поликанина, Геннадий Иванов, Валерий Мухин, Владимир Савинов, Григорий Григорьев, Анатолий Бесперстых, Александр Скоков, Анатолий Стефашин, Евгений Матвеев, Борис Орлов, Николай Чергинец, Анатолий Сульянов… Имена, имена, имена! Разные люди, разные времена — разные судьбы, слитые в одну судьбу.

По прочтении книги возникает ощущение встречи с близкими по духу людьми. Словно встретился с ними на большой дорожной развилке, разбеседовался и так жаль расставаться. И чувствуешь, что наполнился новыми впечатлениями, обогатился душой. Так бывает, когда в большую реку впадают ручейки, речушки, и она становится еще полноводнее. Книга Натальи Советной — свидетельство того, что в литературе также жива душа и свет ее негасим вопреки всему. «То, что видишь, напиши в книгу. Напиши, что видел и что есть, и что будет после сего…»

Не затем ли нужны писатели?

Геннадий ПАЦИЕНКО



Литературное содружество

Уроки узбекского литературного опыта



Рисолат ХАЙДАРОВА — известная узбекская писательница, автор целого ряда произведений исторической прозы, переводчик. Публикуется в различных узбекских литературно-художественных изданиях. С писательницей из Ташкента — наш разговор о современном литературном процессе в Узбекистане.

— Рисолат, узбекская литература сегодня... Насколько современный узбекский читатель интересуется книжными новинками?

— Образно говоря, современную узбекскую литературу можно сравнить с текущей рекой. Реки образуются, принимая в себя притоки и ручьи, не так ли? А характер у притоков бывает разный, один другого не повторяет. Сегодня в узбекской литературе есть и традиционные реалисты, и авангардисты, и те, кто считает себя модернистом, постмодернистом.

Возьмем, к примеру, недавно опубликованные произведения: исторический роман молодого писателя Бахтиёра Абдугафура «Султан Джалолиддин Мангуберди», написанный в стиле традиционного реализма, полумифологическая, полуреалистическая повесть известного писателя Исажона Султана «По следам Святого Хызра», психологическая повесть Хуршида Дустмухаммада «Одинокий», авангардистская повесть Шавката Низама «Долта»...

А поэзия еще более разнообразная. Махмуд Таир, Бабур Бобомурод и Фарида Афруз, которые пишут в традиционном стиле, Сирожиддин Сайид, его строки зачастую состоят из игры слов и философских загадок, Бахром Рузимухаммад, Фахриёр и Даврон Раджаб, авангардисты. Есть много молодых поэтов, творчество которых еще интереснее, еще более многопланово.

Кроме этого, у нас активно занимаются творчеством наши уважаемые писатели и поэты, пришедшие в литературу в 70-е годы минувшего столетия: Мухаммад Али, Эркин Самандар, Азим Суюн, Абдулла Шер.

Особенный характер придают узбекистанской литературе и писатели других национальностей, которые пишут на своем родном языке. Например, русскоязычные — Вика Осадченко, Алексей Гвардин, Николай Ильин,

Галина Долгая, Владимир Васильев, каракалпакские — Кенгесбай Каримов, Набийра Торешова, казахские — Калдыбек Сейданов, Махкамбай Умаров, таджикский писатель Жафар Мухаммад Термизий (кстати, он пишет как на таджикском, так и на узбекском).

Узбекская, точнее узбекистанская, литература сегодня такая разнообразная и интересная.

— А что с главным вопросом, который писателей всегда волновал и продолжает волновать, — как писателю издать свою книгу?..

— Книгоиздание у нас долгое время было одним из больных вопросов. В прошлом году в целях дальнейшего совершенствования издания, распространения и продажи книжной продукции, согласно принятым специальным постановлениям Президента и правительства, разработали механизм государственной поддержки в области издания и распространения книжной продукции, имеющей социальное значение. Особенное внимание уделили детской литературе. Установили государственный заказ по переводу на узбекский язык лучших произведений мировой литературы. Сейчас постепенно развивается система распространения книжной продукции, система формирования цен на нее и реализации… Это позволяет установить цену на книги в разумных пределах, способствует реализации книг в довольно краткие сроки. Одним словом, способствует изданию действительно необходимой книги.

Сейчас, слава богу, книжные магазины не пустуют, большинство посетителей — молодежь. Я убедилась в том, что лучшие книги необходимо популяризовать, даже — рекламировать. И всеми доступными средствами. Например, Узбекская телерадиокомпания в прошлом году запустила проект «Аудиокнига». В рамках проекта лучшие произведения узбекских авторов озвучиваются актерами, записываются на компакт-диски и тиражируются. Это очень удобно для тех, кто не имеет возможности читать. Этот проект заинтересовал и молодежь, они переписывают книгу иногда на мобильник и прямо на ходу слушают через наушники (кстати, так поступает и моя дочь). Однажды я увидела, что водитель такси едет, слушая на компакт-диске роман Адыла Якубова «Сокровищница Улугбека».

— Можно ли с определенной долей уверенности говорить, что художественная литература в Узбекистане отражает те процессы, которые происходят, произошли в стране за последнюю четверть века?

— Народный писатель Узбекистана Тагай Мурад говорил: «Настоящий писатель служит народу не красными словами и лозунгами под «ура», а художественными произведениями». Он прав.

Согласитесь, что в литературе, независимо от того, по какой теме написано произведение, все равно угадывается лицо эпохи. Чтобы показать дыхание и дух времени, необязательно, как во времена социалистического реализма, написать роман на производственную или сельскохозяйственную тему, освещая при этом успешно проведенную экономическую реформу. Конечно же, в современных произведениях отражается дух времени, эпохи. Без этого никак невозможно.

Возьмем, к примеру, роман Абдукаюма Юлдаша «Река», где писатель рассказывает о судьбе разных людей, живущих на берегу реки, жизнь которых сплетена с этой рекой. Этот роман смело можно назвать портретом сегодняшнего дня.

А главный герой повести Нармурада Наркабилова «Борьба» — простой чабан, живущий в далеком селении, соблюдающий традиции предков. Он занимается национальным видом борьбы — курашом, его отец также был палваном (богатырем), курашистом.

— Рисолат, пока что такие слова знакомы многим, кто и далеко от Узбекистана живет, — палван, кураш, чабан… Живо еще то поколение чита-

телей, которое знакомилось с узбекской, казахской, другими национальными литературами через переводы в «Дружбе народов», через книжные издания «Советского писателя», других издательств…

— В таком случае, я рада этому. Но хочу договорить о произведении Наркабилова… Герой данной повести — человек, живущий с убеждением, что жизнь дана, чтобы продолжать лучшие традиции предков, добавляя от себя что-то положительное, передать их потомкам. Герой замечательной, богатой художественными образами, символами повести — тоже человек сегодняшнего Узбекистана. Причем — симпатичный, яркий человек.

Кроме того, в ряде рассказов Зульфии Куралбай кизи — моей ровесницы, а также Гулчехры Асрановой, Уйгуны Рузиевой, Хуршида Дустмуҳаммада явно чувствуется дух времени, пульс, который соединяет времена, чувствуется настоящее сердцебиение современного узбека.

Пользуясь случаем, хочу рассказать об одном проекте, запущенном Союзом писателей Узбекистана. Это серия книг «Писатель и общество». Именно эта серия состоит из книг, рассказывающих о преобразованиях и обновлениях в обществе, реализующихся экономических и социальных реформах.

— А я уже, признаться, думал, что писательская публицистика канула в Лету…

— Да, книги, о которых я сейчас веду речь, относятся именно к жанру публицистики, где авторы красноречиво рассказывают о людях, творящих сегодняшний и завтрашний день страны. Я могу назвать эти книги: «Ферганцы» Анвара Обиджона, «Цветок на барханах» Энахон Сиддиковой, «По следам старинного слова» Эшкабила Шукура, «Удар» Икбола Мирзы... Ясно, что одного кабинетного времяпрепровождения для создания таких работ не хватит даже самому талантливому выдумщику. Чтобы написать такие книги — надо окунуться в глубины современной жизни.

— А все-таки, среди самих пишущих чему, каким видам литературы отдается предпочтение — поэзии или прозе?

— Узбекская литература — какникак часть богатейшей восточной литературы. А на Востоке всегда особенно любили поэзию — искусство нежных слов. Если по количеству, то у нас поэтов очень много. Но я сделала такое интересное наблюдение: на творческих вечерах публика с удовольствием слушает стихи, а вопросы чаще задает прозаику. Например: «Почему в таком-то вашем романе концовка такая, а не эдакая?» или: «Почему в таком-то вашем рассказе героиня поступила так, а не эдак? Вы были к своим героям несправедливы!» и т. д. И в книжных магазинах прозаические книги продаются быстрее, чем поэтические. Но все же среди литераторов по количеству преобладают поэты.

— Как развивается сегодня историческая проза Узбекистана? Какие произведения о вчерашнем дне узбеков и Узбекистана вызывают у читателей наибольший интерес?

— В Узбекистане в последние годы историческая проза значительно развилась. Это можно объяснить и тем, что после объявления Независимости мы стали говорить о славных, ранее запрещенных к освещению периодах нашей истории без боязни, что могут и нас позвать «куда следует», чтобы провести с нами «душевную беседу». На самом деле узбекская литература XX века начинается с исторического романа Абдуллы Кадыри «Минувшие дни». Историческая проза у нас была сильна и в советское время. Чего только стоит творчество Миркарима Асима! Он всю свою жизнь посвятил исторической прозе, из-за чего несколько лет сидел в лагерях, но от своего не отступал, вернулся после реабилитации в Ташкент и снова засел за работу над очередной исторической повестью. Вы можете себе представить, что о многих страницах узбекской истории я узнала именно через произведения Миркарима Асима! В то время в школах для изу-

чения истории Узбекистана отводилось очень малое количество часов. Нам преподавали историю СССР, которая в основном состояла из истории России, мы в совершенстве изучали историю Европы, античного времени, Средних веков, но все же историю Востока мы плохо знали. Не будет преувеличением, если скажу, что произведения Миркарима Асима, Айбека, Мирмухсина, Адыла Якубова, Пиримкула Кадырова, Явдата Ильясова восполнили этот пробел. Историческая проза того времени, помимо художественного осмысления исторической действительности, брала на себя и функцию просветительства. И этим она была интересна, притягательна.

А в конце 80-х годов минувшего столетия в исторической прозе появились новые произведения. К этому времени в Узбекистане в результате социальных преобразований уже был заложен фундамент независимости. И параллельно с этим процессом в литературе произошли большие изменения относительно расширения или изменения тематики. В этот период Мухаммад Али опубликовал роман-дилогию «Сарбадоры», переиздали роман «Ночь и день» репрессированного в 1937 году Чулпана. Именно в это время Хуршид Даврон опубликовал эссе «Грезы о Самарканде», «Биби-ханум, или Незаконченная поэма». Историческая проза этого времени объективно рассказала об исторических личностях, доброе имя которых при советском строе было очернено. Историческая проза этого времени стала интересной именно этим.

— Хорошо, а период независимости… Не получилось ли так, что читатель уже насытился данной проблематикой?..

— Историческая проза накануне независимости, особенно в первые годы Независимости, вступила в новый этап. Повысился интерес у читателей к историческим личностям, особенно к тем, чьи имена были запрещены и очернены. Строительство нового Узбекистана вызвало рождение новых тем, способствовало появлению ряда новых ярких исторических произведений. Например, вслед за романом-эпопеей Мухаммада Али «Амир Темур великий», появились ряд рассказов, повестей и романов о жизни и деятельности основоположника великой империи. Например — несколько рассказов Асада Дильмурада, роман Тулкина Хайита «Преданная», романы Нурали Кабула...

— А если говорить о совсем близких к нам годах…

— Сегодня в исторической прозе наблюдается несколько интересных течений, исканий. Сказать с определенной долей точности, какой именно период истории Узбекистана и узбекского народа наиболее интересует читателей, очень непросто. Поскольку в одном и том же периоде читатели обратили внимание на несколько произведений, относящихся к разным историческим периодам. Например: повесть Тулкина Хайита «Последнее сборище Огузхана» (период мифов), роман Бахтиёра Абдугафура «Долина кровавых цветов» (1918—1920 годы), роман Шавката Низама «Империя девяти каганов» (V век нашей эры), роман-дилогия Наби Джалолиддина «Мельница» (1916—1937 годы), роман Кенгесбая Каримова «Ага-бий» (XVIII век)...

— Вы назвали столько произведений, столько имен исторических прозаиков, что я уже начинаю думать, не потерялись ли другие виды литературы… Как обстоят дела в детской литературе... Что происходит с ней? Или сегодня совсем нет смысла писать для детей, когда и младшие школьники, и подростки с головой ушли в компьютер?

— Я вам расскажу случай, свидетельницей которого стала сама несколько лет назад. Администрация школы, где училась моя младшая дочь, попросила меня привести детского поэта Анвара Обиджона на литературную встречу. В актовом зале школы, забитой до отказа детьми, и прошла эта встреча. Анвар-ака побеседовал со

школьниками, прочитал стихи, девочки потанцевали под веселую музыку, спели песни. Словом, мероприятие подошло к концу, мы вышли во двор. Видим, учащиеся младших классов собрались у дверей. Один из них, мальчик, увидев нас, спросил: «Это и есть Анвар Обиджон?» Завуч, которая провожала нас, ответила: «Да, дети, Анвар Обиджон посетил нашу школу, это он». И в ту же минуту дети все хором начали кричать: «Поднимет темную занавесь ночь, появляется на сцене солнышко...» Эти строки из одного из известных стихов Анвара Обиджона. Потом только мы узнали, что учащихся первых-вторых классов не пустили в зал, боясь, что они поднимут лишний шум. А дети, несмотря на то, что уроки давно закончились, не расходились по домам и ждали выхода поэта, чтобы его увидеть.

Поэтов и писателей, пишущих только для детей, всегда было немного. Но у них — самые многочисленные, искренние и верные поклонники. Сейчас наиболее известные представители узбекской детской литературы находятся в солидном возрасте: Худайберды Тухтабаеву — 85, Раиму Фархади — 75, Анвару Обиджону — 70, Кавсар Турдыевой — 60 лет. Я иногда думаю, какое же будущее ждет детскую литературу. Но радуюсь, что следом за ними идут Дильшод Раджаб, Махмуд Туйчиев, Захро Хасанова. Современные сказки молодой писательницы Гульноз Таджибаевой, рассказы и повести Мирвосила Агзамова меня обнадеживают.

Нет, по-моему, нужно писать для детей, даже когда они целиком поглощены компьютером. У узбеков есть такая пословица: «Все, как бы ни кружилось и ни вертелось, возвращается на свое место». Компьютер все равно не может сравниться с человеческим талантом. Хотя и компьютер является плодом творчества человека.

— Литературная критика... Помогает ли сегодня узбекская литературно-художественная критика развитию современного литературного процесса?

— Как у вас, не знаю, но у нас литературная критика — весьма больной вопрос. Не знаю даже, каким образом в данный момент художественная критика должна помочь развитию литературного процесса…

В действительности, сегодня литература развивается и без помощи критики. Потому что сегодня в мире так много разных мировоззрений, теорий, методов, взглядов, разработок и прочего, что литературная критика не успевает их понять, не говоря уже об анализе разных явлений. Мне кажется, что литература продвигается вперед неплохими темпами, а критика, запыхавшись, бежит за ней, но все же ей не удается литературу догнать. На самом деле критика должна опережать литературу или хотя бы идти с ней в ногу. К сожалению, сегодня это не так.

— Узбекистан во все близкие и далекие столетия славился поэтическим осмыслением действительности. Читают ли сегодня поэтическую классику? Помнят ли имена Зульфии, Хамида Алимджана, других поэтов их поколения, а также поэтов XVIII—XIX столетий?

— В Узбекистане поэзия, как и на всем Востоке, всегда развивалась в гармонии с музыкой, классическая поэзия вливалась в сознание людей в виде песни. Например, у нас дети, еще не достигнув школьного возраста, еще не разбирая букв, много раз слышали песни, скажем, «Муножот», «Ортар», «Тановар», «Мустахзод», а чуть повзрослев, уже знали, что «Муножот» сочинен на стихи Навои (XV век), «Ортар» — на стихи Машраба (XVII век), «Тановар» — на стихи Мукими (XIX век), «Мустахзод» — на стихи Чокар (XIX век). Поскольку на Востоке не составляло особого труда разобраться, кому какой стих принадлежит. Так как поэты на последнюю строку стихотворения вписывали свой псевдоним. Например:

О Навои! Не потому ль слова твои печальны,
Что в мире — песня и печаль, восторг с тоскою слиты?

Ну, это можно назвать одновременно и своеобразной подписью поэта, защищающей его авторские права, и способом его представления любителям поэзии. Это помогало им «идти в народ». Хотя, правда, классическая литература не всегда была всем понятна. Но в этом плане литературе содействовали музыка и живопись. Эта троица всегда развивалась во взаимной гармонии. И поэтому даже простой ремесленник в Узбекистане хорошо знал Навои, Фузули, Машраба, Бабура, Мукими, Фурката… Каллиграфия и книжное оформление поднялись до уровня искусства, и люди стремились достичь этого уровня. Это было своего рода популяризацией литературы.

Сейчас, конечно, все иначе. Живопись, музыка, литература, развиваются по своим направлениям. Но у нас все же живет преданность восточным традициям. Молодежь с детства начинает узнавать газели классиков через песни. К тому же произведения многих поэтов XX века таким же образом «пошли в народ». Например, молодежь много раз слышала песни «Куйгай», «На булгай», «Орик гуллаганда», хорошо знает, что они сочинены на стихи Хамида Алимджана. А не знать Зульфию у нас просто невозможно. И я объясню, почему. В Узбекистане в системе образования литературе уделяется особое значение. И в средне-специальных или высших учебных заведениях с экономическим или медицинским направлением есть занятия по литературе. Абитуриент, независимо от того, какую специальность выбрал или в какое учебное заведение хочет поступать, обязательно сдает экзамен по литературе. Это, может, покажется немного консервативным методом перед передовыми Европейскими стандартами, но имеет большое значение в формировании человека. На мой взгляд, стимулировать молодежь в вопросе изучения литературы должно быть делом государственной важности.

У нас в Фергане есть школа Эркина Вахидова, в Карши — Абдуллы Арипова, в Андижане — Мухаммада Юсуфа, в Намангане — Исхакхана Ибрата, в Джизаке — Хамида Алимджана и Зульфии, в Нукусе — Ибрайима Юсупова. Эти школы так и называются «школа Абдуллы Арипова» или «школа Ибрайима Юсупова». Это специализированные школы-интернаты для одаренных детей с углубленным изучением родного языка и литературы.

В Узбекистане также для одаренных девушек и женщин в возрасте от 20 до 30 лет за достижения в области литературы, искусства, культуры и науки учреждена Государственная премия имени Зульфии.

Среди молодежи особенно популярны Мухаммад Юсуф (из 90-х), Назар Эшонкул (из 80-х), Уткур Хашимов (из 70-х), Эркин Вахидов (из 60-х годов прошлого века)...

— Литературы других народов — насколько внимательны к ним узбекские переводчики?

— Два года тому назад литературное сообщество Узбекистана отметило двадцатилетие журнала «Жахон адабиёти» («Мировая литература»). Этот журнал, как и стало понятным по названию, публикует произведения мировой литературы в переводе на узбекский язык. Время, когда основали журнал, это 1996 год, было непростым периодом, исполнилось всего пять лет после объявления независимости страны, в экономике — ряд проблем. Думаю, нет нужды описывать данный период, так как почти каждая республика постсоветского пространства испытала такое на себе. Вот в такое-то время и учредили журнал.

Необходимо отметить, что узбекская школа художественного перевода и в советское время была признана одной из лучших. Почти каждый известный узбекский поэт и писатель обязательно пробовал свое перо и в переводе. Эта традиция родилась в начале XX века, передовые поэты и прозаики того времени, например, Хамза, Абдулла Кадыри, Чулпан, Фитрат и другие считали себя еще и просветителями, и переводили произведения передовой мировой литературы. А в советское время ряд известных поэтов и писателей переве-

ли на узбекский язык наиболее известные произведения мировой классики.

Например, Усман Насыр перевел «Демона», Абдулла Каххар — «Войну и мир», Мирзакалон Исмаили — «Анну Каренину» и «Королек птичка певчая», Эркин Вахидов — «Фауста» и «Персидские мотивы», Абдулла Арипов — «Божественную комедию», Аскад Мухтар — «Царя Эдипа». Наравне с ними трудились и профессиональные переводчики: Кадыр Мирмухамедов, Лола Таджиева, Зумрад, Шаислам Шамухамедов, Ибрагим Гафуров, Низам Камил...

Я не ошибусь, если скажу, что «Жахон адабиёти» основан в тот сложный период для того, чтобы облегчить доступ узбекскому читателю к новинкам мировой литературы. Поскольку появилась возможность читать в одном журнале произведения многих мировых авторов в переводе на узбекский, а если учесть, что цена журнала намного доступнее, чем отдельной книги, то суть становится яснее. К тому же есть еще вопрос времени: публикация в журнале дойдет до читателя быстрее, чем книга. Журнал довольно толстый, издается каждый месяц.

Учитывая все это, с уверенностью можно сказать, что переводческая деятельность у нас активная. Мы можем похвастаться переводами из американской, европейской, азиатской литературы, у нас есть переводы даже с австралийской, океанийской литературы. Если какой-либо писатель получит международную премию или заговорит о нем мировое сообщество, вскоре и его произведение появляется на узбекском языке. Могу сказать положительно и о переводах литератур стран СНГ. Но в области перевода узбекской литературы на другие языки положение не из лучших. Все же я надеюсь на улучшение, так как мы уже начали над этим работать. Надеюсь и на поддержку белорусских коллег.

— В свое время в Ташкенте были изданы на узбекском, если не ошибаюсь, четыре книги Василя Быкова. Что знают сегодня о белорусской литературе в Узбекистане? Переведены ли на узбекский произведения Светланы Алексиевич?

— В свое время в Ташкенте на узбекском языке были изданы не только Василь Быков, но и произведения Петруся Бровки, Максима Танка, Эди Огнецвет, Алеся Адамовича. В Узбекистане есть положительное представление о белорусской литературе. Если считать начиная с 2000-х годов, то в этот период у нас на узбекский язык перевели произведения Алексея Дударева, Евдокии Лось, Якуба Коласа. Наш Президент Ш. М. Мирзиёев на встрече в Ташкенте подарил Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко новый сборник переводов Якуба Коласа, который, как известно, во время Великой Отечественной войны жил в Ташкенте. На узбекский язык переведена и документальная повесть Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

— Рисолат, огромное спасибо за столь подробный рассказ о современном литературном процессе в Узбекистане. Надеемся, что узбекско-белорусские литературные связи и с вашей помощью обретут новое дыхание!

Беседовал Кирилл ЛАДУТЬКО.
Ташкент—Минск



КОЗЬКО Виктор Афанасьевич. Родился в 1940 г. в г. Калинковичи Гомельской области. Окончил Кемеровский горный индустриальный техникум, Литературный институт имени А. М. Горького. Прозаик, публицист. Автор многих книг. Лауреат премии Ленинского комсомола Белорусской ССР, Государственной премии БССР имени Якуба Коласа. Живет в Минске.

ШАБОВИЧ Микола (Николай Викторович). Родился в 1959 г. в д. Бадени Мядельского района Минской области. Окончил Минский государственный педагогический институт имени М. Горького. Кандидат филологических наук. Автор ряда поэтических книг. Живет в Минске.

КОНЕВ Федор Егорович. Родился в 1935 г. в селе Мужи Тюменской области (Россия). Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (Москва). Кинодраматург, прозаик. Автор книг «Сполохи» и «Снегопад». Участвовал в создании двадцати фильмов. Среди них — «Счастливый человек», «Пламя», «Половодье», «Сад», «Фруза», «Шляхтич Завальня», «Ятринская ведьма», «Черный аист» и др. Живет в Минске.

КОТЛЯРОВ Изяслав Григорьевич. Родился в 1938 г. в г. Чаусы Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии, многочисленных публикаций в изданиях Беларуси и России. Живет в Светлогорске.

ИСАБЕКОВ Дулат. Родился в 1942 г. в Арысском районе (Казахстан). Окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова. Автор сборников повестей и рассказов «Бекет», «Беспокойные дни», «Отчий дом», «Жизнь», романа «Смятение» и др. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан, премии «Платиновый Тарлан». Живет в Казахстане.

ЕСДАУЛЕТОВ Улыкбек. Родился в 1954 г. в селе Улкен Каратал Зайсанского района (Казахстан). Окончил Казахстанский государственный университет и Высшие литературные курсы при Московском Литературном институте. Автор многих книг поэзии. Лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии Республики Казахстан. Живет в Казахстане.

ТАРАКОВ Александр Юрьевич. Родился в 1961 г. в г. Чигирин Черкасской области (Украина). Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова и Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте. Автор книг «Век журавля», «Затмение под солнцем», «До и после миллениума», «О земле, земном и земляках», «Зарубки ирокеза» и др. Лауреат Президентской премии 2002 года в области СМИ и премии Союза журналистов Казахстана. Живет в Казахстане.

ГРИГОРЬЕВА Ольга Николаевна. Родилась в 1957 г. в Новосибирске (Россия). Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова. Автор восемнадцати поэтических сборников, трех книг очерков, десяти книг для детей. Лауреат литературных премий имени Марины Цветаевой и Павла Васильева. Живет в Казахстане.

ТОМАС Альберт Эллсворт. Родился в 1872 г. в г. Честер (штат Массачусетс, США). Известный американский драматург и киносценарист. Автор пьес и около двух десятков киносценариев. Умер в 1947 г. в Уэйкфилде (Род-Айленд, США).